

Независимый альманах

# КОНЕЦ ВЕКА





Литературный  
альманах  
"КОНЕЦ ВЕКА"  
учрежден молодыми  
писателями Москвы. В  
92—93 году выйдут 12 его  
номеров. Мы возвращаем  
запрещенные цензурой имена и  
открываем новые таланты.

Желающие читать "КОНЕЦ ВЕКА"  
№№ 5,6! Наш расчетный счет № 609871

в Дзержинском отделении ЖСБ г. Москвы,  
МФО 201638. Перечислив 54 рубля на наш счет  
(цена номера, стоимость справочных материалов о  
будущих номерах и книжных приложениях, а также  
почтовых расходов по доставке), копию сбербанковской  
платежки высылайте, пожалуйста, по адресу: 103055,  
Москва, К-55, аб. ящик 95. К сведению деловых людей!

Искусственный бумажный "голод" тормозит выход очередных  
номеров альманаха "КОНЕЦ ВЕКА", мешает сделать его  
периодическим! Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество!

Помогая защищать свободу слова, вы защищаете право на свой  
выбор! Приглашаем к сотрудничеству книготорговые организации!

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Михаил БУЛГАКОВ  
Советская инквизиция  
5

Эхо. Евгений ЗАМЯТИН  
Арапы  
31

Анатолий ГЛАДИЛИН  
Французская ССР. Роман  
33

Владимир КОРНИЛОВ  
“Хрен с тобой, золотая рыбка!..“  
146

Татьяна МОРОЗОВА  
Мелк. Рассказ  
151

Эхо. Александр КУПРИН  
Немножко Финляндии. Из очерка 1909 г.  
157

Эдуард ЛИМОНОВ  
Три рассказа  
159

Михаил КОЧЕТКОВ  
Посвящение альманаху “Конец века“  
187

Кира АЛЛИЛУЕВА  
В доме на набережной. Воспоминания племянницы  
И.Сталина, записанные журналистом И.Дешковой  
191

Всenedикт ЕРОФЕЕВ  
Из записных книжек разных лет.  
237

Вадим ДЕЛОНЕ  
Портреты в колючей раме. Фрагменты из книги  
293

Лсонид ГУБАНОВ.  
Ждите. Книга стихов  
325

Независимый литературный альманах  
“КОНЕЦ ВЕКА“

*Выходит с 1991 года*

Над номером работали:

Татьяна БЕК

Юрий КАЛЕЩУК

Александр НИКИШИН  
*(главный редактор альманаха)*

Виталий САВЕНКОВ

Игорь ШЕИН  
*(главный художник)*

Виктория ШОХИНА

К сведению уважаемых авторов!

Наш адрес: 103055, Москва, К-55, абонентный ящик 95.

Рукописи, представленные к рассмотрению,  
не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на “Конец века“ обязательна.

КОНЕЦ  
БЕКА



МИХАИЛ БУЛГАКОВ

# СОВЕТСКАЯ

# ИНКВИЗИЦИЯ

— Все напечатано. Вот и кончилась работа по Булгакову, — с грустью сказала остепененная булгаковедка. — Что вы? Все только начинается! — воскликнули хором (не сговариваясь!) два энтузиаста. Один — из Душанбе, другой — из Москвы. Естественно (для такого писателя), что правы оказались энтузиасты. Занимаясь более двадцати лет “жизнью и творчеством” Булгакова, я давно понял, что и жизнь его и творчество практически неисчерпаемы и работы хватит не только нам, но и детям нашим. Открывая новую рубрику альманаха, редакция предлагает специалистам и любителям место для публикации фактов и текстов, гипотез и соображений, не нашедших сочувствия в изданиях “солидных” и “со стажем”. Дамы бальзаковского возраста капризны, и не всякий кавалер может добиться у них взаимности, вопреки распространенному мнению об их доступности. Это не значит, что мы будем печатать все и всех, но рамки рубрики достаточно широки, и нет явных ограничений. Традиций тоже пока нет. Присылайте...

Григорий ФАЙМАН

В произведениях М.Булгакова сохранены орфография и пунктуация газет 20-х годов.

## ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала “великая социальная революция“, у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.

Эта мысль настойчивая.

Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.

Она проста: а что же будет с нами дальше.

Появление ее естественно.

Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли.

Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.

Не видеть!

Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее.

В самом деле: что же будет с нами?..

Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала.

Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки.

И долго, долго думал потом...

Да, картина ясна!

Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят...

Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы.

На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.

Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!

И всем, у кого наконец прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь переки-

нется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А мы?

Мы опоздаем...

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще?

Ибо мы наказаны.

Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю.

Расплата началась.

Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.

И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жметя сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба.

Нужно драться.

И вот, пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас, от края до края страны, будут стучать пулеметы.

Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца.

Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...

А мы... мы будем драться.



Ибо нет такой силы, которая могла бы изменить это.

Мы будем завоевывать собственные столицы.

И мы завоюем их.

Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорей добраться до Москвы.

И мы доберемся.

Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.

И война кончится.

Тогда страна, окровавленная, разрушенная, начнет вставать... медленно, тяжело вставать.

Те, кто жалуется на "усталость", увы, разочаруются. Ибо им придется "устать" еще больше...

Нужно будет платить за прошлое невероятным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!

И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.

Кто увидит эти светлые дни?

Мы?

О, нет! наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она так же легко считает, как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

— Платите, платите честно, и вечно помните социальную революцию!

## МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

(Из записной книжки)

Люди, не умеющие шить сапоги, не берутся за шитье сапог. А вот в искусстве постоянно встречаешь людей, совершенно непригодных к этому занятию, но, однако, ставших художниками и спокойно продолжающих работать. Почему это так?

Потому, что первое — элементарно, а второе — сложно. Никого не убедишь, что криво скроенные и небрежно сшитые сапоги хороши, но можно внушить, что дрянная картина — прекрасна. “Здесь есть что-то этакое“, — замечает ценитель, боящийся попасть впросак и не решающийся высказаться прямо. Публику можно отуманить, даже запугать. “Бей по голове и не давай опомниться...“ По крайней мере, для временного успеха этого достаточно.

\* \* \*

Образец расчетливого меценатства. Пьерпонты, Морганы, Асторы и Вандербильты одно время довели цены на произведения искусства, стараясь перебить их друг у друга, до головокружительных цифр. Но скоро спохватились, и заключили между собою соглашение. Коллекционирующие миллиардеры при появлении на рынке драгоценного антика или редкой картины сейчас же сговариваются, и на вещь устанавливается максимальная цена. А затем бросают жребий, кому предоставляется ее купить. “Товарищеская этика“ запрещает повышать цену и отбивать товар, да оно и не выгодно во всех отношениях.

Таким образом и искусство поощрено и капитал соблюден.



Обыкновенно драма строится на нескольких простейших основах, на “грехах”, “страстях”, как говорили в старину (любовь, ревность, корысть, месть, тщеславие), или на ненормальных сторонах общественной жизни. Но нет драмы, которая была бы построена на глупости. А разве глупость, сама по себе, не как привходящий элемент, а как первичный двигатель, не может быть причиной и сюжетом драмы? Не наблюдаем ли мы на каждом шагу бессмысленные великие и малые жизненные драмы, вызванные только глупостью?

Крупным *tour de force* искусства была бы драма глупости, чистой глупости, рафинированной, освобожденной от всего прочего.

Глупость ждет своего Шекспира.

М. Б.

## МУЗА МЕСТИ

(Маленький этюд)

*Украшают тебя добродетели,  
До которых тебе далеко  
И, беру небеса во свидетели, —  
Уважаю тебя глубоко...*

Так язвительно засмеялся поэт над безликим представителем того класса, который вместо добродетели, на самом деле, был украшен лишь фуражкой с красным околышем.

Застыла на его лице язвительная усмешка и не

сходила с него, и скорбные уста роняли жгучие слова гнева.

Смеялся и негодовал над теми, кто его породил самого, и чувствовал умом подлинного провидца неизбежную гнилую гибель тех, из среды которых вышел сам.

Но полная гнева душа его все же имела два лика.

Лик гнева и лик скорбной любви или жалости.

Ибо любить тех, кого он любил, значило жалеть.

Лик любви обратил туда, где, утопая осенью в грязи, зимою мучаясь в вертящих метелях, жили люди из

*Заплатова, Дырявина,  
Разутова, Знабишина,  
Горелова, Неелова,  
Неурожайки тож,*

и для них у него нашлись другие слова.

В них не было гнева.

Когда в творческой муке подходил к своему кресту (ибо тот, кто творит, не живет без креста), на нем безжалостно распинал изменившую своему классу дворянскую музу во имя жителей

*Заплатова, Дырявина,  
Неурожайки тож...*

За поэтом, как бы он ни был гениален, всегда, как тень, вставал его класс.

Из каждой строки гениального Пушкина он — класс глядит лукаво подмигивая. Утонченность великая, утонченность барская. Гениальный дворянин.

Раба Пушкин жалел, ведь не мог же полубожественный гений не видеть

*барства дикого.*

Но духом гений, а телом барин, лишь чуть коснулся волшебным перстом тех, кто от барства дикого стонал непрерывным стоном. Воскликнул:

*Увижу ль я друзья,  
Народ не угнетенный?*

и ушел от раба, замкнулся в недостижимые горные духа, куда завел его властный гений.

Класс порождал поэтов, класс лелеял их и класс питал их идеи. Дворянский класс породил утонченную поэзию. Ее красоты рождались в старых гнездах, там, где белые колонны говорили о золотых снах прошлого.

И для того, чтобы среди белых колонн могли жить золотой жизнью немногие, многие миллионы шли под ярмом по изрезанной полосами тощей земле. Тонкой корой-налетом покрывал дворянский мир другой великий мир — крестьянский.

Этот мир своего певца не имел.

Как запоешь, если ты “идол без голоса”?

И вот случилось нечто чудесное: из другого лагеря пришел певец. Изменил своим, возненавидел, стал презирать и гневным ядом напоил строфы о тех, кого украшали добродетели внутри и венгерки со шнурами снаружи. Нарисовал тех, что держат в руках земные громы, и тех, что корчась в холопском недуге, вьются у ног громодержцев.

Но не может жить великий талант одним гневом. Не утоленной будет душа. Нужна любовь. Как свет к тени. Он всю свою любовь отдал великому миру крестьянскому и рассказал, как

*...плачут дети малые.  
Тоскуют жены, матери...*

Своим, от которых ушел, — мстил, а этих жалел.

Тем — муза мести, этим — печали.

Потому что только печали были достойны они —

*Осокою изрезаны,  
Болотным гадом мошкой  
Искусанные в кровь...*

А раз полюбил, то уж настолько слиясь с ними, что и страдал и укорял за унижение:

*Куда уж нам бахвалиться,  
Не даром вахлаки.*

И так до конца дней печалюсь и негодуя, дошел до могилы певец неласковой и нелюбимой музыки.

Но прошло несколько десятилетий, и вдруг в наши дни случилось чудо. За эти десятки лет в Заплатовых, Дырявиных скопилось столько гнева, что не вместила его больше исполинская чаша. Порвалась цепь великая, но уже не один, а оба конца ее очутились в железных корявых руках и ударили по барину и еще раз по барину.

Все на свете имеет конец. Наступает он и для хорошей жизни. А жил хорошо барин. И даром ходил(и) по Руси Роман, Демьян и Губины, зорко высматривая счастливец, которому жить хорошо. И искать не к чему было. Он был под носом у Губиных, тот же, в доме с белыми колоннами, окруженном английским парком. Барин жил хорошо, воистину хорошо.

Разве не памятны времена еще Онегина?

*А уж брегета звон доносит,  
Что новый начался балет...*

Так в течение многих десятков лет в урочное время звенел золотой брегет, призывая от одного наслаждения к другому.

И так тянулось до наших дней.

Но однажды он прозвенел негаданно тревожным погребальным звоном и подал сигнал к началу невиданного балета.

От зрелища его поднялись фуражки с красными околышами на дыбом вставших волосах. И многие, очень многие лишились навеки околыша, а подчас и вместе с головой. Ибо страшен был хлынувший поток гнева рати-орды крестьянской.

Певец знал об этом гневe. Знал, что он таится где-то в глубине и что нет краю и дна морю крестьянского гнева.

*У каждого крестьянина  
Душа, что туча черная,  
Гневна, грозна — и надо бы  
Громам греметь оттудова,  
Кровавым лить дождям.*

Но тогда, когда он жил, сколько раз расходился гнев народный в улыбку. А в наши дни не разошелся. И были грозные, кровавые дожди. Произошли великие потрясения, пошла раскачка всей земли. Те, что сохранили красные околыши, успев ускользнуть из-под самого обуха на чердаки-мансарды заграниц, сидели съежась и глядя в небо, по которому гуляли отсветы кровавых зарниц, потрясенные, шептали:

— Ишь, как запалили, черти сиволапые. — И трусливо думали:

— Не перекинулось бы и сюда...

Некрасов спит теперь в могиле. Но если бы свершилось еще одно чудо и тень поэта встала бы из гроба, чтоб посмотреть, как, бросая в бескрайнюю вышину гигантские снопы пламени, горят, сжигая мир старой жизни, великие Революционные костры, он подивился бы своей рати-орде исполинской, которую когда-то знал униженной и воспевал, и сказал бы:

— Я знал это. У них был гнев. Я пел про него.

И пройдут еще года. Вместо буйных огней по небу разольется ровный свет. Выкованная из стали неузнаваемая рать-орда крестьянская завладеет землей.

И, наверно, тогда в ней найдутся такие, что станут рыться в воспоминаниях победителей мира и отыщут кованые строфы Некрасова и, вспоминая о своих униженных дедах, скажут:

— Он был наш певец. Нашим угнетателям, от которых был сам порожден, своими строфами мстил, о нас печалился.

Ибо муза его была — муза мести и печали.

## СОВЕТСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

(Из записной книжки репортера)

## I

Последнее, заключительное злодейство, совершенное палачами из Ч.К., расстрел в один прием 500 человек, как-то заслонило собою ту длинную серию преступлений, которыми изобиловала в Киеве работа чекистов в течение 6—7 месяцев.

Сообщения в большевистской печати дают в Киеве цифру, не превышавшую 800—900 расстрелов. Но помимо имен, попавших в кровавые списки, ежедневно расстреливались десятки и сотни людей.

И большинство этих жертв остались безвестными, безымянными... “Имена их Ты, Господи, веси...”

Кроме привлечшего уже общественное внимание застенка на Садовой 5, — большинство убийств, по рассказам содержащихся в заточении, производилось в темном подвале под особняком князя Урусова на Екатерининской, №16.

Несчастные жертвы сводились по-одиночке в подвал, где им приказывали раздеться догола и лечь на холодный каменный пол, весь залитый лужами человеческой крови, забрызганный мозгами, раздавленной сапогами человеческой печенью и желчью... И в лежащих голыми на полу, зарывшихся лицом в землю, людей, стреляли в упор разрывными пулями, которые целиком сносили черепную коробку и обезображивали до неузнаваемости.

Многие из заключенных, впрочем, передают о грозе киевской чрезвычайки, матросе Терехове, излюбленным делом которого было — продержать свою жертву долгое время в смертельных страхе и трепете под



мушкой, прежде чем прикончить ее. Этот советский Малюта Скуратов, стреляя в обреченных, нарочно давал промах за промахом и только после целого десятка выстрелов, раздроблял им голову последним метким выстрелом...

Отсылка в ужасный подвал также часто практиковалась, как особый вид утонченной пытки с целью вынудить у заключенного нужное признание или показание. Пытаемого держали голым на холодном скользком полу под прицелом и "неудачными" выстрелами час и более... И как часто бывало, что после этого молодые и цветущие люди возвращались в камеру поседевшими стариками, с трясущимися руками, с дряблыми поблекшими лицами и помутневшими глазами...

Таким путем собирались показания заключенных. А вот случай, показывающий, какие меры применялись в Ч.К. для пресечения попыток к побегу заключенных. Содержавшийся в одной из камер, товарищ прокурора Д., выведенный однажды на допрос, сделал попытку бежать и был застрелен своим конвоиром. В назидание остальным заключенным из той же камеры, труп Д. был повешен снаружи над самым окном камеры, где висел несколько дней с надписью: "Так будет со всяким, кто попытается бежать".

Горячечно-бредовым пятном представляется дело чиновника Солнцева.

Солнцев без всяких улик и оснований был заподозрен <в> желании взорвать склады снарядов и пороховые погреба в Дарнице. В течение нескольких недель его изо дня в день подвергали чудовищным, бесчеловечным пыткам и истязаниям, в результате которых он сошел с ума. И потом, больного, с помутившимся рассудком, умирающего, мятущегося, в последнем градусе сумасшествия, Солнцева расстреляли на виду у группы других заключенных, арестованных по тому же делу...

Молодой студент Бравер, фамилия которого опубликована четырнадцатой в последнем списке, был приговорен к расстрелу в порядке красного террора, как сын состоятельных родителей. Над несчастным юношей бес-

пощадно издевались, как над “настоящим, породистым буржум”, в последние дни его несколько раз в ш у т к у отпускали домой, а в самый день расстрела, дежурный комендант объявил ему об “окончательном, настоящем” освобождении и велел ему собрать вещи. Его выпустили на волю...

Но лишь только обрадованный и просветлевший юноша переступил порог страшного узилища, его со злым хохотом вернули обратно и повели к расстрелу...

Но подобных фактов, надо думать, десятки и сотни. И комиссия по расследованию кровавых преступлений чекистов должна раскрыть их, собрать воедино и дать полную картину инквизиторской “работы” советской опричнины.

Мих. Б.

## II

В “работе” чекистов поражает не только, присущая им, рафинированная, утонченно-садическая жестокость. Поражает всеобщая исключительная бесцеремонность в обращении с живым человеческим материалом. В глазах заплечных дел мастеров из Ч.К. не было ничего дешевле человеческой жизни.

По рассказам лиц, побывавших в чрезвычайке, нередко бывали случаи, когда люди расстреливались просто для округления общей цифры за день, для получения четного числа и т.д.

Весьма часты также бывали случаи, когда заключенные расстреливались без всякого допроса. Случалось, что арестованный просиживал месяц, полтора и более в заточении; никто не допрашивал его, никто не вспоминал о нем, пока в один прекрасный день неожиданно не вызовут и сразу не поведут на убой...

В канцеляриях Ч.К. постоянно велись две книги, из которых одна называлась “книгой прихода”, а другая —

“книгой расхода“; в первую вносились фамилии арестованных по мере их прибытия, во вторую — фамилии лиц, расстрелянных чрезвычайкой. Совершенно отдельно велся перечень выпущенных на свободу. Сообразно с этим, в обиходе палачей из Ч.К. не существовало слова “расстрелять“; вместо него жаргон чекистов ввел слово — “израсходовать“; такой-то “пущен в расход“, его “израсходовали“ и т.д.

Имели также место в советских застенках случаи расстрела “по ошибке“. Таким роковым образом, например, по показанию родных, был расстрелян народный учитель — украинец из Васильковского уезда Антон Прусаченко вместо своего однофамильца Андрея Прусаченко, обвинявшегося в бандитизме.

Слободской еврейке Дорфман “центральный исполнительным комитетом“ было выдано удостоверение в том, что она “пользуется правом на получение единовременного пособия из советской казны в размере 5000 рублей, так как муж ее случайно (sic!) был расстрелян“ киевской губернской чрезвычайкой. Дорфман, задержанный за спекуляцию “царскими“ деньгами, был расстрелян вместо некоего Дорстмана, немца-колониста, обвинявшегося в участии в одном из партизанских отрядов на Волыни. Ошибка была исправлена тем, что немедленно по ее обнаружении, приговор был вторично приведен в исполнение, на этот раз уж над настоящим Дорстманом.

Впрочем, мы будем несправедливы, если скажем, что человеческие головы совершенно уж ни во что не ценились чрезвычайкой. Когда красноармейский отряд при Ч.К. отказался приводить в исполнение слишком участвовавшие смертные приговоры своего начальства, была составлена специальная группа расстреливателей, куда входили, по преимуществу, китайцы и латыши, в том числе четыре женщины: “пресловутая“ Роза Шварц, некая Егорова и две латышки, фамилии которых пока еще не выяснены. Кровавым “спецам“ было положено по 100 рублей за каждую голову, и бывали среди них такие, которым иной раз случилось за ночь “выработать“ от 1000 до 1500 рублей. Неко-

которые заключенные передавали о китайце Ниянь Чу, который таким "трудом" скопил себе довольно круглый капитал...

Достойна внимания совершенно новая для нашего времени, но известная история средних веков, чисто инквизиционная, процессуальная форма расследования, широко практиковавшаяся следователями из Ч.К. Обвинение предъявлялось не только за то или иное реально совершенное деяние, не только за покушение или обнаруженный умысел, но также за совершенно несодержанное преступление, которое, по некоторым предположениям, лишь "могло быть совершено" данным лицом.

Вот, например, момент из допроса местного профессора-историка С\*\*\*, который содержался свыше месяца в В.У.Ч.К. по подозрению в сношениях со штабом ген. Деникина:

— Вам ген. Деникин известен лично, вы знакомы с ним, или нет? — спрашивает следователь.

— С именем ген. Деникина я, как всякий интеллигент, знаком по газетам, лично же я не имею чести быть знакомым с ним.

— Да, но ведь ваше звание и положение этого не исключают, хотя фактические данные как будто и не дают достаточных подтверждений.

Далее следователь-чекист прочитывает целый перечень лиц, занимающих видные посты в штабе главнокомандующего.

— А эти лица вам знакомы?

— В первый раз слышу о них.

— Собственно у меня нет определенных данных, говорящих за то, что вы были знакомы и поддерживали связь с этими лицами, но у меня также нет основательных доказательств, что вы их совершенно не знаете. А при таком положении, согласитесь, не исключена же возможность, вы ведь могли...

— В чем же, собственно, я обвиняюсь? Как вы формулируете обвинение против меня? — прервал профессор.

— В том, что, будучи знакомым и находясь в связи с ген. Деникиным и его ближайшими сотрудниками, вы доставляли им сведения о военном положении; или, ежели это положение фактически не подтвердится, то в том, что вы могли это сделать. Ведь вы — профессор, а профессора, известно, по своим убеждениям не левее кадета, значит, вы, несомненно, деникинец, а потому, более чем вероятно, что вы находились в связи с генералом Деникиным и передавали ему нужные сведения...

Спустя несколько дней после этого допроса С\*\*\*, только на основании столь рискованных логических построений, был приговорен к расстрелу, от которого спасся лишь благодаря чисто случайному стечению обстоятельств, не имевших прямого отношения к его делу.

Мих.Б.

### III

Играя роль “культурных и гуманных” деятелей, Раковский и Мануильский, как передают заключенные, иногда пытались сдерживать кровавый пыл чрезвычайек, но Лацис, игравший роль маленького Фуке Тиенвилля и находящийся в неприязненных отношениях с “предсовнаркомом” и его заместителем, стремился всегда идти своей дорогой, принимал меры к тому, чтобы известия об арестах видных в городе лиц не доходили до “совнаркомовцев” и чтобы вынесенные приговоры исполнялись без промедлений в самом ускоренном порядке.

Среди многих, содержавшихся в заключении, существует уверенность, что “трения” эти сыграли свою роковую роль в деле убийства покойного В.П.Науменко. Лацис и его приближенные боялись, что “мягкий человек и дипломат” Раковский, под влиянием хлопот извне примет какие-либо меры к спасению В.П., и потому-то вся процедура ареста, допроса и расправы с покойным была проделана с такой исключительной быстротой и поспешностью...

В концентрационном лагере при киевской чрезвычайке долгое время содержался некий Ясинский, молодой судебный следователь из Москвы, сын очень богатых родителей. По общему признанию заключенных, это был душевнобольной ненормальный человек. Его манией было желание продать родовое имение, купить на вырученную сумму аэроплан и улететь на нем в Париж. Советская охранка в этом ребяческом больном бреде усмотрела скрытые заговорщицкие планы.

Перед уходом большевиков из Киева, “товарищ” Мануильский, назначенный председателем комиссии по разгрузке мест заключения, посетил концентрационный лагерь, обратил свое внимание на нервно-больного Ясинского и обещал на следующий день лично рассмотреть его дело. Узнав об этом, комендант В.У.Ч.К. Алтохин на рассвете следующего дня явился в автомобиле в лагерь и поспешно увез Ясинского во всеукраинскую чрезвычайку, где он в тот же день был расстрелян...

В одной из камер В.У.Ч.К. вместе с “контр-революционерами” и “заклятыми врагами советской власти” сидел инспектор всероссийской чрезвычайки, *persona grata*, специально присланная Лениным из Москвы для ревизии чрезвычайок на Украине.

Причиной такого внимания послужила излишняя взыскательность и ревностность, проявленная им при рассмотрении делопроизводства Ч.К., в особенности в деле матроса Пиранова — убийцы Киевского художника проф. Мурашко. “Ревизор” Ленина настоял на расстреле бандита Пиранова, вопреки решению Лациса и К<sup>о</sup>, находивших, что элементы вроде Пиранова особенной опасности для общества не представляют.

Такого рода линия поведения московского “ревизора”, проявленная им в целом ряде дел, была признана нежелательной и даже опасной, и он был временно “изъят из обращения” в целях усыпления излишней пытливости...

Интересный случай из закулисной жизни чрезвычайки, случай, вполне подходящий для “романа загадочных приключений”, рассказал нам проф. С., просидевший долгое время в В.У.Ч.К.

Однажды к ним в камеру под усиленным конвоем доставили группу арестованных, состоявшую из молоденькой сестры милосердия, врача в военной форме и помощника коменданта всеукраинской чрезвычайки Никифорова, слывшего за одного из наиболее жестоких застрельщиков в В.У.Ч.К.

Из расспросов доктора и сестры милосердия выяснилась такая картина. Во всеукраинской чрезвычайке содержалась в заточении польская графиня М., которая была приговорена “коллекгией” В.У.Ч.К. к расстрелу. Приведение приговора в исполнение было поручено Никифорову. И вот на сей раз, вопреки своей обычной меткости и точности, палач Никифоров только подстрелил свою жертву, слегка ранив ее. После этого М. в глубоком обморочном состоянии была свалена на “покойницкую тележку” вместе с трупами убитых. Но это не было ошибкой, или случайностью. По дороге за город, телега остановилась у одной из больниц на Печерске. М. была снята, ей была сделана перевязка, и она бесследно и счастливо скрылась при помощи поджидавших ее друзей...

Одновременно с бегством графини М. из кабинета Лациса пропало также большинство документов по ее делу. Сам Никифоров по этому поводу говорил заключенным, что он к документам никакого отношения иметь не мог, так как ключей от своего кабинета Лацис никому не доверял...

Каково же было всеобщее удивление, когда через несколько дней все трое — и врач, и сестра, и Никифоров, были в спешном порядке выпущены на волю, как передавали, по приказу самого Лациса...

Злая молва среди заключенных по этому поводу утверждала, что Лацис, ставший в результате загадочного приключения с графиней М. обладателем большого состояния, смягчился душой и первый опыт своего милосердия проявил на одном из любимых опричников своих Никифорове...

## 8 X 3 = 24 или... ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ?

## АНКЕТА

Хлеб — 40 рублей (на керенки)... Масло сметанное — 350... Сало — в воспоминаниях... Огурцы — 60 рублей десятком... Мясо — 180 рублей (тоже на керенки)... Пшеничка — 12 рублей за штуку... За гуся третьего дня спрашивали не много, не мало, а 1200!..

— Ну, а если человек получает жалованья, хотя бы 2000 в месяц?

— Ну, а если он сам — пятый?

— Ну, а если его детям нужно молоко?

За стакан — 20 рублей!

Как жить?.. Как быть?..

Кажется, возьми веревку, сделай петлю и повесься (по крайней мере, семья веревку потом выгодно продать сможет: как-никак — от повесившегося)...

— А живут ведь люди.

И ничего себе, двигаются и выражение на лицах почти геройское — похожее на “неглиже с отвагой”.

Начинаешь недоумевать: жалованья (из расчета в месяц) приходится на день — сколько?.. а — хлеб?.. а масло?.. а — картофель?..

Разберемся <с> цифрами в бюджете кармана и желудка обывателя, имеющего двухмесячное жалование:

## ПРИХОД

за сутки

66 р. 66 к.

Итого: ...66 р. 66 к.

## РАСХОД за сутки

1 ф. хлеба — 40 руб.

2 ф. картофеля — 30 р.

1/8 ф. масла — 43 р. 75 к.

1 ф. бобов — 30 р.

Итого: ... 143 р. 75 к.

Я рассчитал еду очень скромно на семью из трех человек.

— Ну, а если... он — сам — пятый?



Что тогда? — скажите вы мне, вы, все те, кого я вижу на улицах живыми и “неглиже с отвагой” двигающимися.

— Как живет такой “сам — пятый” и как живете вы все?..

— “Молока!.. хлеба!..” — кричит ребенок с голубыми глазенками, по имени Олюрка.

И вот — совершается чудо:

Мать наливает из бутылки молока в чашку, и ребенок пьет мелкими, жадными глотками, не отрывая от краев чашки своих губ.

Позвольте, в бутылке 3 1/2 стакана; по 20 руб. за стакан — это выходит 70 рублей.

А жалованья отец ребенка получает в сутки — 66 р. 66 коп...

Чудо!

Настоящее земное чудо:

“Из ничего — все!”

Так вот...

Расскажите вы мне, всем и каждому — *urbi et orbi*:

Как вы живете, — все вы, которые получаете или зарабатываете не более... 66 руб. 66 коп. в сутки?

Все чиновники, учителя, студенты, курсистки и прочие и прочие из трудовой интеллигенции...

Лейт-мотив ваших повествований будет один:

Продаем рубашки, платья и все, что можно продать на толкучке, кроме...

Кроме простынь, потому что простыни ходим менять в деревне на продукты — в деревнях простыни первоклассным товаром считаются...

Итак — “продаем рубашки и прочее“?..

По польски это: “жебы бардзо добже, — то-ни, алезавше“...

Продаем?

Вчера сам на Бессарабке продал рубашку.

И даже довольно выгодно, как уверял заплативший мне за нее 200 рублей перекупщик, который на моих же глазах через 5 минут перепродал ее за... 400!

(Очевидно, перепродавать вдвое выгоднее, чем продавать)?

Разберемся-ка все вместе сообща в вопросе:

“Чем люди живы?”

Это будет нашей первой Анкетой, в которой должна участвовать вся трудовая и служащая интеллигенция.

Должна участвовать, потому что вопрос — острый и жгучий.

Господа, вы, я, мы все — либо Архимеды, либо Эдиссоны, либо...

66 р. 66 к. жалованья и 183 р. 75 к. расхода на самую мизерную еду!!!

Здесь — чудо.

Настоящее.

Из ничего — все.

Как хотите, без Анкеты нельзя.

Стало быть:

Пишите нам все (которые — смотри выше) на тему “чем люди живы”, все свои:

Мысли,

Проекты,

Переживания (перед тем, как пойти на толчок и на оном). Злоключения.

Экономические выкладки и раскладки (ото!.. это — на счет меновой таксы).

И:

Заклучения.

Письма направляйте в редакцию “Киевское Эхо”, причем на конверте делайте надпись: “Макару Девушкину — Анкета”.

Пишите очень подробно, потому что, все равно буду сокращать:

— Как живете? Как справляетесь с хлебом, с сахаром, с молоком?

Уголь для самовара вчера достали?!

Н-ну? Где??

Пишите!

Пишите!!

P.S. Первая половина заглавия: “ $8 \times 3 = 24$ ” — не должна напоминать селедку, выкрашенную в зеленый цвет. Смысл в ней — символический: 24 часов для человеческой жизни — мало.

8 часов — на труд, 8 — на отдых, 8 — на сон и... еще 8 — на горький плач, разговоры о продовольствии и дежурство с рубашкой в руках на толкучке, или на хождение по деревням для обмена, или по рынкам за продуктами, и по лавкам хотя бы за постным маслом и углем.

Стало быть, день должен делиться так:  $8 \times 4 = 32$ .

М.Д.

#### КОММЕНТАРИЙ ПУБЛИКАТОРА

Тот, кому довелось работать в рукописном отделе Ленинки с “Альбомом отзывов”, составленным самим Булгаковым, не мог не обратить внимание на клочок газеты 1919 года, в котором рука писателя вырезала три полные буквы заголовка и два фрагмента других букв, оставив дату, подзаголовок, но не обозначив города, где эта газета выходила (см. иллюстрацию). В большинстве случаев Булгаков записывал на полях точную библиографическую отсылку. Две особенности бросаются в глаза. Странно выглядит дата: “18” и тут же — “26”. Разница должна была бы составлять 13 дней (старый и “новый” календарь), поэтому или первая, или вторая дата — с опечаткой. Кроме того, в подзаголовке использовано вместо “Е” — “Э” оборотное, “оборотившееся” еще раз. Возможно, именно этот подзаголовок перекочевал к Ильфу и Петрову... Естественно было предположить, что вырезка — лукавое или, быть может, зашифрованное — указание Булгакова на его первую напечатанную газетную публикацию. Понимая это, многие исследователи пытались первую статью или рассказ писателя найти. Усугублялась трудность поиска тем, что наверняка это была газета белогвардейская, т.е. спецхрановская. Если учесть море периодики тех лет и то, что она могла издаваться где угодно на маршруте “необыкновенных приключений доктора”, станет ясно — ни один уважающий себя профессиональный литератор-исследователь никогда всерьез подобным поиском себя не утруждал... Чрезвычайно широк и выбор самого названия газеты: во

Среда 18 ноября (26 ноября) 1919 года.

# ВОЗНА!

## ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

<b>ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ</b>	
Высшая техника	6 руб.
Политика	5 "
За каждую строку в день.	
Для иных, выходящих труда скидки 50%.	

Фрагмент неизвестной газеты, обнаруженный в архиве М.А.Булгакова.

№ 47. Среда 18 ноября (26 ноября) 1919 года. 3 руб.

# ГРОЗНЫЙ

## ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

<b>ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ</b>		<b>ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:</b>
Высшая техника	6 руб.	В год 70 р.
Политика	5 "	С 10 рублями за доставку
За каждую строку в день.		50 р.
Для иных, выходящих труда скидки 50%.		

ТЕАТР  
ИГАНТЬ

Съезжающие в Москву

### ВОЛЖАНИИ

Воспоминания о Москве и Горького.  
(Фомы Гордеева).

Включен в программу комической оперы.

**АНОНС** **КАРЬЕРА МУРАТОРА**

### ЦИРКЪ

Въ городѣ прозванъ циркъ Куликовъ



48 явилъ.

Требуются билдетиры, обратиться къ управленію цирку Куликову.

### АНОНСЪ

Требуются билдетиры

**БУФЕТЪ**

Как оказалось, газета называлась "Грозный".  
В ней и публиковалась "Советская инквизиция".

время революции и гражданской войны это могло быть что угодно, и количество слов заголовка могло быть не одно, а два или три... Словом, когда уже газета была найдена, то стало очевидно, что это газета "Грозный" из города Грозный, но до этого, казалось бы, напрашивающегося варианта надо было еще дожить. (В первой советской книге о Булгакове Д.Гиреева эта газета упоминается.)

Выяснилось, что в доступных библиотеках такой газеты нет. Место ее хранения подсказала женщина из газетного зала Салтыковки в Ленинграде, когда там шел многолетний капитальный ремонт. Она не "отфутболила" меня, ссылаясь на то, что библиотека закрыта, а пошла и нашла карточку, где было указано, что в научной библиотеке Главархива в Москве есть экземпляр грозненской газеты "Грозный".

Для человека незнакомого с нашими нравами все дальнейшее было бы просто и естественно. Но — "у нас просто не бывает".

Мне удалось попасть в эту библиотеку, удалось уговорить сотрудников найти эту газету и дать ее прочитать. Мгновенно стало ясно, что это именно "та газета", так как рисунок заголовка совпал, совпали и все оставленные Булгаковым на кусочке в альбоме надписи, и "Э" оборотное также... Объяснилась и дата — 13, а не 18 ноября: опечатка была в экземпляре Булгакова на цифре "8", что дополнительно подтверждалось тем, что 18 ноября был понедельник, а по понедельникам газета не выходила...

Статья "Грядущие перспективы", подписанная "М.Б.", без абсолютно жесткой идентификации при сопоставлении фрагмента заглавия и полного слова никогда бы не была найдена, и никто не сумел бы доказать принадлежность ее перу Булгакова. Эта мысль очень важна. Доказательство носит формально-объективный характер, а не основано на туманных рассуждениях "о стиле". Цену подобным доказательствам "о стиле" можно увидеть на страницах книги М.Чудаковой "Жизнеописание Михаила Булгакова", где она описывает присутствие Булгакова на суде в июне 1923 года, ошибочно приписав ему "по стилю" фельетон-очерк Ю.Потехина, напечатанный в "Накануне". Есть случай, когда фельетон Булгакова был напечатан в собрании сочинений В.Катаева...

Ценность найденного мною текста была для меня очевидна, но для людей, пустивших меня в спецхран без допуска, было очевидно совсем другое. В результате "переговоров" родился способ сохранить овец, насытив волка. Мне разрешили переписать текст, зашили его в специальную тетрадочку, нитки прошивки заклеили и запечатали печатью Главного архивного управления при СМ СССР и написали на обложке: "Пронумеровано и прошнуровано 8 листов. 04.10.84. (Подпись)". После чего было обещано, что тетрадочка будет отправлена со специальным курьером в журнал, откуда я получил "отношение", но только в том случае, если там

есть сотрудник, допущенный “к тайнам”. Упаси Бог считать этих людей бюрократами и формалистами. Они, скорее, нарушили инструкции, пустив меня туда, куда мне ход был дважды заказан (в прошлом году они подарили мне эту тетрадку на память). поступи они иначе, дело для них могло кончиться увольнением. Но — Булгаков, и они, как могли, шли навстречу. Я попал к первому заместителю начальника Главархива, который мне на словах обещал отдать мою рукописную копию, но отказал в съемке заголовка газеты для публикации. Кроме того, я много общался с человеком, возглавлявшим секретный отдел Главархива, который не очень возражал против публикации, однако позвонил в журнал и хорошенько припугнул его сотрудников...

Говоря коротко — целых два года я не мог вызволить текст. Имея в руках сенсационное открытие, сделанное с таким трудом, я мог рассказать о нем лишь “своими словами”.

Тогда я решил обнародовать находку и поискать газету в других местах. На Международных Булгаковских чтениях в Ленинграде я рассказал многим участникам о статье Булгакова, надеясь на две вещи: на порядочность тех, кто по моей “наводке” сумеет извлечь текст, и на то, что текст будет найден где-нибудь на юге, в том же Грозном например. Обе надежды не оправдались, но в разное время и с разными людьми. Я очень быстро увидел библиографическую отсылку, опубликованную в чужой работе, а затем и текст статьи, где публикатором, конечно же, был не я. В том же 1986 году нашлись люди (не булгаковеды), которые рискнули своим служебным положением и текст мне достали. Как в порядочном детективе, имена их еще назвать нельзя. Текст я получил и год пытался пристроить его в “перестроечных” изданиях — “Московских новостях”, “Огоньке”, в “Знамени”, других журналах... Нигде этот текст печатать не стали. Согласился только В.Енишерлов в “Нашем наследии”, но не скоро, так как они “еще только-только разворачивались”.

На следующих Булгаковских чтениях я этот текст зачитал и дал переписать тем участникам, которые этого хотели. Говорят, что после чтений ленинградские исследователи постановили считать его “не бывшим”: у меня ведь не было того авторитета, которым “освещаются” подобные находки.

Значение “Грядущих перспектив” Булгакова трудно переоценить. Текст не только заполняет “пустоту” в творчестве писателя 1919 года, но и говорит о политических воззрениях Булгакова вполне определенно. Главное же, на мой взгляд, — в том, что писатель в самом начале “новой эры человечества” постиг в ней то, что и сегодня не всем и не везде ясно. Здесь начало трагедийных мотивов его творчества, так как с его пониманием происходящего он жил и писал 20 лет...

Предлагаемые вниманию читателя тексты “Советская инквизиция” (три репортажа) и “ $8 \times 3 = 24$  или... Чем люди живы?” опубликованы в газете “Киевское Эхо” в 1919 году.

29 августа (11 сентября) — “Советская инквизиция” (I).

31 августа (13 сентября) — “...Чем люди живы?”

3 сентября (16) — “Советская инквизиция” (II)

6 сентября (19) — “Советская инквизиция” (III).

Соображения, по которым я считаю их принадлежащими перу М.А.Булгакова, недостаточны, чтобы говорить совершенно определенно, поэтому они идут под рубрикой “П р и п и с ы в а е м о е”.

Все материалы о Ч.К. подписаны Мих.Б. Судя по той жестокой небрежливости в описании ужасов, они могут принадлежать профессиональному медицинскому работнику, привыкшему к виду крови и страданий человека. Серийность и жанр “записок” — вот, пожалуй, и все. Хотя по внутреннему ощущению первый имеет и стилевые особенности, присущие раннему Булгакову.

Материал “ $8 \times 3 = 24$  или... Чем люди живы?” — подписан “М.Девушкин” и наименее “булгаковский”, если верить моим предположениям.

В 1924 году в “Гудке” фельетон “Спектакль в Петушках” Булгаков подписывает Мих.Б., а многие другие — там же: Михаил Б. В том же году в “Гудке” им опубликован фельетон “Рассказ Макара Девушкина”, а позднее фельетон “Как школа провалилась в преисподню” имеет подзаголовок — “Транспортный рассказ Макара Девушкина”.

Есть в “Гудке” и материалы, подписанные “М.Б.". В той же газете “Киевское Эхо” — 22 августа (4 сентября) на первой странице напечатана Беседа с флаг-капитаном под названием “Государственный флот” и также подписана “М.Б.“...

По сути рассказанного в статьях-репортажах можно заметить следующее. Вряд ли там преувеличения. Всего страшнее — гражданская война, когда нет никакой пощады врагу и нет правил для ведения войны. Нет предела жестокости и озверению с обеих сторон. В Киеве в 1919 году существовало три Ч.К. — Всеукраинская, губернская и городская. Степень самоуправства и беззакония были таковы, что Ленин специально занимался этим вопросом. И как всегда у Булгакова (если это Булгаков), материал выступает из времени написания и служит пророчеством и предупреждением для нас — потомков писателя.

Фельетон “...Чем люди живы?” можно поставить под фотографией “барахолка” любого нашего города. Прошло более 70 лет, а материал фельетона-однодневки жив. В чем тут дело: в том, что писал будущий классик, кто бы он ни был, или мы ничему не учимся на собственном опыте?..

Заключает “п р и п и с ы в а е м о е” “маленький фельетон” “Из записной книжки” — напечатанный в газете “Жизнь искусства” №№ 432—434, 24—26 апреля 1920 года. Тогда уже вернулся в Петроград Н.Евреинов и печатался там же. Быть может, он привез пробу пера журналиста из Владикавказа? Подпись “М.Б.”, темы — булгаковские, но уверенности нет никакой...

“Музу мести” я нашел в архиве Главполитпросвета (булгаковед Янгилов — параллельно — там же) и доложил об этом тексте на Булгаковских чтениях. Как и с “Грядущими перспективами”, в сборнике, подготовленном по материалам чтений, места для собственно булгаковской статьи не нашлось.

Во всяком безумии есть своя система: несколько лет в “Литературном обозрении” лежала подготовленная мною статья М.Булгакова о Слезкине. Ее так и не напечатали — собственно булгаковский текст! — хотя номер, посвященный юбилею писателя, был насыщен теоретическими статьями о Булгакове, о котором в данном случае просто забыли. Тогда я предложил статью в журнал “Согласие”. Там — “с радостью”! Но моя радость была преждевременна. Там решили дать не полный текст самого Булгакова, а “обширные цитаты”, причем редактор бралась “драматизировать” текст своими прорезками... Пришлось забрать. Как бы там ни было, статья попала в книгу, составителем которой был не кто иной, как сотрудник вышеупомянутого журнала. И на том, как говорится, спасибо.

Собственно, “Муза мести”, как отметил единственный, как мне кажется, кто понял программный характер эссе — Мирон Петровский, — это манифест и программа Булгакова на все будущее творчество — от “Дьяволиады” и “Роковых яиц” до “Мастера”. Печатая текст в первоизданном виде, мы призываем и булгаковедов и простых читателей, любящих творчество Булгакова, осмыслить его.

Мода на Булгакова проходит, и наступает время серьезной, свободной от поспешной халтуры и спекуляций работы над творческим наследием писателя и новых попыток разобраться в феномене, имя которого — Михаил Афанасьевич Булгаков.

*Григорий Файман.*



ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

## АРАПЫ

На острове на Буяне — речка. На этом берегу — наши, краснокожие, а на том — ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь — филейный. Супу наварили, отбивных нажарили — да с лучком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напитались: послал Господь!

И только было вздремнуть легли — воп, визг: нашего уволокли арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежали и на угольях шашлык стряпают.

Наши им — через речку:

— Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что ж это, а?

— А что? — говорят.

— Да на вас что — креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

— А вы из нашего отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

— Ну что за безмозглые! Дак ведь мы вашего арапа ели, а вы — нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот дайте-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, — глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе — уписывают. Ну до чего же бестыжий народ: одно слово — арапы. И уродятся же на свете этакие.

---

*Евгений Замятин (1884—1937). Один из самых ярких русских писателей XX века. Автор знаменитого романа "Мы". Затравленный не только и не столько властью, сколько завистливыми коллегами, вынужден был покинуть родину. Умер в Париже, от сердечного приступа. Над его могилой А. Ремизов сказал: "За 29 лет литературной работы осталось — под мышкой унесешь; но вес — свинчатка". Публикуемый рассказ написан в 1920 году.*

АНАТОЛИЙ ГЛАДИЛИН

# ФРАНЦУЗСКАЯ ССР

Приятеля моего Сашку Чурилова, жену его Вику и семилетнего Стасика провожали в эмиграцию как-то обыденно. Словно бы не в Австралию навсегда, а меняли люди квартиру. Шутили: до встречи. Когда эмигрировал Анатолий Гладилин, вырывали из книг автографы — Окуджавы, Евтушенко, Казакова. Стращали: в Союз больше не пустим! Уезжал без права переписки. Младшего брата, который оставался, тоже лишали прав — исключили из КПСС, выгнали с работы — за то, что старший подвизался на “Радио Свобода”, за то, что он там, за кордоном, пишет. “Французская ССР” вышла в США — то ли французы побоялись т а к о е печатать, то ли автор пожалел их, французов, психику — куда, кажется, дальше — советские танки на улицах Парижа! В Союз он приехал, когда асфальт Москвы еще не остыл от траков танков непридуманных, всамделишных. Я задал тогда дурацкий, как теперь понимаю, вопрос: “Что бы вы делали в Париже, если б ваша повесть стала реальностью?” Он пожал плечами. “А что бы делали все мы?” — думаю я теперь. И тоже не нахожу ответа.

Александр НИКИШИН

*Посвящается  
Aline u Elizabeth*

*“...так называемые культурные слои Западной Европы и Америки не способны разобраться в современном положении вещей, ни в реальном соотношении сил; эти слои следует считать за ГЛУХОНЕМЫХ и действовать по отношению к ним, исходя из этого положения...” Что бы им ни говорили, ГЛУХОНЕМЫЕ ПОВЕРЯТ. “Говорить правду — это мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто оправдывается целью”.*

*“Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за завоеванием советского рынка, ЗАКРОЮТ ГЛАЗА на указанную выше действительность и превратятся таким образом в ГЛУХОНЕМЫХ СЛЕПЦОВ”.*

*В. Ленин*

1

— Послушайте, Верочка, неужели во всей Перми нет ни одного рулона туалетной бумаги?

— Борис Борисыч, если бы был, разве бы я для вас не достала? Даже в обкомовском распределителе — ни клочка! Говорят, завезут только со следующей навигацией.

И она вышла из моего кабинета, обиженно хлопнув дверью, обитой дерматином.

Я закурил. Нет, конечно, зря я наорал на свою верную секретаршу Верочку. Обычно она все мне достает: и вырезку, и сосиски, и колбасу. Недавно сыр исчез во всех магазинах, так Верочка мне приволокла два круга голландского — у пожарных выменяла, уж не знаю на что. Нет, дело не в Верочке. Просто у меня сдали нервы. Завожусь по всякому пустяку. В конце концов, могу же я, как и все советские люди, подтираться “Известиями”, “Водным транспортом” или, в крайнем случае, “Пермской правдой”. Извините за такие подробности. Но, видите ли, привык за последние годы пользоваться туалетной бумагой. Это у меня остались так называемые пережитки “проклятого Запада”. Хочется чего-то

мягкого, розового, а не передовую “Правды” — “Завершим пятилетку ударным трудом”, которую Верочка аккуратно порезала ножницами и нацепила на гвоздик в моем персональном туалете. И еще начинают лезть в голову глупые мысли: дескать, почему страна победившего социализма не может обеспечить своих номенклатурных работников качественной подтиркой? Или еще глупее: на складе обкома туалетная бумага есть, да держат ее для членов бюро, а мне, начальнику Камского речного пароходства, не дают, а значит, не уважают. А я ведь, между прочим, еще и генерал, хоть и в отставке, и Герой Советского Союза. И ведь знаю, что почитают меня в обкоме, даже побаиваются, просто нет в области туалетной бумаги, вся вышла, но все равно обижаюсь, и эту свою обиду холю и лелею.

Тут запульсировал красный клавиш телефона. Я нажал кнопку первой линии и взял трубку.

— Борис Борисыч, — раздался близкий, подчеркнуто деловой, а значит, все еще обиженный голос Верочки, — капитан сухогруза “Леонид Брежнев” на проводе. Соединить?

— Давай!

— Борис Борисыч, докладывает капитан Соболев, — голос Соболева продирался сквозь бурелом телефонных помех, — третьи сутки припухает в Казани. Не ставят к причалу. Говорят, очередь к крану на две недели. А через две недели застынет Кама, не пробьюсь по льду. Зимовать мне, что ли, на Волге?

— Понял тебя, Соболев, держи хвост пистолетом. К вечеру подойдешь к причалу.

Переключив кнопку на вторую линию, я попросил Верочку соединить меня с начальником Казанского речного грузового порта. И сразу мне как-то стало веселее. Ругаться так ругаться, как раз под настроение.

Сидоркина, начальника Казанского грузового порта, Верочка выудила через полчаса. И линия связи работала нормально. Но я уже дошел до белого каления.

— Слушай, Сидоркин, — сказал я, — мне “Леонид Брежнев” позарез нужен. И не пустой, а с углем до ушей. Иначе у меня весь план годовых перевозок к чертовой матери летит, и Пермь к весне топить нечем будет. Котельные в городе на угле, понимаешь?

Как я и ожидал, Сидоркин мне бодро запел, мол, один кран сломался, двадцать сухогрузов на очереди, приказ министерства — сначала загрузить московских гостей: “Феликса Дзержинского” и “Юного ленинца”, к тому же железная дорога срывает поставки угля, осталось его всего на три баржи.

— Я знаю, — прервал я Сидоркина, — у тебя всегда объективные причины. Но если вечером “Леонид Брежнев” не станет

под кран, пускай твои посудины в мою речку не суются. Я даю тебе слово старого чекиста: всю будущую навигацию твои матросы будут у меня фуем груши околачивать, а к причалу не подойдут. И у меня тоже найдутся объективные причины, я по ним большой специалист. Хочешь, чтоб я закрыл для тебя Каму? Нет? То-то! Придумай что-нибудь, Сидоркин, я в тебя верю. Нагрузишь “Брежнева” — с меня пол-литра. Да не простая, а французская. Хранится у меня из старых запасов бутылка коньяка “Мартель”. Нет, не обманываю. Вышлю ее тебе завтрашним первым рейсовым самолетом, спросишь ее у командира корабля. Ну лады!

Дальше день поехал, закрутился. Летучка. Оперативка. В Краснокамске сел на мель танкер. Дал разъемай начальнику порта. Тут выяснилось, что теплоход “Свердловский комсомолец” возвращается в Куйбышев порожняком. Я позвонил на железнодорожный вокзал, попросил объявить пассажирам, что билеты на теплоход в куйбышевском направлении будут продаваться за полцены. Решение элементарное, но, кроме меня, никто его принять не имеет права. Потом у меня был прием по личным делам. А что такое личные дела? Приходят люди и просят дать им хоть какую-то жилплощадь. Зима на носу. Суда все встанут на прикол. Где жить плавсоставу? Проблема! Я, конечно, обещал сделать все, что могу. А сам про себя думаю — как? Я же квартиры не рожаю. Придется клянчить в исполкоме хоть какие-то временки. Беда с жилплощадью. Нет ее и не будет, потому и бегут люди из пароходства.

А потом был суп с котом и совещание начальников всех служб по ходу выполнения плана. И тут выяснилось, что за неделю до закрытия навигации мы сидим в глубокой заднице, и точное расположение “приятного” места — Березники, где на пристани скопились грузы, которые нам подкинули из Соликамска в самый последний момент. Всю навигацию мы гнали суда из Березников полупустыми, ибо в Соликамске были свои проблемы, и грузом нас осчастливили только начиная с сентября. Я бы с удовольствием повесил все руководство соликамских промкомбинатов и рудников, но, увы, это не зависело от моей воли. Все же, что от меня зависело, я сделал, а именно: распорядился послать все, что под рукой, до последнего буксира, в Березники, чтобы погрузить соликамские подарки. Таким образом, план мы спасали, но, если меня теперь попросят перевезти мешок картошки с другого берега Камы, я это смогу осуществить лишь вплавь, держа этот злосчастный мешок в зубах. Я, конечно, несколько утрирую, но ни одной мало-мальски пригодной посудины на плаву у меня не оставалось.

В пять вечера мне сообщили о ЧП на пристани Чермоз. Где эта пристань — прогрессивное человечество не имеет понятия, а

та часть человечества, что живет в этом самом Чермозе, наверное, забыла, какое отношение она имеет к роду людскому, ибо, по моим сведениям, пьют там с утра до вечера крутую самогонку, и вот матрос с причала порубил топором своего напарника. Красиво! А кому расхлебывать эту “аппетитную” кашу? Начальнику пароходства. Недосмотрел, не уследил. Плохо поставлена воспитательная работа. В общем, в таком духе мне выговаривал секретарь обкома партии по пропаганде, которому, естественно, уже успели донести.

Под занавес этого милого дня у меня была беседа по вертушке с председателем Пермского облисполкома.

— Борис Борисыч, — ласково проворковал товарищ Шишкин, — в городе весной нечем будет топить. “Леонид Брежнев” засел в Казани. Ответите партийным билетом.

— Не отвечу, — сказал я, — “Леонид Брежнев” уже стоит под погрузкой угля.

— Ну? — разочарованно протянула трубка.

Я посочувствовал Шишкину. Приготовился человек дать громовой нагоняй, и вдруг — сорвалось. Досадно. Однако кое-что у Шишкина было припрятано про запас.

— Две баржи застряли в Сарапуле, — сказал он менее вежливо. — С капустой. А в городе нет свежих овощей.

— Сгниет капуста, — с готовностью отпарировал я. — У меня под рукой ни единого буксира и до весны не предвидится.

Я выслушал все, что Шишкин имел мне сказать по этому поводу. Мели, Емеля, твоя неделя. Не обеспечишь я город углем, меня бы выгнали из партии. А за капусту даже выговор не объявят. И впрямь, не впервой населению областного орденоносного центра преодолевать временные продовольственные трудности. Впрочем, Шишкин и сам знал, что стреляет холостыми патронами, но, повторяю, уж очень ему хотелось пострелять, цеплялся он ко мне, все время цепляется.

А дело в том...

Древняя история. Из другой моей жизни, о которой я стараюсь не вспоминать никогда, как будто ее и не было. Так вот, миллион лет тому назад, до ледникового периода, как я это называю, приехала к нам в посольство делегация, состоящая, между прочим, из членов и кандидатов ЦК. И рекомендовалось нам использовать этих членов и кандидатов в члены для лекционных поездок. А я лишь взглянул на эти кухонные рыла, на их похоронные пиджаки и брюки стиля “мешок” и сказал, причем достаточно громко: “Зачем этих мудаков прислали на нашу голову?” Разумеется, я погорячился, да время было горячее, некогда было мне миндальничать, я тогда правил бал, и с каждым моим словом считались, и, признаюсь, мне тогда доставляло удовольст-

вие говорить все, что думаю, открытым текстом. Нет, и сейчас я об этом не жалею. Короче, отправили делегацию быстренько в Москву. Уж не знаю, успели ли товарищи члены и товарищи кандидаты в члены отовариться в магазинах, но в делегации, оказывается, был председатель Пермского облисполкома, дорогой товарищ Шишкин. Я и не подозревал о его существовании, но он меня запомнил.

— Хорошо, — сказал я как можно почтительнее. — Обещаю, Фрол Иванович, больше такое не повторится.

Естественно, я имел в виду эту проклятую вонючую капу-сту. Шишкин удовлетворенно хмыкнул, из трубки посыпались частые гудки. Я переключил кнопку и вызвал в кабинет Верочку. Вынув из сейфа бутылку “Мартеля“, я объяснил Верочке, кому ее вручить в аэропорту. Добавил, чтоб взяла мою служебную машину.

— Борис Борисович, — Верочка кинула на меня многозначительный взгляд, — вы же хранили “Мартель“ для особого торжественного случая.

На слове “особый“ она сделала ударение, понятное лишь нам двоим.

— Се ля ви, Вера, — сказал я, — такого коньяка больше в природе нет, но им мы спасли навигацию.

— Приехать к вам вечером?

— Позвои, — сказал я. — Впрочем, не надо, я устал.

Рабочий день давно закончился, а я еще сидел и разбирал бумаги. В принципе они могли подождать до завтра, но я не спешил домой. Работа и только работа заставляла меня забывать обо всем.

В восемь вечера я распахнул балконную дверь. С Камы дул холодный сырой ветер. Мерцали огни на далеком левом берегу, а от пристани медленно отчаливала сияющая “люстра“, которую почему-то положили на бок, — это теплоход “Свердловский комсомолец“ уходил в Куйбышев. Хороший был вид на реку из моего кабинета, но через две недели встанет Кама, все заметет, и вообще...

“А вообще все прекрасно“, — повторял я себе, возвращаясь домой по пермским пустынным и малоосвещенным улицам. Я шел пешком, хотя мог взять служебную “разгонку“, хотя у меня под домом стоял “жигуленок“, правда, с невыправленным крылом — “поцеловал“ меня в воскресенье самосвал. Мне было полезно ходить пешком — ведь целый день сижу в прокуренном кабинете. “Все прекрасно, — повторял я, — работа не пыльная, номенклатурная, и секретарша Верочка тебе преданна“. Конечно, я догадывался, что вначале ей это п о р у ч и л и, что не за мои красивые глаза она спит со мной, но, с другой стороны, нет в го-

роде Перми женщины, у которой столько настоящей французской косметики, и Верочка это оценила.

Поднявшись на третий этаж — проклятая отдышка, надо меньше курить, — я открыл дверь своей квартиры и зажег свет на кухне. Тараканы шуганули со стола.

Бред собачий! Новый дом, а весь напичкан тараканами, и никакая химия их не берет, они от нее только жиреют! Эту однокомнатную квартиру мне удружил (правильно вы догадались) дорогой товарищ Шишкин, председатель облисполкома. По своему положению я мог бы претендовать и на лучшее, но, с другой стороны, для одинокого человека более чем достаточно метров, все законно! И потом вначале мне было решительно плевать на все, я думал, это временно. И потом, вначале был суп с котом.

Справа, за стеной, шурувал телевизор. Наверху разучивали гаммы на пианино.

— Машка, твою мать, куда рассол дела? — спросили за стенкой.

Это сосед готовился к традиционному возлиянию. Да, в моей квартире было трудно оторваться от народа.

Я разогрел на сковородке приготовленные Верочкой позавчера котлеты, нарезал сыр, лучок. Красота, кто понимает.

Потом задумался, поколебался. Но раз все равно суп с котом, куда деваться? И я достал из холодильника неначатую бутылку пшеничной водки, пермского разлива, отливающую на свету мазутной синью.

Справа за стенкой меня проинформировали, что началась программа “Время“, и тогда я включил свой телевизор. Все-таки хоть посмотрим картинки.

Под замыслы израильских агрессоров я выпил первую рюмку. Американская военщина бесчинствовала в Сальвадоре, и я добавил вторую. Стало теплее и веселее. Пошли обнадеживающие новости по Советскому Союзу. Колхозники Тульской области успешно выполнили план по сдаче картофеля государству. Я заглотал третью рюмку, закусил котлетой и тупо блаженствовал у голубого экрана. И тут меня словно ударили. Я увидел знакомые очертания Парижской оперы, Большие бульвары, а бодрый голос диктора заверещал:

— Трудящиеся Свердловского района города Парижа собрались на митинг в помещении оперы имени Жоржа Марше, чтобы выразить свой гневный протест решению правительства Новой Зеландии... Хорошеют улицы Парижа. На бульваре Мориса Тореза открылся новый галантерейный магазин... Улучшилось снабжение города молочными продуктами. На рынке у площади Бастилии появились свежие овощи и фрукты...



Видимо, сказалось напряжение дня, или просто у меня произошёл нервный срыв, но я буквально заорал в телевизор:

— На рынке у Бастилии свежие овощи? Какой праздник! Парижане их в глаза никогда не видели! А случайно туалетной бумагой парижан не осчастливили? Не выкинули ее в новом галантерейном магазине на бульваре Мориса Тореза, бывшем бульваре Осман?

Рюмка вдребезги разбилась об пол. Дрожащей рукой я достал стакан, плеснул водки, сколько вошло, выдул ее залпом. По моему лицу текли слезы, и я яростно повторял в голубой экран, на котором уже мелькали хоккеисты:

— Какие суки! Улучшили снабжение Парижа молочными продуктами! Ни стыда, ни совести! Удивили французов сыром! Но главная сука, главная сволочь — это ты. Ты постарался, ты сам устанавливал советскую власть во Франции! Теперь подыхай в Перми, и нет тебе, сука, прощения!

## 2

Древняя история. Из другой моей жизни, о которой я стараюсь не вспоминать никогда. Но ведь это все было. В другие геологические эпохи. До ледникового периода.

А точнее — пять лет тому назад.

Итак, пять лет тому назад, в один осенний денек (но какая была погода — лило, светило солнце, — хоть убейте, не помню), на Старой площади в каком-то из залов проходило рабочее заседание Секретариата ЦК партии. Вел Секретариат Второй секретарь, но присутствовал и Генеральный. Важный нюанс, для тех, кто понимает. На повестке дня стоял один-единственный вопрос, по которому докладывал председатель Комитета госбезопасности СССР. А за спиной председателя КГБ сидели начальник одного из управлений Комитета и ваш покорный слуга, полковник Зотов. Присутствие начальника управления Комитета в подобных случаях обязательно — обсуждаемый вопрос был разработан его людьми. Мне же такая высокая честь выпала потому, что доклад председателю КГБ написал лично я, хотя, разумеется, составлять доклад мне помогал весь мой отдел.

Впервые в жизни я был приглашен на такое высокое совещание. Волновался ли я, нервничал, трепетал, обливался холодным потом, таял от сознания неповторимого момента? Поверьте мне, как писал Ленин в письме к кронштадтским матросам, так вот, поверьте мне, портретных лиц, маячивших за столом, я даже не видел — как в тумане, а все мое внимание было сосредоточено на словах и предложениях, которые произносил председатель нашего

Комитета. Раза два он спутал фразы, три раза поставил ударение не там, где нужно, так я чуть не взвыл от досады. И хотя я знал, что с докладом члены Секретариата ознакомились *заранее*, а значит, уже было определенное *мнение* — иначе бы вопрос не обсуждался, мне казалось, что неудачная интонация докладчика, ошибка в слове могут испортить впечатление, а то и просто зачеркнуть итог деятельности управления, отдела и — что уж лукавить — моей непосредственной десятилетней работы.

Десять лет мы готовились к этому дню. Последний месяц, чуть ли не ежедневно, начальник управления гонял меня “по ковру”, как зайца, задавая коварные вопросы и требуя единственно убедительных ответов. Дважды начальника и меня вызывал председатель Комитета. Нас заслушала коллегия Комитета в полном составе. И после стольких репетиций и треволнений смысл доклада уже как-то не доходил до меня, а вот когда председатель, употребляя французский термин, сделал ударение не на последнем слоге, я лез на стенку. Мысленно, конечно. Внешне, наверно, я вел себя как и положено чекисту с горячим сердцем и холодной головой. Вот, правда, ладони были мокрыми: я их вытирал, пардон, о брюки.

Председатель Комитета закончил доклад. Пошли вопросики. Отвечал на них, стоя, начальник управления. Отвечал толково и четко. В одном лишь месте — когда спросили, не будут ли стрелять нашим в спину, как до сих пор стреляют в Афганистане, — генерал-лейтенант ответил: “Уверен, не будут!” А договорено было шутку запустить, мол, во Франции стреляют только гангстеры и только в полицейских. Но я посчитал, что начальник управления лучше понимает обстановку — шутку могли не принять как не соответствующую серьезности момента. Вообще, за спиной генерал-лейтенанта (мы сидели наискосок от стола, и когда начальник управления встал, он начисто закрыл меня от “портретов”) я совершенно успокоился. Так, наверно, чувствует себя студент на экзамене, к которому он тщательно проштудировал весь сложный учебник, а на поверку выясняется, что спрашивают лишь по первой главе, самой элементарной. А то, что мы экзамен сдали, — сомнений не вызывало. Похоже, речь шла только о том, какую нам выставят отметку: “хорошо” или “отлично”. Плюс экзаменующие, в свою очередь, показывали свою эрудицию. Однако задавать нам вопросы типа: “Откуда нам это известно? Почему мы в этом уверены? Откуда у нас такие данные?” — право, было несколько наивно. Я даже немного заскучал.

Вмешался председатель Комитета, какой-то у него возник диалог с нашим Идеологом, я не уследил, по какому поводу. Но это на уровне высокой политики, нас не касающейся. И вдруг я услышал, как председатель Комитета сказал:

— Для примера могу вам представить полковника Зотова. Встаньте, Борис Борисович, где вы прячетесь?

Я встал рывком, расправил плечи. Генерал-лейтенант буквально отшатнулся от меня, и я попал под перекрестные взгляды “портретов”.

— Так вот, — продолжал председатель Комитета, — полковнику Зотову, кроме всего прочего, доподлинно известно, что подают на завтрак в Елисейском дворце, какие анекдоты рассказывают в коридорах ЦК Французской компартии на площади Колонеля Фабиана, с кем спит тот или иной министр (в Париже такие подробности отнюдь немаловажны) и какие письма пишет командиру атомной подводной лодки, которая сейчас, скажем, находится в Гвинейском заливе, его жена.

Я почувствовал себя крайне неуютно. Я всю жизнь привык сидеть за кулисами и дергать за ниточки. Выступать на сцене — не моя специальность. Тут же у меня было ощущение, что меня внезапно вытолкнули на эстраду и ослепили прожекторами. Я понял, что краснею. Конечно, председатель Комитета — наш царь и бог, но мы так не договаривались. И потом, сам того не желая, он подставил мне подножку. Полувопрос повис в воздухе, можно было и промолчать, но как коммунист я обязан быть честным на Секретариате ЦК.

— Считаю своим долгом заявить, — начал я, с трудом ворочая пересохшим языком, — что товарищ председатель Комитета государственной безопасности переоценил мои возможности. Действительно, в данный момент в Гвинейском заливе крейсирует атомная подводная лодка “Индепендент” с пятью ядерными баллистическими ракетами на борту. Командует лодкой лейтенант-колонель Жорж Мельвиль. Однако жена его, Мария-Луиза, проживающая с детьми в Шербурге, вот уже два месяца не пишет Мельвилю писем по причинам, которые я до сих пор установить не могу.

Сдержанный смешок пополз по Секретариату. Завибрировал зеркально полированный стол заседаний.

— Может, вы знаете и детей командира подводной лодки? — спросил меня Второй секретарь, стараясь спрятать улыбку.

— Жюль и Поль. Жюлю — четырнадцать, а Полю — десять лет. Учатся в лицее имени Мориса Равеля. Старший, между прочим, тайком от матери покупает порнографический журнал “Люи”.

Мне показалось, что стены зала заколыхались. Даже помощники секретарей, до того сохранявшие каменные лица, прыскали в рукав. Не понимая причин веселья, я прикусил губу. Ведь я сообщил элементарные вещи, занесенные в объективки. У военно-

морского атташе в Париже была картотека даже на тещу лейтенанта-колонеля Мельвиля.

— А с какой бабой живет брат командира подлодки? — задал мне вопрос уж не знаю кто, ибо я уперся взглядом в стену, решив выдержать все это до конца.

— Младший брат Жоржа Мельвиля, Клод Мельвиль, коммерсант, интересуется только мальчиками.

Если бы рухнул потолок, меня бы это не удивило. Удивил меня мой непосредственный начальник, генерал-лейтенант, который давился от смеха, но смотрел на меня с обожанием, будто я только что побил мировой рекорд на стометровке.

Как-то разом все пришли в себя, лица вытянулись, а Генеральный, до этого не задавший ни единого вопроса, протер платком очки и сказал как бы в потолок:

— Насколько я знаю, полковник Зотов недолго работал во Франции.

— Так точно, — с готовностью подтвердил председатель Комитета, — послали раз на короткий срок, берегли, чтоб не засвечивался.

Меня по-настоящему бросило в жар. Генеральный меня помнит! Правда, он был нашим шефом пять лет, но ведь я для чего — песчинка! И сколько с тех пор воды утекло...

— Правильно делали, — сказал Генеральный, — а теперь пусть едет, на месте проводит и координирует эту акцию.

— Не многовато ли для полковника? — вслух, но как бы сам у себя спросил Идеолог. — Все же такая ответственность!

— А кого прикажете посылать? Маршала? — живо отпарировал Генеральный. — Появление заметной фигуры вызовет переполох в Европе и резкое обострение отношений со Штатами. А Борис Борисович — человек скромный и знающий (последнее слово было недвусмысленно подчеркнуто). Бесспорно, ответственность велика, партия доверяет Зотову, но он будет работать в непосредственном контакте с Секретариатом ЦК. Конечно, связь будет осуществляться по специальным каналам. Найти соответствующее прикрытие — это дело КГБ. Есть возражения по кандидатуре товарища Зотова?

Возражений не было. Но я, еще точно не отдавая себе отчета в том, что же произошло, куда меня вознесло, отметил мысленно: нам не задали главного вопроса. Да, было множество второстепенных, но главный, кардинальный вопрос, зачем мы все это затеваем, на который четкого ответа мы не нашли, кроме общих рассуждений типа “почему не взять то, что плохо лежит, а года через два это “плохолежащее” вдруг станет для нас недоступно” — мотивировка приемлемая, но не исчерпывающая и, значит, в какой-то степени рискованная, — так вот, о главном нас не спросили

ни разу. Значит, прав был председатель Комитета, говоря, что мы не ломали себе голову над этой проблемой. Он лучше разобрался в настроениях, царивших наверху. Взять то, что плохо лежит, — это уже само по себе достаточная причина. Более того — политика.

На следующий день по всему Комитету стало известно, что вернулись мы с Секретариата на машине председателя. (В ЦК-то мы ехали, как и положено, на разных: председатель на своем “ЗИЛе“, а мы с генерал-лейтенантом на управленческой “Волге“.) И я заметил, что в коридорах со мной еще издали стали очень почтительно здороваться. Еще через два дня меня пригласили в МИД, и разговаривал со мной Министр. Беседа была дружеской, без лишних подробностей. Министр поздравил меня с назначением на пост первого советника советского посольства в Париже и сказал, что если что — он лично будет мне содействовать во всем, и, как бы в шутку, попросил не обижать мидовцев. Естественно, я заверил, добавив, что как новичок я рассчитываю многому у мидовцев научиться. “Версаль“ был разыгран безукоризненно.

Потом начались предотъездные хлопоты, и удивлял меня лишь генерал-лейтенант, начальник нашего управления: по отношению ко мне он вел себя так, будто мы с ним поменялись местами. Грех мне было жаловаться, мои дела исполнялись в первую очередь, однако я не мальчишка и не первый год в Органах — мне не нравится, когда начальство становится слишком предупредительным. И того обожания, как на Секретариате, в глазах генерал-лейтенанта больше не было.

Словом, когда позвонил Илья Петрович и попросил заглянуть к нему на минуточку в удобное для меня время, это не застало меня врасплох.

Любезное приглашение к Илье Петровичу чаще всего ничего особенно приятного не означает. Мы это называем “выяснением отношений“. Никто толком не знает, какую точно должность занимает Илья Петрович, хотя, конечно, он кем-то числится в штатном расписании. В погонах Илью Петровича никто не видел, но, разумеется, они у него генеральские. Сменяются председатели Комитета, замы председателя, начальники управлений, обновляется коллегия, а Илья Петрович так же тихо сидит в своей маленькой комнате без окон, которую даже кабинетом не назовешь. Но если вы хотите знать, что про вас думает Комитет и лично председатель, то Илья Петрович очень дружески вам это объяснит.

Илья Петрович — отражение и воплощение специфики нашей работы. Допустим, в армии заместитель министра может вызвать “на ковер“ командира дивизии и расчихвостить бедолагу до смертельной икоты. И ничего потом замминистру не делается, лишь

пищеварение улучшится. У нас такое тоже возможно, но до определенного уровня. Ибо десятилетия комитетской практики научили людей правилу, известному теннисистам: острее дашь — острее получишь. Повторяю, у нас своя специфика, и мы играем не в мячик. Не раз и не два Комитет тасовали, вчерашние полковники выходили в замминистры, и бывшие всесильные начальники получали запоздалый, но достаточно острый ответ. Короче, все учили уроки прошлого. Нынче в Комитете предпочитают бархатные полутона. Человека могут наградить, торжественно пожать руку, а потом у Ильи Петровича он “случайно” узнает, что его считают говном. Кто именно так считает, почему — вот этого вам Илья Петрович не скажет. Мол, есть такое мнение, но что мнение это существует, и на высоком уровне — тут уж сомневаться не приходится.

Естественно, после звонка Ильи Петровича “свободная минутка” у меня нашлась мгновенно.

Илья Петрович встретил меня в дверях, обнял, усадил в кресло, сам пристроился сбоку, на стульчике, всем своим видом показывая, что я явился не к начальству, а на приятельскую беседу.

— Ну, герой, знаешь, как раньше называлась бы твоя новая должность? Комиссар республики! И если бы тебе выписывали мандат, то в нем бы указали, что обладаешь всеми чрезвычайными полномочиями, абсолютной полнотой власти с правом расстрела на месте.

— До этого, пожалуй, не дойдет, — улыбнулся я, но Илья Петрович резанул:

— Не скажи. Мы идем туда не польку-бабочку танцевать.

Я прикусил язык. Дальше была пауза.

— Ладно, — сказал Илья Петрович, — считай, проехали. Комитет доволен, что назначен наш человек. В ЦК имелась другая кандидатура. Идеолог хотел придать этой акции в первую очередь идейно-политический характер. В Министерстве обороны, как ты догадываешься, тоже были свои соображения. В общем, ни те, ни другие не хотели усиления Комитета. Но ты такой цирк на Секретариате устроил. Рассмешить “портреты” — это удастся раз в сто лет.

— Ничего я им веселого не рассказывал.

— Положим. Но вопрос уже был решен. А под занавес обязательно кто-нибудь анекдот в клюве приносит. Для разрядки напряжения. Тут же почище вышло. Человек, который в голове держит все интимные подробности жизни Франции, — это произвело эффект.

— То есть я выступил в роли клоуна?

— Удачно выступил. Боялись, что комитетская кандидатура предстанет в облике стального генерала с ежовыми рукави-

цами. Таких до сих пор в ЦК не любят. А тут выпустили ученого клоуна. Раз смешно, значит, не страшно. И Генеральный этот нюанс мигом усек. Возражений по твоей кандидатуре не было.

— Однако Комитет намечал другое лицо? — угадал я.

— Человек предполагает, а Бог располагает, — вздохнул Илья Петрович. — И потом, с чего ты это взял? Разве я тебе что-либо сказал? И потом — все хорошо, что хорошо кончается.

— И потом — суп с котом! — в тон добавил я. Кое-что для меня прояснилось. — Значит, так: тот, кого намечал Комитет, гораздо опытнее и компетентнее меня; но Францию я знаю лучше.

— А ты чего волнуешься? — всполошился Илья Петрович. — Ты же теперь можешь входить в кабинет к председателю, ногой открывая дверь.

Я сделал вид, что не услышал, и продолжал:

— На Францию я потратил десять лет своей жизни. Однако у нашего управления более широкая деятельность. На начальника управления я не потяну. Не соответствую должности. Вернувшись, я сяду на другую страну. Если мне, конечно, дадут другой отдел. Я здраво оцениваю свои возможности. Так и передайте.

— Передам, — без улыбки пообещал Илья Петрович. — Но...

— Комитет в меня не верит?

— Верит. Кстати, знаешь, как тебя называют? В коридорах, конечно. Да не крути носом. У всех у нас своя кличка. Меня, например, называют Дедом. Не слыхал? Слыхал? То-то. А тебя — Фишером!

Я задохнулся от обиды.

— Ну и горяч ты, — протянул Илья Петрович. — Ну и горяч! Ты чего подумал? Ты чего вообразил? Да нет, не евреем Фишером — ну как не стыдно! — а шахматистом, Бобби Фишером. Помнишь такого чемпиона, который в шахматы играл гениально, а в жизни был как ребенок? Так вот, в том, что ты “французскую партию” разыграешь с блеском, у Комитета нет сомнений. Но, кроме дела, есть еще суета сует, и в этой житейской суете ты, прости меня, младенец. Акцию мы задумали значительную, звучную, такое не на каждую ударную пятилетку выпадает. Многие надеются на ордена и чины. Многие, извини меня за прозу, *засиделись*. И в этом смысле надо дело не только провести, но и уметь подать, чтобы в ЦК поняли — мы тут не лаптем щи хлебаем. А подать — это тоже искусство. Между прочим, не ты один на *Франции* сидишь, и не только твой отдел. Многие сидят *во Франции*, и не десять, а двадцать лет. Бойцы, как говорится, невидимого фронта. Да ты их прекрасно знаешь. Но бойцам-невидимкам

иногда хочется, чтобы их увидели, увидели при жизни, а не клали пышный веночек на их могилы.

— Мы делим шкуру неубитого медведя.

— Эх, Борис Борисыч, Бобби Фишер... Беби Фишер ты! Не сечешь тонкостей. Думаешь, перед тобой сидит старпер, который лишь побрякушками для наших ребят озабочен. А ты, мол, выше всех этих глупостей и о деле печешься. Я же тебя насквозь вижу. Но скажи, какая была самая удачная акция Комитета за последние годы?

— Германия.

— Правильно. Вывели ФРГ из НАТО, лишили американцев лучшего плацдарма, получили вторую Финляндию. Без единого выстрела перевернули всю карту Европы. Ну и что? Нам сказали спасибо? Дали три ордена и одно генеральское звание. А ребят надо было озолотить за это. Но, видишь ли, акция неэффективная в глазах ЦК. Подумаешь, еще одно нейтральное государство. У тебя же в руках будут такие козыри...

— Наградные списки — это дело председателя Комитета.

— Но как комиссар республики ты будешь стоять над всеми ведомствами... Ладно, безголосого петь не научишь. Мой личный тебе совет: не бери все на себя, дай и другим возможность отвечать и за будущие успехи, и за будущие ошибки.

— Понял, — вздохнул я, — сложилось уже мнение, что лавров я Комитету не принесу. Однако не такой уж я кретин и о своих коллегах никогда не забывал. Постараюсь. В этом отношении недооценивают меня наверху. Ошибаются.

Илья Петрович покачал головой.

— Хотелось бы верить. Но Комитет никогда не ошибается.

### 3

Я летел самолетом Аэрофлота, рейсом Москва — Париж, и когда объявили, что под нами Берлин, вспомнил свой разговор с Ильей Петровичем.

В общем, это случай жребия, не так крутанулась рулетка, дурником выпало мне, но главное, я назначен исполнителем воли Комитета, самой могущественной и провидческой организации в мире. Меня ожидают огромные трудности, и, право, преждевременно и глупо примерять орденские колодки, но раз Комитет решил — враг будет разбит, победа будет за нами! (Так, кажется, говорил Сталин.)

Ведь вот как разыграли с Германией, а дело было посложнее. Кстати, и мне во Францию дорогу проложили.



Наивные люди спросят: при чем тут Комитет? Это, мол, государственная политика и военная мощь Советского Союза.

Отвечу: играл-то весь оркестр, но ноты писались в недрах Комитета. Да, запугали ракетами, подняли движение пацифистов, создали общественное мнение, что, мол, в случае даже ограниченного военного конфликта от ФРГ останутся одни угли. Плюс разогрели немецкий национализм — дескать, пусть будем нейтральны, но независимы от американцев. Так ведь это все элементарно, на земле лежало, еж, и тот бы додумался...

Нет, был гениальный план: сначала заманить немцев идеей объединения ФРГ и ГДР, а потом доказать им, что эта идея невозможна, и в этой невозможности — гарантия независимости (в рамках нейтралитета) Западной Германии. И немцы поверили, и американцы поверили, а точнее, вынуждены были принять. Американцы попались на удочку. Они рассудили, что в сложившейся обстановке предпочтительнее иметь нейтральную Германию, чем советскую Германию. Вот где мы их обвели вокруг пальца. И не затем нам нужна финляндизированная Германия, чтоб получать с нее электронику, машины, ширпотреб и промышленное оборудование. Тоже, между прочим, не мешает: курицу, несущую золотые яйца, не убивают. Однако и это не решающий довод. В своей истории мы столько золотых кур покалечили или отправили прямиком в бульон — нам ли останавливаться на достигнутых успехах? Да и немцы не простаки, не согласились бы играть роль золотой курицы, живущей постоянно под занесенным топором. Повторяю, все было тоньше. Немцы наконец догадались, что мы заинтересованы в капиталистической Западной Германии, ибо объединенная Германия, даже под коммунистическим флагом, — это крушение всей советской европейской политики. Когда американцы это осознали, было уже поздно. Но почему нам страшна объединенная Германия? Да потому, что восемьдесят миллионов немцев, даже с коммунистическим правительством, — это все равно самостоятельное германское государство. А германское самостоятельное государство начинает развиваться по своим особым законам. И мы не забыли, что когда-то Германия, воюя на два фронта, сумела дойти до наших волжских берегов. Бог помилуй от такого союзника! Хватает с нас коммунистического Китая. Тут скажут: мол, в случае чего, танками задавим, как Венгрию и Чехословакию. Нет, объединенную Германию танками не задавишь! Немцы — не чехи, будут драться! Тут возразят: у нас, дескать, ядерные ракеты. Однако против коммунистической Германии мы их не сможем применить, иначе нам надо будет закрывать лавочку в Африке, Азии и Латинской Америке. Прогрессивные революционные режимы, на которые мы делаем основную ставку, нам такого не простят.

Теперь западные немцы живут припеваючи, спокойно поплеывая по обе стороны границы. Их нынче ничто не колышет. Вот что значит вовремя подкинуть идею, которая всех устаривает. А кто автор идеи? Как писал поэт — “люди, чьих фамилий мы не знаем“. Но я-то знаю. Со мной на одном этаже работали.

Командир корабля объявил по радио, что мы пересекли французскую границу.

Я усмехнулся и подумал, что когда-нибудь какой-нибудь писатель, сочиняя исторический роман, начнет с того, что “в такой-то день, в такое-то время обыкновенный рейсовый самолет с Востока вошел в воздушное пространство страны, и никто не услышал, как пробил роковой для Франции час“. Многозначительно и впечатляюще. В духе политического детектива. Только глупости все это. С точки зрения исторической объективности, роковой час для Франции прозвонил почти полвека тому назад, когда герой первой мировой войны маршал Петен подписал с Гитлером перемирие. Потом, естественно, были сотни томов о французском Сопротивлении, о партизанской борьбе, о знаменитом освобождении Парижа армией генерала Леклерка. И так далее, и тому подобное. Сказки Венского леса! На самом деле господа французы уютно уживались с оккупантами, и на дверях парижского гестапо на улице Лористон висела медная табличка “Доносов не принимаем“. Повальная же запись в Сопротивление началась после того, как американцы высадились в Нормандии и стало ясно, что для немцев песенка спета. И тогда, и потом французы наглядно демонстрировали: воевать они не могут, не умеют, а главное — не хотят. Мы это учитывали и наматывали на ус. Далее генерал де Голль, в поисках былого величия французской империи, повел страну так называемым независимым курсом и вышел из НАТО. Признаться, такого щедрого подарка даже мы не ожидали. Отныне американцы могли защищать Францию лишь при условии, что французское правительство их об этом попросит. Но ведь правительство может *не попросить*. Какой простор нам для инициативы!

Тем более что в стране активно действует хорошо организованная, дисциплинированная, одна из самых сильных на Западе коммунистических партий, члены Политбюро которой утверждают Секретариатом на Старой площади в Москве. А в распоряжении французских коммунистов — самый многочисленный и боевой профсоюз, способный в любой момент парализовать страну всеобщей забастовкой. Положим, не всеобщей. Однако мы давно ориентировали французских товарищей в нужном направлении. Читайте Ленина: “Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны“. И если коммунистический профсоюз

останавливает транспорт и вырабатывает электричество, то французам ничего не остается, как двигаться прямой дорогой к социализму. Надо их только подтолкнуть.

Словом, Франция “лежит очень плохо”. А раз плохо лежит, почему бы ее не взять? Но с другой стороны: за каким чертом ее брать? Нам и так достаточно головной боли в других районах мира.

Увы, Франции не повезло. Она очень хорошо лежит. Извините за парадокс. Поясняю. Много стран лежат плохо. Например, Италия. Но та все-таки официально входит в НАТО, и от итальянских коммунистов лучше держаться подальше. К тому же, после того как Греция стала нашим союзником, мы можем контролировать Средиземное море. Италия принесет дополнительные военно-морские базы (которые нам нечем заполнить), но одновременно все итальянские политические страсти-мордасти и экономический специфически итальянский хаос. Такие дары пусть хлеблют американцы. А Франция — это стратегический плацдарм, это выход в Атлантический океан и прямая связь с Латинской и Южной Америкой. Наши ребята в Анголе, на Кубе и в Никарагуа будут чувствовать себя как в окопах, пока мы не прибедем к рукам Францию.

Не скрою, были соображения такого рода, что Франция — это тоже курица, несущая золотые яйца. Мы думали над этим и решили, что нам хватит и немецкой. Семь лет правления французских социалистов развалили экономику страны. Французские товары перестали быть конкурентоспособными. Зачем нам платить втридорога валютой, когда ту же продукцию, лучше и дешевле, нам поставляет Германия? А вот сельское хозяйство Франции прокормит половину населения Советского Союза. Нам надоело покупать хлеб в Штатах и мясо у Аргентины. Надоело, плюс политически это производило негативный эффект и внутри Союза, и за рубежом. С Францией же мы будем рассчитывать на твердый и не подверженный инфляции советским рублем.

Теперь вам понятно, что, когда мы шли на Секретариат, нам было чем козырять?

Впрочем, эти козыри в ЦК и без нашей подсказки видели. “Портреты” тоже не лыком шиты, и помощники у них головастые. Нас сразу встретили вопросом: не забыли ли мы о “птичках”? Министерство обороны доложило, что в случае необходимости наземные силы Франции можно задавить четырьмя дивизиями. Наши военные трезво оценили боевой дух французского воинства. Но оставался французский военный флот и “птички” — авиация с ядерным оружием, наземные и подводные ракеты с ядерными боеголовками. А эта технология у французов прекрасно налажена.

Мы ответили, перефразируя слова известной песни, — мол, самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут. И чтоб взлетела самая грозная модернизированная ракета, нужен маленький пустячок: кто-то должен нажать на кнопку. А это уж наша забота.

Нет, карт-бланш нам не выдали. Секретариат постановил — сначала гарантируйте, что на кнопки не нажмут и “птички” не взлетят, а потом поговорим.

Признаться, на карт-бланш мы и не рассчитывали. Но если будет гарантия, кто станет терять время на пустые разговоры?

Кажется, я достаточно полно объяснил суть своей миссии.

По радио объявили, что самолет пошел на посадку в парижский аэродром Орли. Мне предстояли сущие пустяки: всего лишь приступить к выполнению задания.

В аэропорту меня встретил рубаха-парень из советского посольства, дружески и фамильярно ткнул ладонью в живот, подхватил мой чемодан и усадил в “Ладу” с посольским номером, которую он запарковал прямо у выхода из аэропорта под знаком “Стоянка запрещена”. Конечно, на ветровом стекле уже красовалась зеленая квитанция штрафа. Квитанцию эту парень тут же демонстративно порвал. Когда он мне представлялся у паспортного контроля, я фамилию его не расслышал, но вычислил, что это обыкновенный порученец. “Молодцы, ребята”, — мысленно похвалил я посольских. Мы заранее предупредили, чтобы в аэропорту не было никакой помпы, как можно скромнее. В этом смысле посольские даже перестарались.

— Надолго в наши края? — спросил меня порученец, вырывая на шоссе.

— Как начальство прикажет.

— Ага, только зря ты прихватил один чемодан. Чемоданы тут бешеные деньги стоят. Когда купишь шмоток в “Тати”, а отовариваться надо там, ты, конечно, выгадаешь, но такую же точно сумму за чемодан заплатишь.

Я подавил улыбку. Порученец принял меня за какого-то чайника из технического министерства. Поэтому сразу на “ты”, сразу начал учить жить, сразу поведал о “Тати”. И с таким народом мы собираемся строить коммунизм...

Я заметил, что порученец съехал с основной магистрали.

— Почему мы не едем по Южному шоссе? — и чтобы не вызвать подозрений моей осведомленностью, я поспешно добавил: — Мне говорили, Южное шоссе ведет прямо в Париж.

— Ага, — согласился порученец, — у них это “южный авто-рут” называется. Но на нем мы будем загорать до вечера. Стоит

“авторут“. Забастовка водителей грузовиков. У них это “эскарго“ называется. Едут, суки, со скоростью улитки, пять километров в час.

— Почему же они бастуют?

— Потому что суки, — убежденно ответил порученец. — Мне бы такую зарплату, я бы вкалывал, как паинька. А им все мало. Нет, поживешь немного в Париже, и ты взвоешь. Каждый день забастовка, каждый день то метро не работает, то автобусы не ходят, то демонстрации улицы перекрывают.

Для меня это была любопытная информация. Если у рядового работника советского посольства такие настроения, то, спрашивается, что же думают обыкновенные французы?

— Напели, небось, в Москве про Париж, — продолжал порученец, — мол, джинсов тут завались, и дубленки, и “сейка“, и транзисторы, жратвы от пуза. Но я дни считаю! И сертификаты. Как только накоплю на кооперативную квартиру и на “жигуленок“, дам деру отсюда. Париж, конечно, красив, однако вечером я на улицу носа не высовываю. Террористы и уголовники стреляют среди бела дня.

— А полиция мышей не ловит?

— Полиция только мышей и ловит. При социалистах министр юстиции был, Бадантер. Так он смертную казнь отменил. С тех пор щелкают полицейских, как кроликов. И я бы на месте гангстеров точно так же поступал. Семь бед — один ответ, попадешься — тот же срок дадут, почему же не щелкнуть полицейского и не уйти? А от террористов просто спасения нет. Кто тут только не резвится: палестинцы, баски, автономисты, армяне, корсиканцы и революционеры разной окраски. Если день прошел без взрыва, то это считают потерянном днем.

Я подумал, что Ксенофонтову это было бы приятно услышать. Одно дело — руководить издали, другое — на месте ощутить результаты своей работы.

— В общем, загнивают французы?

— Загнивают — не то слово. Советская власть по ним плачет. У них же не тюрьмы, а санатории старых большевиков. Лишь цветных телевизоров в камерах не хватает. Нет, мы бы в два счета порядок навели. И профсоюзам по шее, чтоб не чирикали.

“Это все-таки размышления советского человека, — сказал я себе, — но если примерно в таком духе думают французы, то мне и потеть особенно не придется“.

Наша “Лада“ затормозила у посольской ограды. В холл мы вошли без приключений. Двое охранников в дверях нам вежливо кивнули и ни о чем не спросили.

— Это, — на всякий случай пояснил им порученец, — ко-

мандировочный из министерства. Куда идем, папаша? В канцелярию, регистрировать прибытие?

Я молча повернул в коридор направо. Вдоль стены, как на параде, стояло все руководство посольства, начиная с генерала — военного атташе и Белобородова, резидента КГБ во Франции. Я пожал всем руки.

— Борис Борисыч, — спросил Белобородов, — инструктаж проведете прямо сейчас?

Я оглянулся в поисках своего чемодана. Он был уже в руках военного атташе. Порученец растерянно застыл в конце коридора. На лице его читалось смятение. Видимо, лишь теперь он догадался, кого привез, и мучительно соображал, не наболтал ли лишнего в дороге. Я ему ободряюще улыбнулся и сказал:

— Товарищи, совещание назначим на четыре тридцать.

А Белобородову шепнул на ухо:

— Сначала я должен нанести светский визит послу. Этикет обязывает. Иначе в МИДе будут полные штаны обиды.

Однако с послом предстояла беседа отнюдь не лирическая. Посол во Франции — это не опальный секретарь обкома, сосланный на дипломатическую службу доживать до пенсии, не проштрафившийся министр, погоревший на каких-то хозяйственных комбинациях. Нет, посол во Франции — это ключевая фигура советской внешней политики, и занимал этот пост профессиональный дипломат, прошедший все необходимые ступени МИДа. К тому же он был членом ЦК, и меня предупреждали, чтоб с ним я был очень деликатен. В Комитете даже не исключался вариант, что посол может слегка притормаживать нашу акцию. Психологически это понятно: в случае успеха операции он становился послом не в капиталистической, а в *социалистической* стране, что автоматически опускало его на ранг ниже. Более того, если мы завалим дело, то нам дадут по шее, а он останется на месте. А завалить дело могла любая утечка информации, в этом отношении товарищи дипломаты — большие специалисты, и мы бы никогда не нашли концов.

Нельзя было рисковать хоть на одну десятую долю процента, но нельзя было показать, что у нас есть какие-то сомнения. Поэтому целый час я посвятил тому, что объяснял послу его новую роль. Франция сохраняет свой особый статус. Посол Франции будет вершить европейские дела. Практически европейский отдел МИДа переместится в Париж.

Посол сделал вид, что мне поверил.

Далее я сказал: глупо и смешно предполагать, будто я смогу гарантировать или решать перемещения на таком уровне. Однако

если акция будет успешной, то по меньшей мере странно ожидать, что людей лишат постов, на которых они так блистательно себя проявили. Это было бы вопреки правилам и нелогично. К тому же — кто лучше них ориентируется на месте?

Тут посол со мной согласился.

Я заверил посла: мы ни во что его втягивать не будем. Согласно такого рода сценариям, посол ничего не видит, ничего не знает, ни о чем не подозревает. Если мы провалимся, то нас вышлют из Франции, но ни одна разведка мира не сможет доказать причастности к этому делу главы советской дипломатической миссии.

Не кинуть ему эту кость я не мог. Короче, получалось, что игра для посла была выгодна во всех вариантах. Ему светило повышение, а в случае нашей неудачи он умывал руки. Но теперь у него не было причин вставлять мне палки в колеса.

Самый щекотливый вопрос мы проехали. Я перешел ко второму. Я знал, что посол недоволен Комитетом. Количество наших сотрудников в последнее время достигло восьмидесяти процентов общего числа служащих посольства. Посол поспешил мне это высказать:

— У меня скоро не будет даже людей, чтобы в консульстве ставить печати на паспорта!

Но здесь я был тверд. Работу дипломатов необходимо перестроить. Резко увеличим количество приемов, деловых, личных и полуофициальных встреч. Деньги на это отпущены. Я готов всячески помогать своими людьми, чтоб осуществить техническую часть. Мы вступаем в решающую фазу операции. Надо будет ежедневно, подчеркиваю, ежедневно, держать руку на пульсе общественного мнения. Анализ и обработку прессы мы возьмем на себя.

— Мои коллеги, — сказал я, — могут собирать информацию. Но разговаривать с французскими чиновниками, с деловыми людьми они не умеют. А надо не только беседовать, но и закидывать свои идеи. Какие — это я буду подсказывать. В общем, без дипломатов нам не обойтись. А по части дипломатии вам карты в руки.

Завуалированная критика Комитета послу понравилась.

— И последнее. В ближайшие дни я прошу вас согласовать свои перемещения по городу с Белобородовым. Особенно время выезда и въезда в посольство. По агентурным сведениям, нам подложат бомбу чудовищной силы. А за вашу жизнь, за жизнь руководящего состава посольства я отвечаю головой.

Я почувствовал, что посол хочет мне задать сразу несколько вопросов. Однако недаром он был дипломатом, опытным,

вышколенным. Он не произнес ни звука, лишь буравил меня глазами.

Из нагрудного кармана я достал карту Парижа.

— Смотрите. Здесь красными точками отмечены места последних взрывов, произведенных террористами. Эта красная сыпь распространилась на весь город. И только советское посольство и торгпредство окружены девственными белыми пятнами. Убежден, что такую карту скоро положат на стол шефа французской контрразведки. Если уже не положили. И тогда обратят внимание на эту странную аномалию. Далее карту опубликует какая-нибудь бульварная газетенка с соответствующими грязными комментариями. Перепечатает американская пресса. Словом, пойдет писать губерния.

— Однако ведь бьют окна в агентствах Аэрофлота, — подумав, сказал посол.

Я пожал плечами:

— К этому все привыкли. Детские забавы.

— Может, взрыв будет у здания торгпредства?

— Не прозвучит, — ответил я.

— Однако наше посольство охраняется усиленными нарядами полиции. Может, что-нибудь совместно предпринять или хотя бы эвакуировать людей из угрожаемых помещений?

“Вот это он зря! — рассердился я. — Зачем он лезет не в свои дела?” Впрочем, по-человечески я его понимал.

— Связываться с французами мы не имеем права. Тем самым мы вынуждены будем засветить свою агентуру, заброшенную с таким трудом в эти банды... К тому же действия террористов стихийны, не поддаются контролю и малопредсказуемы. Боюсь, что взрыв произойдет, увы, с человеческими жертвами, что, — повысил я голос, — вызовет естественное возмущение рабочего класса, прогрессивной французской общественности и соответствующие меры советского государства.

— Надеюсь, моя семья...

— Нет, — бодро заверил я, — террористов такие цели не интересуют.

Посол тяжело вздохнул.

— Наши дипломаты находятся на передовом крае классовой борьбы...

— Они мужественно выполняют свой долг, — в тон ему ответил я и хотел было добавить: “Родина этого не забудет!” — но подумал, что это покажется слишком театральным. На моих часах было четыре тридцать.

— Мне остается вас поблагодарить за теплую и ободряющую беседу, — сказал я. — Считаю за честь работать с таким шефом. А сейчас я должен идти на совещание, проводить инструктаж. С вашего разрешения, конечно.



Главное, надо было запустить машину на полные обороты. Что я и сделал в первый же день. Отныне воплощать инструкции в жизнь по линии военной разведки — это была забота военного атташе, а аппаратом посольства командовал Белобородов, и я в его прерогативы решил не вмешиваться. Я не забывал, что Белобородов старше меня по воинскому званию, практически опытнее и как человек, долгое время работающий вдали от Центра, привык к самостоятельности. Как куратор, назначенный непосредственно Секретариатом ЦК, я был выше всех ведомств, но я пытался представить себе, как бы действовал на моем месте генерал-лейтенант — начальник Управления. Мысленно я копировал его поведение. К тому же, если что-то и может разладить хорошо отрегулированный механизм, так это мелочная опека.

Однако мне необходимо было встретиться и поговорить с глазу на глаз с офицерами Комитета, каждый из которых имел во Франции свой отдельный участок работы. В приемные часы советское посольство похоже на большой проходной двор. Масса советских товарищей, командированных во Францию, является сюда по своим делам, и это в принципе не должно вызывать подозрений у самой бдительной контрразведки. Поэтому на следующий день мне удалось увидеться в своем кабинете:

- с заместителем директора торгпредства в Париже,
- с советским вице-консулом в Марселе,
- с завоём корреспондентским пунктом агентства печати “Новости” в Париже,
- с атташе по научному обмену советской делегации в ЮНЕСКО,
- с директором художественного салона советской живописи и графики на бульваре Распай,
- с советским делегатом на Парижской международной конференции по производству кофе и какао,
- с заместителем главного инженера франко-советского общества “Газоэкспорт”,
- с администратором кинотеатра советских фильмов “Космос”,
- с продавцом магазина советских часов и оптики “Слава” на бульваре Бомарше,
- с членом консультативного совета совместного франко-советского центра по изучению ядерной энергии,
- с метрдотелем советского ресторана русской кухни на Елисейских полях “Пирожок”.

На остальных у меня просто не хватало времени, и я назначил встречу на другие дни.

На следующее утро у дверей моего кабинета меня уже ждал директор парижского агентства Аэрофлота подполковник ГРУ Федоров. Мы с ним были знакомы по Москве. Однако приветствовал он меня очень сдержанно, и по тому напору, с которым он стал докладывать об успехах своей конторы, я догадался, что Федоров обижен. Действительно, по табели о рангах я его был обязан принять в первую очередь. Но у меня были свои причины. Я передал ему персональный привет от его начальства, сказал, что в Управлении им очень довольны и ждут через две недели в Москве. Федоров не понял. Я пояснил:

— Вы мне только что докладывали о ходе операции относительно нового французского истребителя “Мираж-2500”. Организуйте так, чтобы кто-нибудь из нашей французской агентуры, человек второстепенный, передал вам микро пленку с техническими данными “Миража” буквально на глазах французской контрразведки.

— Борис Борисыч, — изумился Федоров, — меня в Париже еще ни разу не засветили! По нашим сведениям, никто из ДСТ\* не сумел сесть мне на хвост. А теперь вы хотите, чтоб меня взяли с поличным!

Видимо, Федоров просто не желал меня понять. Пришлось кормить его с ложечки.

— Я забыл вас поздравить, — сказал я, — с присвоением вам очередного воинского звания — полковника! Ну вот, рад вам первым сообщить приятную весть. Во-вторых, Управление дало согласие на вашу засветку. Мы рискуем лишь тем, что вас вышлют в 24 часа из страны. И потом, судите сами, всем службам безопасности мира прекрасно известно, что агентства Аэрофлота за рубежом — это наши чуть ли не официальные разведывательные гнезда. Все равно за вами следят. Я знаю, что в настоящий момент в ДСТ — невыполнение плана, извините, “по отлову советских шпионов”. А мы должны заботиться о своих французских коллегах. Годами мы их приучали: в случае нужды искать в Аэрофлоте. Если мы им срочно не подкинем что-нибудь громкое на первые газетные полосы, то они с отчаяния сунутся в другие наши конторы. А вот это сейчас крайне нежелательно.

Федоров уходил от меня поникшим. Расставаться с Парижем ему явно не хотелось. Неужели не успел скопить сертификаты на кооперативную квартиру? Но при чем тут я? Судьба играет человеком... Впрочем, я был к нему несправедлив. Федоров — хороший разведчик, умело вел свое дело. И идею с Аэрофлотом придумала не безликая судьба, а Борис Борисыч Зотов. Однако у меня

---

\* ДСТ — французская контрразведка.

не было иного выхода. Обстоятельства требовали, чтобы ДСТ заглохнуло аппетитный кусок.

В кабинет заглянул Белобородов.

— Борис Борисыч, чего сник?

Я ему рассказал про Федорова. Он вежливо посочувствовал и заметил:

— Смотри, не попади в один самолет с Федоровым.

Тут уж я не понял. Пришла очередь Белобородову учить меня уму-разуму, и делал он это с великим удовольствием.

— Ты взял такой темп, прямо горишь на работе. А вот мсье из ДСТ, которому поручено выяснить, что за первый советник прибыл в посольство, в недоумении. Обычно новенький сразу бросается в магазины или просто поглазеть на парижские витрины. Ты же за три дня на улицу носа не высунул. Нетипичное поведение. А мсье — хоть дурак-дурак, да не дурак. Кое-что смекает. Поэтому после обеда отправляйся фланировать по Елисейским полям и Большим бульварам, как заправский турист. Я тебе скажу, куда надо заглянуть, чтобы мсье потом доложили. Вечером с компанией поедешь на Пигаль, в “Еву“, куда обыкновенно заглядывают все советские дипломаты. И мы тебе девочку приготовили.

Я сделал протестующий жест. Белобородов хохотнул:

— Борис Борисыч, раз партия велит... Да не бойсь! Девочка наша, с советским паспортом, когда-то вышла замуж за француза, типичная разведенка. Клянусь, тебя это заинтересует. Так что готовься к бурной ночи, набирайся сил. Я это тебе серьезно говорю.

Но я уже начал догадываться, хотя Белобородов тем же ерническим тоном продолжал:

— Очень тебе рекомендую девочку. Лида ее зовут. Роман холостого дипломата с советской гражданкой успокоит мсье из ДСТ. Французы, как обычно, ищут женщину. Между прочим, Дед из Комитета тоже меня просил, чтоб я взял над тобой шефство в этом плане, мол, наш шахматист засохнет на корню.

Я оценил такт Ильи Петровича. Не “Фишер“, а “шахматист“. Моя комитетская кличка догнала меня в Париже в приемлемом виде.

Я должен сообщить несколько технических подробностей для ясности. Мы в своих посольских кабинетах можем говорить о чем угодно, не стесняясь. Советское посольство в Париже — высокое здание с узкими окнами. Кабинеты сотрудников КГБ и дипломатов высшего ранга — все выходят во внутренний двор. Французы с помощью специальных устройств с направленными лучами могут прослушивать разговоры лишь в комнатах, окна которых вы-

ходят наружу, на бульвар Ланн и “Периферик“, но в этих комнатах у нас размещены бухгалтерия, культурные и представительские отделы, технические и подсобные службы, а также квартиры рядовых сотрудников посольства. При желании ДСТ может узнать, сходитесь ли у нас дебет с кредитом и что *выбросили* в закрытом посольском магазине-распределителе. На здоровье, из этого мы государственных тайн не делаем.

Ни один француз без специального приглашения не может зайти на территорию посольства. Приглашенных встречают и провожают. Помещения, в которых побывали французы, потом проверяются специалистами. Все технические службы — от уборщиц до электриков — на сто процентов укомплектованы советскими гражданами. Тут мы не экономим.

Таким образом, забросить в посольство миниатюрный коротковолновый передатчик невозможно.

Западные посольства в Москве экономят на валюте. Уборка помещений, ремонт, починка осуществляются УПДК (Управлением дипломатического корпуса). Разумеется, после того как наши рабочие сменяют в комнате электропроводку, ихние спецслужбы устраивают проверку. Но полной гарантии у них нет. Технология подслушивающей аппаратуры развивается стремительными темпами. Поэтому важные совещания и переговоры западные дипломаты в Москве вынуждены проводить в определенных внутренних залах, без окон, с экранированными стенами. В своих же рабочих кабинетах они беседуют на деликатные темы с помощью блокнотов, запись на которых тут же стирается. Однако иногда наша аппаратура фиксирует пикантные фразы, произнесенные вслух. Человеческая природа берет свое — нельзя же в течение 365 дней в году держать язык за зубами.

Далее. Все передвижения по городу западных дипломатов в Москве контролируются. Если произошел контакт с советскими гражданами, личность этих граждан идентифицируется. Наши соответствующие службы не страдают нехваткой кадров. А в Париже, например, нами занимается лишь один отдел ДСТ. И сотрудников там в двадцать раз меньше, чем служащих в советском посольстве. Спрашивается, может ли французская контрразведка позволить себе роскошь следить за моими прогулками по городу?

Я привел эти скучные технические подробности для того, чтобы все поняли, как благодаря неустанной заботе партии и правительства облегчен нелегкий труд советских дипломатов за рубежом.

Я попросил принести обед из буфета на этаже ко мне в кабинет и в час дня включил телевизор, чтобы посмотреть сороками-

нутную передачу новостей. В разных концах мира происходили головокружительные события, а французы пятнадцать минут обсуждали... повышение цен на салат.

На столе меня ждала гора бумаг, но я должен был выполнять инструкцию Белобородова. Береженого Бог бережет. За новичком в первые дни могли и присматривать.

Я вышел из посольства и неторопливой походкой, через бульвар Ланн и авеню Фош, направился к Елисейским полям. На Елисейских полях я “вылизал” витрины и выпил кофе за столиком кафе “Фуке”. Все советские вновь прибывшие товарищи поначалу заглядывают в это кафе (потом, наученные опытом, обходят его стороной — цены там дикие). Я поговорил с официантом о погоде. Теперь, если французская контрразведка покажет ему мою фотокарточку, официант меня вспомнит.

Кофе мне не понравился. В нашей комитетской столовой на седьмом этаже его варят крепче.

Париж меня раздражал. Праздношатающиеся толпы бездельников — и это в разгар рабочего дня! Рядом за столиком нежно ворковала парочка. Небось студент и студентка сбежали с лекций.

Потом оба закрыли глаза и слились в десятиминутном поцелуе. Вокруг люди шастают, посетители кафе глазают — а этим все до лампочки, ни стыда, ни совести. Он ее лапал, она тихо повизгивала.

“Ну, хорошо, — думал я, — девка, что с нее взять? Выпороть для науки! А вот парень? Лохмы до плеч отрастил, а если родину придется защищать? Ты же с такой прической прицел винтовки не увидишь! Нет, не будет защищать он свою страну, у него лишь бабы и выпивка на уме да в кафе с компанией посидеть. Потеряла Франция свою молодежь — вот они, последствия буржуазной морали...”

Вплотную столкнуться с буржуазными нравами мне пришлось вечером, в стриптизном кабаке “Ева”. Не по доброй воле отправляются сюда советские товарищи. Когда сотрудники нашего торгпредства заключали выгодную сделку с французами, обычай требовал, чтобы обмывали ее шампанским в подобных заведениях. Иначе фирмачи не поймут, обидятся. С волками жить — по-волчьи выть. На такие мероприятия у торгпредства был особый фонд.

Белобородов организовал все соответствующе. Двое французских фирмачей, двое наших из “Стальэкспортимпорта”, переводчица Лида и новый первый советник посольства, которого из подхалимажа пригласили погулять за казенный счет. С точки зрения ДСТ, все складывалось логично.

Я произнес тост за франко-советскую дружбу, не очень вступал в торгово-дипломатический треп за столом (а когда вступал, то благодарил французов, которые поправляли ошибки в моем

произношении). Мы обменялись визитными карточками, я обещал пригласить фирмачей на торжественный прием в посольство 6 ноября. Лида ко мне прижалась, я победно ухмыльнулся — а сам про себя повторял: “Только бы баба, что сейчас на эстраде скидывает нижнее белье, только бы она оставила этот блестящий треугольник между ног!”

Видимо, правы были коллеги по Комитету, когда называли меня Фишером-шахматистом. Действительно, я теоретик. К практическим серьезным испытаниям не подготовлен.

Однако, на мое счастье, блестящий треугольник оставался на месте.

Счет нам подали в размере моей месячной зарплаты. Надеюсь, в подписанном “Стальэкспортимпортом” и фирмами контракте французов все равно облапошили, иначе кидаться такими деньгами было бы преступлением.

Мы спустились на площадь, и Лида заявила, что хочет показать мне этот злосчастный район. Прощаясь, французы мне заговорщицки подмигнули.

Мы прошлись немного, рука об руку, а затем взяли такси и поехали к Лиде на квартиру. И когда в машине Лида сказала, что обожает быструю езду, меня осенило: ну, конечно, это Лида по прозвищу Тачанка. У меня на дела исключительная память. Я держу имена всех наших агентов в голове, но Лида с Тачанкой не замыкалась, я ее представлял себе другой. А агента по кличке Тачанка-Лида я хорошо знал. На ее четырех колесах каталось в свое время много народу — и в Москве, и в Париже. Ее завербовали, когда она первый раз, уже будучи французской гражданкой, вернулась в Москву навестить мать и отца. Схватили ее на спекуляции золотыми монетами. Ну а после — разговор короткий. Или десять лет лагерей, или... А в случае чего — родители остаются заложниками, да и в Париже найдем, у КГБ руки длинные.

И было известно, что Лида работала с охотой. Ну а репутация — так мне не жениться на ней. Даже удобнее. ДСТ могло предполагать, что Лида нам нужна для чисто специфических мужских надобностей.

Лида жила в старом буржуазном многоэтажном доме с консержжкой. Квартиру она занимала большую, с длинными коридорами. Она меня провела по комнатам, в которых, к моему удивлению, был идеальный порядок, и показала дверь черного хода.

— По лестнице спускаетесь во двор — и на другую улицу. Если иметь ключ от черного хода, то никто никогда не установит, что вы идете ко мне.

Мы вернулись в гостиную, и Лида включила тихую музыку, как она объяснила, “для фона”, что было разумно. Она мне все

больше нравилась. В ней не было ничего вульгарного (а именно такой я ожидал ее увидеть), и когда не стало нужды ломать комедию перед французами, она держала себя тактично и достойно. Наверно угадав мои мысли, Лида усмехнулась:

— Я же не предлагаю вам целоваться и не называю Боречкой. Итак, что будем пить? Виски? Вино?

— Кофе.

— О'кей! Сейчас заварим. Вы всегда такой серьезный?

— Всегда.

— Жалко.

Лида принесла дымящийся кофейник, две чашки, но себе в стакан плеснула виски.

— Вас таскают в ДСТ?

— Естественно, я ждала, что вы мне зададите этот вопрос. Уже два очка в мою пользу. Согласны?

Я согласился.

— Что касается ДСТ, то меня туда изредка приглашают, а таскают, извините, это у нас.

— Три ноль в вашу пользу. И о чем спрашивают?

— Как обычно — о чем, мол, меня спрашивали в КГБ? И я отвечаю, что, мол, спрашивают о моих знакомых французах.

Я кивнул головой. Все правильно. И впрямь, глупо скрывать, что мы *таскаем* бывших советских гражданок, которые приезжают в Союз повидать родственников. Любишь кататься — люби и саночки возить, иначе в другой раз не дадим визу. И западным разведкам это известно. Но с теми дамами, что на нас не работают, мы ограничиваемся беседами об их иностранных знакомых. В нашем хозяйстве все может пригодиться.

— Ваше здоровье!

Лида пригубила виски. Я потянулся за кофейником и вдруг явственно услышал, как хлопнула дверь — та, с черного хода, в глубине коридора. Лида следила за выражением моего лица. Я налил кофе в свою чашку.

Женщины в разведке — самые несчастные люди. Причем я имею в виду не добровольных и платных стукачек, которых у Комитета пруд пруди и которые за пятьдесят рублей или за путевку в интуристовскую поездку готовы заложить кого угодно. “Поверьте мне” (второй раз цитирую письмо Ленина к кронштадтским матросам), так вот, поверьте мне, мы знаем, с каким дерьмом нам приходится работать. Московские и ленинградские проститутки, фарцовщицы, мелкие спекулянтки, карманные воровки — кого только нет в наших картотеках! Гораздо хуже стукачки по призванию, которые нашими руками хотят свести личные счета. Знаме-

нитая история, когда одна солидная дама (между прочим, секретарь парторганизации в НИИ) пыталась посадить своего мужа только за то, что тот ушел от нее к молоденькой лаборантке. Навести на человека поклеп — довольно просто, защитить — сложнее. Целый сектор большого отдела отбивался в течение месяцев от фронтального наступления бесноватой бабы, ибо было известно, что ее бывший муж ни в чем не виноват, ни ухом, ни рылом. Однако сейчас речь идет о другом, о настоящих кадрах, которых мы вербуем в разведку.

Как правило, мы занимаемся еще с университетской скамьи заманиванием романтикой приключений, материальным стимулом, работой за границей. К тому же, когда не сложилась личная жизнь — тянет к перемене мест. А тут возникает выбор: или шебуршиться в средней школе Улан-Удэ, и кругом, куда ни помотришь, одни черти косоглазые, или консульство в Риме и торгпредство в Лондоне. Есть над чем поразмыслить. Правда, до Рима и Лондона дорога дальняя. Мы долго девушку обкатываем, пока она не начинает верить, что работает за *идею*. А поверит она в идею обязательно, в силу своей женской природы, ибо женщина все идеализирует и в любви, и в жизни, без романтической пелены для нее не жизнь, а проклятый, скучный быт. Вот тогда кадр созрел. Но всячески подогревая и поощряя эту романтику, мы прекрасно отдаем себе отчет, что нам этот кадр необходим главным образом как баба, которую в нужный момент надо подложить под интересующий нас объект. А когда женщина прозревает — уже поздно, кругом она повязана. Вот почему среди них так много алкоголичек и наркоманок. И еще есть статистика самоубийств в советских зарубежных колониях, но она — за семью печатями, даже я в нее не заглядывал.

Лида в момент нашей с ней встречи была на перепутье, то есть уже все про себя знала, однако романтику еще сохранила. Как я потом понял, она к нам пошла по идейным соображениям. Конечно, дело ей сшили, но дело послужило лишь формальным толчком. Француз, с которым она уехала из Союза, подонком оказался, ничтожеством. Это в Москве была любовь, и восторженная блондинка, загадочная русская душа. А как вернулся он с ней в Париж, его родители ему на пальцах объяснили, что для карьеры другая жена нужна, со связями и с собственной квартирой в придачу. Француз подсчитал, согласился и сказал Лиде: “Пардон!” А куда ей было деваться? Девка без кола и двора, в чужой стране, со специальностью “структурная лингвистика”, на которую, как легко догадаться, при тогдашней безработице о-о-огромный был спрос... В Москву же ей возвращаться с разбитым корытом гордость не позволяла. Ведь в глазах подруг королевой во Францию отправлялась. Так она и мыкалась в Париже, живя в грязном



арабском квартале, перебиваясь редкими частными уроками, и полагала, что жизнь ее кончилась. Посему ненавидела своего подонка мужа, а вместе с ним и его Францию. Может, дальше у нее и наладилось бы, однако потянуло домой. Домой же надо приехать с форсом, с подарками и деньгами, иначе родители заподозрят неладное. Но деньги в Париже на улице не валяются. Вот и задумала она повернуть выгодную комбинацию с золотыми монетами. И, повторяю, деньги ей нужны были не для себя — родителям жаждала вручить пару тысконок на кооперативную квартиру с барского плеча... Как водится, с размаху угодила в нашу сеть.

Тут, на счастье, умный ей следователь попался. Разгадал ее. Мы подключились, поняли — девка будет работать за идею, реванш у Франции и у мужа-ничтожества брать. Далее пошло веселее. Русской переводчицей можно большие деньги заработать, особенно когда советские фирмы оказывают ей предпочтение.

Так вот, продолжаю, наступил момент, когда и она догадалась, что мы ее ценим, мягко говоря, не за аналитический ум и решительный характер. Но признаться окончательно в этом себе самой — катастрофа, вторая в ее жизни. Страшно. Тут я появился и показался ей принцем-царевичем, королем-королевичем, за которого можно ухватиться и который вытащит. Да я, идиот, тогда этого не понял. Я же себя и впрямь принцем-царевичем считал и согласился бы только на королеву. Верка меня почему захомутила? Да потому что на пермской помойке с разбитым носом лежал, вот она и подобрала. А разве сравнить Лиду с Веркой? Лида была на два порядка выше.

Ладно, дело прошлое.

Итак, налил я себе кофе, а по коридору шаги, и Лида, чувствую, иронически наблюдает за выражением моего лица. Я сахар в чашку кладу, размешиваю, глаз не подымаю.

Мужской голос с порога по-французски:

— Добрый вечер, мадам, мсье!

Лида встает и небрежно так роняет:

— Борис Борисыч, я пошла спать. Когда будете уходить, меня разбудите, чтобы я вам такси вызвала и перед консьержкой нежно поцеловала.

И вот, когда Лида удалилась, я поднял голову, взглянул на вошедшего и на миг не поверил своим глазам. Сам пришел! Молодец Белобородов, лихо провернул!

Я, естественно, вскочил на ноги и радостно бросился с протянутой рукой:

— Здравствуйте, товарищ Фрашон!

Но фамилию я назвал другую. Не в этом суть. Замнем для ясности. Но передо мной стоял член Политбюро Французской ком-

партии — не самый главный, не самый известный, но тот, кто руководил в Центральном Комитете службой безопасности и сбором специнформации. И для меня он был самым необходимым, самым важным человеком во всей системе Французской компартии.

У нас с ним было о чем поговорить.

И говорили мы до шести утра.

## 5

За неделю основные узлы нашей сети я прощупал. Они были добротно завязаны.

Компартия, авангард рабочего класса, наш верный помощник, сучила ногами от нетерпения. Правда, когда я говорю “компартия“, я имею в виду верхушку партийного аппарата. Но тут был важный нюанс. Дело было представлено так, что не мы хотим и их просим о помощи, а *они хотят* — мы же из чувства пролетарской солидарности готовы оказать братскую поддержку. Об этом нюансе я ни на секунду не забывал в беседе с товарищем Фрашоном. Разумеется, низовые партийные активисты ни о чем не подозревали, но мы были уверены, что компартия в массе своей с энтузиазмом откликнется на призыв взять у буржуев средства производства, награбленные миллионы и переселиться из “ашелемов“ Клиши (дешевые государственные дома) в роскошные особняки на авеню Фош.

Вопрос финансирования был тоже утрясен. (Наивные люди поймут это так, что я вручил товарищу Фрашону чек с большим количеством нулей или наволочку, полную помятых долларовых бумажек. Фу, как не стыдно!) Объясняю. Давно минуло время, когда мы вынуждены были финансировать западные компартии. У нас самих весьма туго с валютой — московский Гознак доллары не печатает, а жмоты из Министерства финансов трясутся над каждой тысячей. Конечно, карликовые компартии мы подкармливаем до сих пор, но это мелочь. В принципе нынче все построено на хозрасчете. Например, компартии и революционные партизанские армии в странах Латинской Америки добывают себе средства контрабандой наркотиков в США! Террористические отряды в Северной Ирландии и в испанской баскской провинции обкладывают революционным налогом местных промышленников и торговцев. Что же касается Французской компартии, то она сама по себе крупный капиталистический магнат, с доходными домами, типографиями, туристскими агентствами, комплексными сельскохозяйственными кооперативами, фабриками и заводами, приносящими большую прибыль, ибо забастовок там не бывает никогда.

Официально во главе этих предприятий стоят частные лица, но это фигуры подставные. Многие фирмы, торгующие с СССР и странами народной демократии, торгующие на льготных условиях, тоже контролируются ФКП. На коллегии Комитета даже возникло мнение — попросить у Французской компартии миллионов тридцать—пятьдесят на покрытие профессиональных расходов — мол, когда-то ведь и мы им подбрасывали. Но тут я был категоричен: есть одна вещь, которую все французы, независимо от их политических взглядов, не прощают никому — очень они не любят, когда залезают в их карман. В общем, порешили, что каждый платит за себя.

Итак, мы обладали тремя козырями, довольно вескими: крепкой разведывательно-агентурной сетью, дисциплинированной, многочисленной компартией, финансовыми средствами, однако все эти наши карты годились бы лишь на мелкую игру, не сложись во Франции удивительная обстановка, которую наши дети даже не смогут себе представить, а уж поверить тем более.

Вся левая французская интеллигенция работала на нас. А что такое левая интеллигенция? Вроде бы небольшая прослойка, но которая определяла общественное мнение страны. К левым интеллектуалам прислушивались основные средства массовой информации. Молодежь воспитывалась левой профессурой. Быть правым было неприлично.

Да, существовали правые газеты и журналы, исходившие истошным воплем, — но кто их читал? Пенсионеры и мелкие буржуа, с мнением которых считались только во время выборов. На выборах выяснялось, что половина страны голосует за правых, однако выборы заканчивались, избиратель заползал в свои норы, а левые громовержцы вновь занимали авансцену.

Конечно, все было не так просто. Можно было критиковать Советский Союз и нарушение прав человека в странах социализма, но нельзя было высказываться против социалистической идеологии. Такие смельчаки обвинялись в примитивном антикоммунизме (этикетка очень неприятная) и теряли массовую аудиторию.

Фильмы, обличавшие буржуазный уклад жизни или бичевавшие диктаторские режимы Южной Америки, шли в переполненных залах. Пресса всюю восхваляла их создателей. Ни одного настоящего антисоветского фильма во Франции поставлено не было.

Литераторы правого уклона предпочитали исследовать “странности любви”. Их политические памфлеты имели ничтожный резонанс.

Когда много лет тому назад на Западе вышел первый том “Архипелага ГУЛАГа” Солженицына — в Комитете, в идеологиче-

ском и международном отделах ЦК была настоящая паника. Казалось, левая интеллигенция Запада для нас потеряна навсегда. И впрямь “Архипелаг” вызвал шок в Европе и Америке. Однако страсти по “Архипелагу” довольно скоро утихли, и появилась теория, что это в России, в силу ее отсталости и дикости, не сумели построить истинный социализм, а вот в развитых европейских странах все будет по-другому: свой социализм, свой коммунизм с человеческим лицом.

В Комитете потирали руки и делали вид, что, дескать, это наша заслуга, мы подбросили милую идейку доверчивому Западу. Да ничего подобного! Левая западная интеллигенция сама додумалась до этой теории, сама поспешила к нам на выручку.

Именно во Франции, больше чем в любой другой западной стране, семена, разбросанные левыми интеллектуалами, дали наглядные плоды:

*Служба в армии высмеивалась.*

*К полиции было откровенно враждебное отношение.*

*“Капиталист”, “фабрикант” — стали ругательными терминами.*

*Слово “патриот” было синонимом слова “мудак”.*

*Антиамериканские настроения цвели пышным цветом.*

Но тут я должен уточнить. Антиамериканизм лег на благодатную взрыхленную почву французского национализма. Потомки победоносной наполеоновской армии, сдавшиеся на милость Гитлеру, не могли простить американцам, что те их освободили в 1944 году.

В Комитете на закрытых просмотрах, а потом в Париже я видел много хроникальных французских кинолент, посвященных США. Их сатира была убийственна. По сравнению с ними наши советские антиамериканские кинорепортажи напоминали пресную манную кашу.

Не нарисовал ли я картину французской общественной жизни в розовых тонах? Нет, не думаю. Естественно, французская левая интеллигенция не была однородной. Встречались и откровенные наши враги, особенно в среде троцкистов и бывших главарей студенческих волнений мая 1968 года. Но я говорю об общей тенденции. А общая тенденция была такова: левая французская интеллигенция работала на нас. И самое замечательное — работала, не получая ни копейки.

“Кто готов на нас работать? — повторил мой вопрос замдиректора торгпредства полковник Залукидзе и, помнится, рассмеялся: — Борис Борисович, на нас готов работать любой крупный хозяин, промышленник и фабрикант. Как всегда, на Западе пере-

избыток продукции, а отсюда — спад производства. Хозяева изыскивают любые средства, чтобы сохранить рабочие места и избежать конфликта со своим персоналом. Поэтому если я завтра предложу любому из них выгодный контракт с условием, чтобы президент компании выучил за ночь текст гимна Советского Союза — слова Михалкова и Эль-Регистана, — не сомневайтесь, утром следующего дня этот капиталист споет мне советский гимн с выражением и по-русски!“

Наступала пора кидать первый пробный шар. Еще в Москве мы подготовили докладную записку министру обороны США за подписью начальника штаба американских сухопутных вооруженных сил в Европе. Документ с грифом “совершенно секретно“. В этом послании американский генерал указывал на растущую опасность захвата власти во Франции коммунистами, возможность ввода в страну, по приглашению коммунистов, ограниченного контингента советских войск и предлагал план оккупации Франции силами НАТО, а точнее, американским экспедиционным корпусом. Причем генерал подчеркивал, что надо действовать срочно, внезапно, поставив правительство Франции перед свершившимся фактом.

И хотя это был только проект генерала, а не стенограмма тайного совещания в Белом доме и тем более не решение американского правительства — все равно мы рассчитывали, что доклад должен вызвать бурю во французской прессе и соответствующие дипломатические демарши.

Вопрос: кто опубликует этот доклад? Конечно, коммунистическая “Юманите“ напечатала бы его без колебаний, но кто поверит “Юманите“, которая и так не упускала случая лягнуть американцев в каждом номере газеты? И откуда в “Юманите“ могла попасть копия такого сверхсекретного документа?

Эффектнее была бы публикация в “Монде“, но редакция этой самой авторитетной французской газеты устроила бы предварительную проверку. Разумеется, непосредственно к начальнику штаба американских вооруженных сил в Европе газета бы не обратилась, но навела бы справки: из какого источника этот документ и насколько достоверен источник? А что мы могли предложить? Вразумительной легенды у нас не было.

С запечатанным конвертом в кармане я выехал из посольства на своем новом “пежо“ последней марки, запарковал машину на бульваре Осман и отправился к “Галери Лафайетт“. В том, что советский дипломат намерен посетить большие магазины, ничего подозрительного не было.

Пройдя “Галери Лафайетт“ насквозь, я вышел на параллель-

ную улицу и позвонил из ближайшего телефона-автомата в редакцию журнала "Куполь". Секретарша любезно ответила, что мсье Гийом, главный редактор, будет через полчаса. Я опять вернулся в "Галери" глазеть на прилавки.

В принципе позвонить в "Куполь" мог кто-то другой, из команды Белобородова, но мне самому хотелось услышать голос мсье Гийома. Дело в том, что редактор этого популярного иллюстрированного журнала правого толка был нашим долголетним агентом. Правда, он безумно бы обиделся, если бы ему об этом сказали.

Репутация у мсье Гийома была безупречной. Работал в "Фигаро" и "Экспресс", потом сам пытался издавать свой журнальчик, пустив на это деньги жены, но прогорел. На одном из светских раутов, когда обсуждалась громкая по тем временам история журналиста Н., уличенного в связи с ЦРУ, мсье Гийом убежденно произнес: "Лучше бы бедняга работал в КГБ, все-таки чище". Слова Гийома были услышаны и переданы нам. Белобородов навел справки. Мсье Гийом принадлежал к французским националистам, которые были недовольны американизацией французской культуры и второстепенной ролью Франции в фарватере американской внешней политики.

Мы посоветовались и решили рискнуть. Пусть левая пресса работает на нас, но мы тоже должны работать на себя.

И вот некий ливанский коммерсант предложил мсье Гийому издавать журнал. Коммерсант финансировал предприятие в надежде, что вложенный капитал принесет жирные дивиденды. Ливанец целиком полагался на богатый журналистский опыт своего партнера, обещал не вмешиваться в редакционные дела, однако заметил, что не может простить американцам поддержку Израиля в ливанской войне. Мсье Гийом схватывал на лету. В журнале публиковались яростные антикоммунистические фельетоны, умеренные антисоциалистические статьи, встречались антисемитские выпады и постоянно доставалось Соединенным Штатам.

Поначалу шло ни шатко ни валко. Посольство через подставных лиц скупало половину тиража, чтоб хоть как-то обеспечить мсье Гийому выручку. Сжигать эти экземпляры во дворе посольства было довольно хлопотно. Однако вскоре дело наладилось. Мсье Гийом и впрямь кое-что понимал в журналистике, нащупал своего читателя, а главную известность "Куполь" приобрел публикацией сенсационных секретных материалов, касающихся деятельности Вашингтонской администрации и штаба НАТО в Брюсселе. Эти материалы из "Куполя" перепечатывала вся западная пресса. Через кого шла утечка информации в "Куполь", мсье Гийом благо-разумно помалкивал (тайна журналистской профессии!), но несколько скандальных расследований в Вашингтоне подтвердили,

что информатор у мсье Гийома вполне надежный и компетентный.

Тут прямо надо отметить: наши парни на совесть поработали в Вашингтоне и Брюсселе. Здорово выручили! Далее мы уже могли подбрасывать "липу", полуфабрикаты (где половина собрана разведкой, половина придумана на Лубянке), но основной этап мы проехали: репутация у "Куполя" сложилась.

Я купил себе зажигалку "ронсон" (за полчаса в "Галери Лафайетт" невозможно не раскошелиться), снова вышел на улицу, нашел пустую телефонную кабинку.

— Мсье Гийома, пожалуйста!

— Кто его просит? — мелодично пропела секретарша. — Он сейчас проводит совещание.

— Это от мистера Редда.

Мсье Гийом взял трубку через две секунды.

— Вам привет от мистера Редда, — сказал я с английским акцентом. — Я опускаю конверт в почтовый ящик. На нем написано, что это лично вам.

— Понимаю, — затараторил мсье Гийом, — чек мистеру Редду я тут же высылаю на почту до востребования, как обычно. Жалко, что номер уже сверстан. Большой материал?

— Одна журнальная страница.

— О'кей, я задерживаю журнал. Ставим тут же в номер.

Я повесил трубку. К главному редактору "Куполя" у меня претензий не было.

Меня вызвал посол и сказал, что его срочно приглашают на "Кэ де'Орсэ", в Министерство иностранных дел.

— Я вас поздравляю, — сказал я, — видимо, это последствия приема в Елисейском дворце, на котором вы беседовали с Президентом республики в течение пятнадцати минут. Все газеты это отметили.

— Борис Борисыч, — проартикулировал посол свистящим шепотом, и я увидел, что лицо его побелело. — Я тридцать лет на дипломатической работе. По мельчайшим деталям, вплоть до того, какого ранга чиновник звонит нам из министерства, я могу догадаться, зачем меня вызывают. Меня приглашают не для объяснения в любви и дружбе. Мне хотят вручить ноту протеста!

— Очень своевременно, — сказал я как можно спокойнее. — В период подготовки к визиту на высшем уровне такая резкая дипломатическая акция может иметь необратимый резонанс. В МИДе на Смоленской площади...

— Борис Борисыч, — заорал посол, совсем взбеленив-

шись, — не надо меня учить, что я должен отвечать французскому министру! Извольте мне объяснить, что произошло!

Я почувствовал себя так, как будто меня отхлестали по щекам. Действительно, я увлекся “шахматной игрой”, забыл об элементарном человеческом самолюбии. Посол мне это напомнил. Он был прав.

— Извините, — сказал я. — И на старуху бывает проруха. Считайте это моей неопытностью. Что же касается дела, так вот мои предположения. Директор агентства Аэрофлота Федоров вчера не ночевал дома. Вероятно, его арестовала французская контрразведка.

— Провокация? — спросил посол.

— Не думаю. Иначе они не подняли бы такой суеты. Вероятно, Федорова взяли с поличным на хорошую наживку.

— Совсем красиво, — сказал посол. — И я должен все это проглатывать?

— Нет, вот этого не надо, — твердо ответил я. — Не вдаваясь в детали, нужно заявить, что советское правительство рассматривает это как начало, повторяю, начало очередной антисоветской кампании, оркестрованной ЦРУ через французские спецслужбы, и потребовать немедленного освобождения Федорова.

Тут посол слушал внимательно. Я продолжал:

— Они могут выслать Федорова из Франции в двадцать четыре часа. Этому мы помешать не можем. Но если они намерены держать Федорова под стражей, то мы немедленно примем соответствующие меры. Намекните, они поймут. Иначе завтра же в Москве арестуют какого-нибудь крупного французского бизнесмена за сбор секретной информации. И народному суду будут представлены неопровержимые свидетельские показания. Пусть не сомневается.

Я тоже распалился. В конце концов — охренели французы! Вторые сутки держат полковника советской разведки в тюрьме. Я не могу этого им позволить. Хамство какое!

— Но вы отдаете себе отчет, — тихо и со значением спросил посол, — что вы тормозите, не хочу сказать, срываете, тормозите подготовку визита на высшем уровне?

— Визита не будет, — ответил я.

Воцарилась долгая пауза. Посол не отводил от меня пристального взгляда. Он не понимал: блефую я или просто много знаю.

Признаться, я несколько погорячился. Вернее, употребляя термин Ильи Петровича, “взял на себя”. Предрешать такие вопросы меня никто не уполномочивал. Я остро сыграл. Посол мог наступать в МИД. И тогда? Но рискнет ли посол? Вдруг я и впрямь достаточно осведомлен? Ведь меня командировал Секретариат ЦК.

В общем, поживем — увидим. Я поставил себя под удар. Од-



нако чутье мне подсказывало, что визит на высшем уровне не состоится. По причине нецелесообразности. И потом — мы уже запустили свою машину. Надвигались времена, когда не политика диктует действия, а действия определяют политику.

Федорова из-под стражи не освободили. Просто на следующий день его привезли в аэропорт Орли и под охраной полицейских посадили в рейсовый самолет Аэрофлота, который через пятнадцать минут улетел в Москву.

Молодец посол! Это надо было суметь повернуть! Ведь когда я приводил послу свои соображения, то был открытый текст, а открытым текстом говорить с заместителем министра иностранных дел Франции не рекомендовалось. Французы могли очень сильно обидеться и наплевать на наши ответные меры. В конце концов, давая ход делу Федорова, они предвидели наши встречные акции. Нет, значит, посол козырнул чем-то очень серьезным, раз они так резко пошли на попятный.

Я догадывался, чем козырнул посол, ибо сам вручил ему эту карту. Французы исходили из того, что обеим сторонам очень важно подготовить визит на высшем уровне. А посол знал, что визита не будет — он мне поверил и мог себе позволить идти на обострение. Такой ход для французов был неожиданным, и они отступили. То есть мы их переиграли крапленой колодой, но ведь надо было ее изящно перетасовать. Молодец посол, показал дипломатию высшего класса!

Тем не менее в прессу эта история попала. Газеты не только сообщили о высылке директора парижского агентства Аэрофлота, но и приводили красноречивые подробности. “Либерасьон” опубликовала фотографию Федорова в наручниках с подписью: «Русский полковник Главного разведывательного управления схвачен с поличным. В кармане его плаща найдена микропленка с чертежами сверхсекретного французского истребителя “Мираж-2500”...» “Фигаро” набрала на первой полосе крупным шрифтом: “Доколе советские шпионы в Париже будут чувствовать себя безнаказанно?”

Я буквально ликовал. Мой компот удался на славу! Французам будет чем полакомиться на десерт.

Объясняю. Затеявая эту интригу, я меньше всего думал о том, чтобы подбросить ДСТ работенку. Конечно, надо было сконцентрировать внимание французской контрразведки на определенном объекте, чтоб они не совали нос в другие щели. Все это так. Однако, согласитесь: ломать голову над их выполнением плана “по отлову шпионов” — не моя забота. Решающий момент операции был не в том, чтобы подставить Федорова, а в том, чтоб его тут же

освободили. Разумеется, такой оборот дела вызвал гнев французских контрразведчиков. Действительно, люди трудились в поте лица, старались, выслеживали, схватили — и, спрашивается, ради чего? Чтоб под ручки отвести советского шпиона к самолету? Есть повод для возмущения? Бесспорно. И это возмущение выразилось в том, что в газеты попали материалы, которыми располагало только ДСТ. В данном случае не в интересах правительства было информировать общественность. Значит, ДСТ объявило войну политикам, сорвавшим удачную акцию. А война с правительством — дело затяжное. Заодно будут сводиться старые счеты между контрразведкой и Министерством иностранных дел. Словом, моего компота им хватит надолго.

У нас же под шумок развязывались руки.

## 6

Мать их за ногу! Я размечтался, что дадут работать спокойно. Фигу с маслом! Да нет, не о французах речь — в гробу я их видал и в белых тапочках, — Москва потребовала отчет о деле Федорова! Видимо, в обход Комитета настучали в Секретариат о так называемом нежелательном резонансе. Кто уж постарался, не знаю, у нас тоже свои интриги.

Наши сотрудники составили доклад с анализом французской прессы, проект дали на утверждение мне. Я сидел над этой папкой и грустил.

Получалось, что французам все про нас известно, ну, если не все, то об остальном догадываются. Посылать доклад в таком виде — класть голову под нож.

Как объяснить Секретариату, что цена всему этому — три копейки? Что французы с материнским молоком впитали рассказы о кознях КГБ, что они относятся к этому, как к развлекательной телевизионной серии, как к похождениям Джеймса Бонда или американского детектива Кожака? О советской, болгарской, восточногерманской разведке на Западе написаны тысячи статей. Что это изменило? Да не хочет западный обыватель во все это верить, так ему удобнее, проще жить!

И потом, чем могут нам ответить западные спецслужбы? Закрывать границы на замок? Ввести тотальную слежку? А как же хвалебные демократические свободы? Такой номер не пройдет! К тому же технический прогресс медленно и упорно делает свое дело. Западному обывателю уже лень читать газеты, он черпает информацию в основном по цветному телевидению. Вот когда показывают красочные кадры, заснятые французскими кинооператорами где-нибудь в военно-тренировочном лагере во Флориде, с ком-

ментариями типа: “Инструкторы из ЦРУ готовят наемников для заброса в Никарагуа”, — обыватель верит. А какими картинками из советской жизни может попотчевать западное телевидение своего зрителя? Только официальной кинохроникой военного парада на Красной площади.

Однако в Секретариате этого не поймут. Все советские люди, включая членов Политбюро, воспитаны на страхе разоблачения государственных тайн.

Итак, посылать доклад нельзя, не посылать — тем более.

Не заказать ли мне заранее билет в Аэрофлоте?

Позвонил помощник посла и сказал, чтоб я шел на совещание в центральный цокольный зал. Я попытался отбойриться, но мне было объявлено, что присутствие всего руководящего состава посольства строго обязательно.

Я поплелся. В зале действительно собралось все руководство. Посол и секретарь парторганизации сидели в президиуме. Посол зачитал повестку дня:

1) *Подготовка к празднованию годовщины Октябрьской революции.*

2) *Разное.*

Я думал, что первый пункт дан для проформы, и в “разном” нам сообщат нечто веселенькое из Москвы. Не тут-то было! Вот уже целый час секретарь парторганизации заунывно декламировал доклад о задачах нашей парторганизации в свете решений последнего Пленума ЦК КПСС.

Во мне закипало бешенство. С ума они сошли, что ли! У всех работы по горло, а нам читают основы политграмоты, как на профсоюзном собрании швейной фабрики “Красная большевичка”.

— Миша, — толкнул я в бок культурного атташе, который, уютно примостившись за спинкой кресла, поглощал французский детектив, — чья это идиотская идея? В посольстве делать нечего?

— Не знаю, — пожал плечами атташе, — это ваши придумали, собрание назначил Белобородов.

Я вконец рассвирепел. С каких это пор сотрудники Комитета исполняют обязанности агитпропа?

Тут меня тряхнуло. Качнулась люстра. С потолка посыпалась какая-то белая пакость. Звук пришел позже.

Давясь в дверях, все бросились в коридор. Навстречу нам с верхних этажей неся истерический женский крик.

Двенадцать цинковых гробов мы отправили в Москву.

Заряд пробил окно на втором этаже и разорвался в зале общей бухгалтерии, где сидели в основном женщины.

Это было ужасно. Я не хочу вспоминать подробности.

Но мы разрешили снимать французскому телевидению, и еще неделю по всем телепрограммам шли страшные кадры развороченных комнат, лежащих тел, кровавых пятен на стенах, крупные планы раненых.

Через полчаса после взрыва посольство посетили премьер-министр Франции и министр внутренних дел.

На следующий день Президент республики принял советского посла. Вечером того же дня на Больших бульварах состоялась грандиозная демонстрация, организованная компартией, под лозунгом "Дружба с Советским Союзом — на века!" В демонстрации приняли участие все левые профсоюзы, социалисты и многие знаменитости из артистических и литературных кругов. Общее число демонстрантов, по сведениям полиции, достигло ста тысяч.

В Лилле, Марселе и Лионе тоже прошли демонстрации, под теми же лозунгами, но менее многочисленные.

Несколько цитат из французской прессы:

"Юманите": *"Кампания лжи и клеветы, поднятая правыми вокруг так называемого дела Федорова, сфабрикованного французскими спецслужбами, позволила террористам беспрепятственно провести свою чудовищную акцию. Сколько раз мы указывали — полиция ищет не там!"*

"Фигаро": *"Если даже советское посольство, так тщательно охраняемое полицией, стало жертвой покушения, то это лишь иллюстрирует общий климат террора и насилия, царящий в стране. Правительство не способно навести порядок и обеспечить безопасность граждан".*

"Либерасьон": *"Правительство хвастается своими ракетами с ядерными боеголовками, которые нацелены на Восток и якобы гарантируют суверенитет и безопасность Франции. Тем временем под носом правительства из Булонского леса ракетами американского производства бьют прямой наводкой по советскому посольству!"*

"Эль" (женский журнал): *"Из двенадцати погибших в советском посольстве — одиннадцать женщин, ни в чем не повинных технических служащих. Это не игра разведок, это последствия антисоветского заговора".*

"Монд": *"Кому это выгодно? Явно тем силам, которые хотят сорвать визит на высшем уровне и вбить клин в традиционные дружественные отношения между СССР и Францией".*

"Депеш дю Миди": *"Мы гордились своими свободами, но что от них осталось? Свобода не высовывать носа на улицу с наступлением темноты? Нам твердят, что в странах Восточного блока нет свобод. Но зато там не грабят, не убивают, не взрывают магазины, не обстреливают ракетами посольства.*

*Может, попросить русских навести и у нас порядок? Не знаю, что мы потеряем, но знаю, что мы приобретем: самую жизненную свободу — свободу спокойно дышать“.*

“Матэн“: *“Взрывы на улицах Парижа стали обычным явлением. Они казались хаотичными действиями разноликих террористов, но после обстрела советского посольства проглядывается сценарий. Не служил ли этот фейерверк покушений дымовым прикрытием для главной антисоветской акции? И тогда, похоже, что сценарий был разработан в ЦРУ“.*

(Признаюсь, прочтя эту статью в “Матэн“, газете близкой к социалистической партии, я даже подпрыгнул и выписал фамилию автора в блокнот.)

Да, еще одна существенная деталь. На приеме у Президента республики, когда Президент приносил свои соболезнования советскому послу, посол добился разрешения вызвать из Москвы спецподразделение для внутренней охраны посольства и для сопровождения сотрудников посольства во время их передвижения по городу.

Через неделю рота десантников из погранвойск разместились в комнатах посольства на первом этаже. Разумеется, ребят привезли в штатской одежде.

Как были поданы эти трагические сообщения в советской печати, известно. Я читал сообщение ТАСС о митинге на заводе им. Лихачева, когда рабочие потребовали послать в Париж дивизию для обеспечения безопасности советских граждан. Эта тассовская депеша пошла “на зарубеж“, но советские газеты ее не публиковали. О том, как французская и мировая пресса комментировали взрыв в посольстве, мы сделали подробный анализ и отправили его дипкурьером в Секретариат на Старую площадь.

А папочку с материалами по Федорову я пока спрятал в стол.

В этот раз на прием в посольство по случаю Октябрьской годовщины пришло очень много народу. Пожаловали даже те, кто давненько избегал с нами контакта: главные редакторы газет, крупные промышленники, лидеры правых партий, видные деятели культуры. От правительства присутствовали пять министров.

Все посольство было мобилизовано на обслуживание гостей. Я старался не возникать и следил за тем, чтобы в моем секторе зала непрерывно подносили напитки. Люди Белобородова держались в тени. Солировали дипломаты.

Что такое прием в посольстве? Сначала официальные речи, а потом непринужденный обмен хорошо дозированными глупостя-

ми, шуточки-прибауточки, где сквозь смех прощупываются важные темы.

Вот несколько фрагментов из разговоров, которые я услышал краем уха.

Советский дипломат — президенту французской электронной фирмы:

— Бросьте, мсье Дюпон, я не хочу вас убеждать в прелестях коммунизма. Более того, скажу вам по секрету — но это строго между нами, слово дипломата? О'кей! Так вот, наше положение еще хуже. Полный развал в экономике и в сельском хозяйстве. Нам нечем кормить страну. Но у нас самая сильная армия и абсолютное превосходство по части ракет. Согласен с вами, мы, русские, не умеем работать, не умеем торговать и отстали от вас на полвека. Допустим. На что же нам надеяться? Только на свою армию. Вы же на Западе все имеете и все умеете, однако воевать не хотите и не сможете — и это тоже ни для кого не секрет. Вы готовы пожертвовать сотней солдат, но не виноградником! Я понял психологию французов? Спасибо за комплимент. Так давайте договоримся: вы нас кормите, вы нас снабжаете всем необходимым, а мы гарантируем вашу безопасность и вашу свободу. Посмотрите на Германию! Как только немцы стали нейтральными, там расцвела экономика, прекратились забастовки и исчез терроризм. В ФРГ никогда не было сильной компартии? Верно, но вы же умный человек и понимаете, что мы способны повлиять на ваших коммунистов. Подумайте, зачем нам разваливать экономику страны, которая работает на нас? Согласен, марксистские догмы давно устарели. Так давайте приспособливаться к новым условиям.

— А как же ваши призывы к победе коммунизма во всем мире?

— Ах этот французский юмор! Bravo! Но вы же серьезный человек и знаете — пропаганда нам нужна, чтоб держать народ в узде. Мы же вам не мешаем рассказывать сказки о “красной опасности“...

Советский дипломат — французскому министру:

— Мы хотим перебросить войска через Германию к французской границе? Фу, господин министр, чего я от вас не ожидал, так это примитивного антикоммунизма. Однако любопытно наблюдать, как американцы подбрасывают вам свои идеи. Они умеют дергать за ниточки. Ладно, не будем обсуждать козни ЦРУ, оставим это для “Юманите“. Ну, господин министр, у нас же

откровенный разговор — неужели вам кажется, что мы не видим, как “Юманите” грубо работает? Ха, ха, разумеется, я этих слов редактору “Юманите” не повторю. Ага, вы ставите вопрос по-другому: пропустит ли Германия советские войска через свою территорию? Во-первых, нам ни к чему стягивать войска к французской границе — это я заявляю совершенно официально. Во-вторых, вопрос не по адресу: обратитесь к немцам. Правительство ФРГ суверенно и независимо, и оно в своих решениях с нами не советуется. Ох, какой вы дока, господин министр, все хотите меня прижать к стенке. Я уйду от ответа? Нисколько! Мое личное мнение? Как поступят немцы? Пропустят ли войска? Хорошо, отвечаю как частное лицо. Представьте себе ситуацию, когда девица, пардон, потеряла девственность, а ее лучшая подружка, вместо того чтобы посочувствовать, клеймит ее позором и всенародно повторяет: “Какой стыд, какой срам! Где же девичья гордость?” Так вот, когда, в свою очередь, эту подружку будут насиловать, поспешит ли ранее пострадавшая девица к ней на помощь? Нет, ничего, вы же любите пикантные истории. Но если серьезно, то вспомните, сколько чернил извела французская пресса, обвиняя немцев в предательстве, эгоизме и трусости, когда Германия выходила из НАТО. Поэтому у меня, постороннего наблюдателя, впечатление, что, если эта неправдоподобная и никому не нужная ситуация возникнет, немцы не только пропустят — зеленую улицу дадут и, со свойственной немцам добросовестностью, лучшие электровозы и поезда предоставят...

Советский дипломат — французскому генералу:

— Не скромничайте, господин генерал. Французскую армию по ее боеспособности мы считаем третьей в мире. Куда до вас китайцам?! Вступятся ли за вас американцы? Простите, а кто на Францию собирается нападать? Понимаю, вопрос чисто теоретический. Я не лезу в ваши проблемы, однако, согласитесь, — французские политиканы все делают для того, чтобы разозлить американцев. Увы, совершенно верно, после генерала де Голля во Франции не было выдающихся политических деятелей. Хорошо, вернемся “к нашим баранам”. Я убежден: американцы, если попросите, обязательно придут к вам на помощь и... превратят Францию в гигантское поле битвы, в полигон испытаний новых видов оружия. Но от тотальной ядерной войны они воздержатся. Зачем она им нужна! К чему рисковать! И вы бы на месте американцев так же точно поступили. Увы, политика — грязное дело. Да, история это подтверждает. Впрочем, американского президента можно понять. Кто его выбирает? Фермеры Канзаса. Спросите

у этих фермеров: где Франция? Они уверенно покажут в сторону Австралии...

Я заметил, что мой сектор зала поскучнел. Гости завяли. Причина обнаружилась быстро — иссякло спиртное. Я послал гонца в буфет с приказом не экономить на шампанском. Срочно приволокли два столика на колесиках с бутылками. Летящие к потолку пробки оживили публику.

Из толпы гостей выпрыгнула Лида. Мы с ней разыграли соответствующую пантомиму. Она мне шепнула:

— Борис Борисыч, этой ночью у нас любовное свидание.

Я понял. Опять не спать до утра! А ведь устал чертовски. Я постарался улыбаться как можно радостней, но Лида иронически хихикнула:

— Не вижу особого энтузиазма!

Я раздвинул улыбку до ушей и сказал:

— Лида, у меня ощущение, что за мной наблюдают. Кто тут может мной интересоваться?

Лида сморщила нос.

— Нашли о чем спрашивать бедную девушку! Это ваши шпионские игры. Кстати, полно народу из американского посольства. Вам их лучше знать. Но если обернетесь, только не сейчас, обратите внимание на худенького брюнета с дамой в красном платье. Это Клод Бернан, чиновник из канцелярии премьер-министра, а на самом деле — чистое ДСТ.

Ага, вот оно что! О Клоде Бернана я был наслышан. Захотелось придумать повод, чтобы подойти и взглянуть ему в глаза. Но я поборол это искушение. Он разом догадается, кто меня на него навел. Не будем проявлять чрезмерное любопытство.

В одиннадцать вечера, когда все кончилось, мы поехали с Лидой на Большие бульвары. Мне хотелось немного погулять и передохнуть.

Бульвары были забиты машинами, как в часы пик. На тротуарах не протолкнешься. Слышна английская, немецкая, итальянская речь. Но все же в основном — молодые французы. Как объяснила мне Лида, в пятницу вечером народ съезжается из дальних парижских пригородов.

Сплошные кафе и рестораны. Все столики заняты. Огни рекламы сияют до верхних этажей. У входа в дорогие рестораны парни в матросской одежде вскрывают устрицы и продают всевозможные ракушки, крабы, креветки, омары. Рядом торгуют горячими каштанами, жарят блины. Масса лотков с восточными сладостями. И опять датские, испанские, итальянские, китайские и марокканские рестораны. Сквозь стеклянные витрины видно, как



посетители сосредоточенно и со вкусом едят. Откуда такая прорва жратвы?

Уличные тиры, лотереи. Переполненные залы с игральными автоматами. Длинные очереди у входа в кинотеатры. Люди стоят на последний полуночный сеанс. За тот отрезок, что мы прошли от площади Оперы до кинотеатра "Рекс", я насчитал шестьдесят три афиши различных фильмов, включая классические ленты Антониони, Феллини, Бергмана, американские боевики, вестерны, французские новинки, фильмы ужасов, фантастики, космических приключений, эротические, полицейские и порнографические. Действительно, на любой вкус.

Около дешевых американских закусочных "Макдональдс" — мотоциклисты, все в кожаных куртках, с диковинными прическами, оставив свои машины прямо на тротуаре, отбивали такт под музыку транзисторов.

И самое непривычное — даже не музыка, не круговорот огней, не праздничное шествие, нет, самое непривычное — это отсутствие полиции, ни одного человека в форме! Представить себе нечто подобное в центре Москвы, на улице Горького, при том, что на каждом шагу продают спиртное в разлив, — бр... мороз продирает кожу.

Толпа двигалась медленно, застревая у очередного зрелища. Вот мим в фиолетовом бархатном сюртуке, с белой маской на лице дает сольный концерт. Вот фокусник колдует с колодой карт. Пожиратели огня пустили шапку по кругу, дескать, дамы и господа, сначала раскошесьте — потом мы исполним номер.

Уличный джаз: трубоч в легкой майке американского университета, долговязый саксофонист, коротышка гитарист в старинном котелке и девушка-ударник. Мы еще издали слышали рулады трубы, но когда подошли, музыканты заиграли что-то очень знакомое. Я остановился. Ну конечно, под это танго я танцевал на институтских вечерах. Кое-что вспомнилось. Я кинул несколько франков в раскрытый футляр гитары на мостовой, и Лида удивленно протянула:

— Ого! Неужели вас проняло!

— Почему? — сказал я. — Я люблю хороший джаз. И потом — я тоже человек.

— Не знаю, — ответила Лида. — Мне кажется, что вы "железный Феликс" и должны воспринимать это, как пир во время чумы.

— Близко, но не так, — сказал я. — У нас эти ребята играли бы на эстраде, а не собирали бы мелочь у прохожих.

— Если бы их выпустили на эстраду, если бы Москонцерт утвердил их репертуар...

— Вы сегодня агрессивны, — сказал я.

— Нет, — ответила Лида, — просто я люблю Париж. Кстати, нам пора. Я изнемогаю от страсти.

— Понял, — сказал я. — Кого же вы мне сегодня приготовили?

— Меня не спрашивают, — ответила Лида.

Мы молча дошли до того места, где я запарковал машину, и по дороге я думал, что слишком суров к Лиде и надо бы с ней как-то по-другому, и вообще кое о чем я стал догадываться, но я не умел фальшивить, и Лида бы это сразу раскусила.

## 7

От Лиды я уехал в пять утра в препоганейшем настроении. Хотел даже мчаться в посольство, но рассудил, что это совершенно бессмысленно и глупо. Я поднялся к себе в студию на авеню Сюффрен (в этом доме половину квартир снимали наши посольские), походил по кухне, покурил, поматерился и, так как все равно было рано, решил прилечь на полчаса. Однако проснулся без четверти одиннадцать. Позвонил Белобородову. Его жена сказала, что он отправился с дочерью в зоопарк. Упустил! И хотя Белобородов, как каждый советский служащий, имел право отдыхать в субботу, я попросил, чтобы сразу по возвращении он явился ко мне в посольство.

То, что Белобородов приедет только после обеда, было ясно как божий день. Впрочем, теперь это меня устраивало. Приехав на бульвар Ланн, я взял ключи от архива, открыл сейф, не торопясь просмотрел бумаги и нашел нужные мне счета. Увы, все подтверждалось. Эти счета я перенес к себе в кабинет, запер стол и, в ожидании Белобородова, занялся разбором московской почты. А в голове у меня повторялись слова Ильи Петровича: “С правом расстрела на месте”.

Белобородов вошел бодрый, приветливый, вроде бы несколько не досадуя на то, что я разбил ему выходной. Мы обменялись мнениями о вчерашнем приеме, поговорили о погоде и о тиграх в зоопарке. Как бы со стороны, я отметил, что беседуем мы в привычной манере офицеров КГБ крупного ранга: неторопливо, тихими голосами, в полушутливом тоне — в общем, как люди, которые настолько сознают свое могущество, что все происходящее их не очень волнует. Потом Белобородов поинтересовался, как прошла ночь. Я кратко изложил главное из того, что мне рассказал “французский товарищ”.

— Настроение в офицерской среде жуткое, особенно в пехотных, мотострелковых и бронетанковых соединениях. Считают, что правительство постоянным урезыванием бюджета вконец разру-

шило армию. Техника устарела. Призывники служить не хотят, дисциплина — хуже некуда. Сокращение срока воинской службы, на которое правительство пошло, чтобы получить голоса пацифистов и выиграть выборы, армия рассматривает как национальное предательство. Компартия откровенно ведет пропаганду среди солдат. Препятствовать этому невозможно, ибо нельзя ущемлять свободу политических убеждений. Левая пресса раздувает каждый такой случай. Короче, идет настоящая травля старых армейских кадров. Некоторые офицеры говорят: “Чем хуже, тем лучше. Пусть приходят русские. Может, лишь тогда Франция поймет, до чего она докатилась”. Правда, ракетные части, авиация и подводный флот в более привилегированном положении. Но армия уверена, что надеяться только на ядерное оружие — смешно. На атомную войну никто не решится.

Далее я сказал, что, возможно, мой ночной собеседник несколько сгустил краски, однако в принципе все это подтверждает наш анализ.

— А что не подтверждает? — спросил Белобородов, и я почувствовал, что он давно догадался, что его вызвали не для приятной беседы.

Тогда я усилил темп:

— Этому парню можно верить?

— В каком смысле?

— В прямом. Он честен в денежных делах?

— Безусловно. Идеальный французский товарищ.

— Мы ему сколько даем?

— На дело и на представительство? По 50 тысяч франков в месяц.

— Может, кто-то решил подэкономить и давать только 40 тысяч?

— Не думаю. Вряд ли. Меня бы предупредили.

Я вытащил из стола копии расписок, взятые мною из архива, и придвинул их к Белобородову.

— Вот смотри. Он давал расписки, как обычно, на пятьдесят тысяч, но последние полгода ему отсчитывали лишь по сорок. И объясняли это новой системой отчетности.

— Сволочи. Негодяи, — сказал Белобородов и, подумав, добавил: — И мудаки. Захотели француза объегорить на франках!

— Кто? — спросил я.

— Ну, это мои заботы, — ответил Белобородов. — Успокойся, я с них шкуру спущу.

— В понедельник же первым самолетом — в Москву! И судить их офицерским судом чести. Метлой из Органов и из партии!

— Тогда и меня вместе с ними как непосредственного началь-

ника и докладную записку в ЦК — мол, воры и жулики в Комитете госбезопасности. Ты этого добиваешься?

— Мы не можем терпеть... — взревел я, но Белобородов меня перебил:

— А мы можем придушить человека в подъезде? Вот лично мы с тобой? Нет? Кишка тонка? А эти двое, что на связи с французским товарищем, могут. Конечно, хапануть шестьдесят тысяч за полгода — зарвались ребята, я с них взыщу, я их накажу. Но, Борис Борисыч, в посольстве все воруют. Химичат на представительских, на квитанциях, на счетах. А как по-другому? Валюты у людей с гулькин нос, а кругом столько соблазнов! Нервы не выдерживают, каждый тащит потихонечку. Не знал? Ну, ты у нас “шахматист“, в теориях витаешь. Так знай. Жизнь, особенно наша, грубая штука. Сейчас мне вот эти двое — прямо скажем, с несколько дефицитной специальностью — позарез будут нужны. Согласен, Москва может прислать им замену. Такими кадрами Москва обеспечит. Но просто придушить человека в подъезде недостаточно. Надо знать, в каком подъезде. А эти двое приспособились к местным условиям, сообразят...

— Давай перекурим, — предложил я.

— Давай, — охотно согласился Белобородов.

Мы дружно задымили, и, маскируясь этой дымкой, в комнату спланировал голубь мира. “Не бери все на себя!“ — предупредил меня Илья Петрович. Теоретически я все мог. Даже отправить в Москву Белобородова. Но с кем я тогда останусь? Просто так избавиться от этих двух гавриков, прикарманивших шестьдесят тысяч, не имеет смысла. На их место сядут другие, которые будут воровать еще более неуклюже. Имело смысл устроить показательную чистку. Однако я понял намек Белобородова. У всех рыльце в пушку. Если назначить комиссию, то потянется ниточка. В ЦК обязательно пронюхают. Комитету все простят и на все закроют глаза, кроме одной вещи — валютных хищений. Тут полетят головы. Короче, придется сменить всю команду Белобородова и отложить нашу акцию на несколько лет. То есть этим самым расплываться в полном провале. И мне тогда нечего делать в Париже, и в Комитет обратной дороги не будет. Начну преподавать на вечерних курсах Института марксизма-ленинизма. Перспектива ослепительная.

— А деньги французскому товарищу мы вернем, — словно прочтя мои мысли, сказал Белобородов, — объясним ему, что улучшили систему отчетности. На французской армии нельзя экономить. Кстати, вот тебе подарок. Утром купил в киоске.

И Белобородов положил на стол свежий номер журнала “Куполь“ с крупным заголовком на обложке:

“Американский секретный план оккупации Франции“.

Готовя еще в Москве эту докладную записку от имени начальника штаба американских вооруженных сил в Европе, мы надеялись нащупать болевую точку, но, откровенно говоря, не думали, что попадем так удачно. Публикация в "Куполе" вызвала во Франции чудовищный скандал, эхо которого прокатилось по всей западной и американской прессе. Причем американская (провинциальная) пресса нашла идею своего генерала вполне своевременной и здоровой, что вызвало ответные комментарии французских газет и подлило масла в огонь. Пламенный привет независимым руководителям "Канзас трибюн", "Филадельфия инкуаэр" и прочая!

Разумеется, сначала американское посольство в Париже, а потом и Министерство обороны США выступило с официальным опровержением, назвав эту докладную записку "грубой фальшивкой, сфабрикованной КГБ". "Однако, — как философски заметил международный обозреватель газеты "Монд", — такая утечка информации всегда опровергается, и, конечно, КГБ и ЦРУ запускают ложные слухи, чтобы повлиять на общественное мнение, на то и существует война разведок, мы не можем принять этот документ на все сто процентов, но дыма без огня не бывает".

Ну как откликнулись "Юманите" и другие коммунистические газеты европейских стран, я описывать не стану. Это и ежу понятно.

Но вот правая "Фигаро", хотя и высказала мнение, что это провокация КГБ, тем не менее набросилась на правительство с яростной критикой — дескать, до чего довели французскую армию, если американцы уже не верят в ее боеспособность!

"Либерасьон" и "Канар аншенз" упражнялись в остроумии по поводу грядущей высадки союзников в Нормандии. Намек на то, что англичанам надоели торговые тарифные барьеры во Франции и они воспользуются случаем.

Переплюнула всех парижская "Матен". В передовой статье газета заявила, что план внезапной оккупации Франции с целью спасения ее от коммунизма не мог просто так возникнуть в голове американского генерала, тем более начальника штаба. "Американцы, — писала "Матен", — не авантюристы, значит, были предварительные переговоры с французскими военными, и французское командование дало на это добро".

Статья в "Матене", которая и раньше публиковала конфиденциальные материалы о французской армии, произвела сенсацию. Министр обороны Франции обвинил газету в клевете. Командующий сухопутными силами подал в отставку. Президент республики этой отставки не принял. Но тема "заговора генералов", типа того, который имел место во время войны в Алжире, — эта тема

еще долго дебатировалась на страницах газет, по радио и телевидению.

Ко мне пришла счастливая идея, выражаясь шахматным языком, — усилить комбинацию. Я посоветовался с Белобородовым. Он меня поддержал с восторгом и заявил, что на такие штучки его ребята большие мастера.

Мсье Гийому, главному редактору журнала “Куполь”, начали звонить ночью на квартиру незнакомые голоса и предупреждать, что если он еще раз опубликует большевистско-пропагандистские материалы, бросающие тень на Соединенные Штаты, то ему не сдобровать. Мсье Гийом дал интервью по радио “Франс-интер” и заявил, что не боится угроз ЦРУ. Вечером того же дня двое неизвестных внезапно затолкнули мсье Гийома в темный подъезд, зажали рот и изрядно побили. Убегая, крикнули ему по-английски: “Так тебе, собака, и надо!” Мсье Гийома отвезли в госпиталь на обследование.

Тут уж вся пресса озверела: “Кто хозяин в Париже, французская полиция или ЦРУ?“, “Куда смотрит ДСТ?“ — вот типичные заголовки газет.

Мсье Гийом стал на неделю национальным героем и подал жалобу против X, дающую повод юстиции вести расследование.

Американского посла вызвали в Елисейский дворец. О подробностях его беседы с Президентом официально сообщено не было.

Кажется, с этого времени наш посол начал проявлять ко мне предельное внимание и любезность.

Итак, Франция скушала две наши пилюли:

1) В дестабилизации страны заинтересовано ЦРУ.

2) Американцы вынашивают тайные планы захвата Франции.

В Москве были очень довольны и требовали развития успех. Но я настоял на своем плане. Надо было дать французам время переварить эти пилюли, с тем чтобы подкиннутые нами идеи вошли в плоть и кровь общественного мнения и вызвали изменения во французской политике, а любое изменение политического курса в один день не происходит. Форсировать события было рискованно. И если (по моим сведениям) французская контрразведка еще была занята выяснением отношений с правительством, то ЦРУ явно заинтересовалось этим взрывом антиамериканской активности. Я мог пудрить мозги кому угодно, но не американцам. Они-то знали, кто это все срежиссировал. Однако знать мало, нужны были доказательства. Наверно, нам уже расставили ловушки, чтобы схватить за руку. Попадись мы — все бы полетело на смарку. Поэтому я свернул до минимума нашу деятельность

вне стен посольства. Нужно было выждать. Теперь время работало на нас.

Зима прошла тускло. Мы готовились и изучали обстановку.

Я буквально влюбился во французских коммунистов. Наблюдая по телевидению диспуты, которые вели члены Политбюро ФКП с лидерами правых партий или с журналистами, я всякий раз поражался их умению спокойно и убедительно врать. Причем это не была наша советская система полемики — уходить от острых вопросов и категорически отрицать очевидное. Такая манера дискуссий на Западе не проходит. Нет, лидеры французских коммунистов могли ответить на любой каверзный вопрос, поворачивая его выгодной для себя стороной, постоянно педалируя на проблемах, волнующих массы — безработице, кризисе, инфляции, — и не упускали случая тут же перейти в наступление при малейшей оплошности противника. Перехватить инициативу, заставить оппонентов оправдываться — вот каков был их стиль. Например, мэр-коммунист такого-то городка пойман с поличным: запустил лапу в муниципальную казну. Факты налицо, возбуждено судебное дело. Всю эту историю напоминают секретарю компартии во время очередного теледиспута.

Как выкрутиться из щекотливой ситуации?

Ответ: во-первых, это провокация правых сил. Во-вторых, если мэр и брал деньги, то только на помощь бедным рабочим-эмигрантам, которые не умеют правильно составлять заявления на пособия, отсюда и путаница в документации, и за эту неразбериху в бумагах мэрия должна ответить — закон одинаков для всех. Но красная мэрия руководствовалась благими пожеланиями облегчить участь людей, которых нещадно эксплуатирует капитал, и так далее, и так далее. А вот мэр другого городка, из правой партии, продолжает коммунист, не только не заботился о трудящихся, но и спекулировал земельными участками, и любопытно знать, что представитель этой партии, сидящий напротив меня, думает по этому поводу?

Представитель правой партии отвечает, что, во-первых, еще ничего не доказано, во-вторых, о трудящихся заботились, в-третьих, положение с земельными участками запутанное, и он сам, как депутат парламента, вносил поправку на сессии в таком-то году. Представитель правой партии хочет быть точным и объективным. Он выкладывает массу подробностей по делу, а также свои соображения “за” и “против”. Все давно забыли про красного мэра-ворюгу, внимание телезрителей сосредоточено на правой мэрии, где, кажется, не все чисто. Секретарь компартии ведет в счете.

Повторяю, я привел самый элементарный пример. Француз-

ские коммунисты умудрялись выкручиваться из более трудных ситуаций. На их месте наши "портреты" опозорились бы неизменно. Ведь они не привыкли к перекрестным неожиданным вопросам и предпочитают отвечать по бумажке или при активной подсказке своих референтов. Так что преимущество лидеров французских коммунистов перед советскими вождями объяснялось тем, что они выросли в обществе свободной конкуренции. Кроме того, волей-неволей они вынуждены были быть в курсе новейшей политической, экономической и социальной мысли, которая в Советском Союзе, за исключением отдельных специалистов, игнорировалась. Из всех западных идей наше руководство прекрасно усвоило одну, высказанную, кстати, французским императором Наполеоном Бонапартом: "Большие батальоны всегда правы". Но этого было достаточно.

Генсек Французской компартии вызывал у меня двойственное чувство. По своему интеллекту и как теоретик он был чуть выше наших "портретов". Однако как вождь, как трибун, как темпераментный боец он на голову превосходил даже своих коллег. И полемист он был бесподобный. С таким лучше избегать дискуссий.

Не эти его качества меня тревожили. Генсек намечался в Президенты Французской Советской Социалистической Республики. Он будет иметь полноту власти в стране. То, что он справится с внутренними проблемами, я был уверен. Но что будет дальше? Меньше всего мы желали, чтоб Франция стала второй Югославией, со вторым маршалом Тито во главе. Тогда уж предпочтительнее оставить все как есть. А Генсек ФКП был сильной личностью и, чтоб там про него ни говорили, *французом* во всех смыслах этого слова.

Правда, он знал, что у нас на него досье с разными пикантными подробностями. Раньше, когда он пытался ерепениться, мы кое-что пускали в западную прессу. Например, копию контракта, подписанного Генсеком на заводе "Мессершмитт" в 1942 году. Хоть и грехи молодости, но вспоминать неприятно. Компартия в то время уже участвовала в Сопротивлении.

Увы, опыт нас научил, что человек, придя к власти, меняется. И главное, становится менее уязвимым. Уж какие компрометирующие документы мы имели на Мао Дзэдуна (расстрел китайских коммунистов, пытки в тюрьмах), но чему это помешало?

Идеальным вариантом было бы заменить Генсека на его посту каким-нибудь молодым революционером-автономистом, люто ненавидящим Францию. Однако это пока не представлялось возможным даже в теории.

Я хочу, чтоб меня поняли правильно. Генсек ФКП был очень значительной фигурой на политической карте, общался по определенным каналам непосредственно с Секретариатом ЦК КПСС и,



наверное, не подозревал о моем существовании. Но Секретариат в своих решениях принимал во внимание информацию и рекомендации, которые я поставлял из Парижа. Мне же докладывали чуть ли не каждое слово Генсека (эта служба у нас давно была налажена), и вот что-то меня смущало.

Однажды во время инструктажа в посольстве (обычно я давал предварительные указания, а сам сидел в сторонке — инструктаж проводил Белобородов) кто-то из молодых оперативников спросил:

— Если компартия работает на нас, если на нас работает левая пресса, если правая пресса тоже невольно работает на нас, если на нас работают французские капиталисты, интеллектуалы, часть чиновничества и даже часть офицерского состава, то кто же на нас не работает?

— На нас не работает, — ответил Белобородов, — обыкновенный рядовой француз, потому что он, мерзавец, работает только на самого себя.

## 8

Весной со мной случилась глупая история. Ранним вечером, когда было еще светло, мы сидели с Лидой за столиком уличного кафе. Вдруг какой-то мордастый тип, то ли пьяный, то ли накачавшись наркотиками (весь он был не в себе, словно в полусне), пошел прямо на столик, споткнулся, опрокинул рукой мой кофе и сел чуть ли не Лиде на колени. Встал, покачиваясь, и, вместо того чтобы извиниться, начал орать, будто я ему подставил ногу. В Москве я бы знал, как реагировать. Если бы тип был изрядно пьян, я бы врезал ему по роже. Если бы тип достаточно твердо держался бы на ногах и сам провоцировал драку, я бы вытащил пистолет. Но в Париже я не носил с собой оружия. И затевать потасовку не имел никакого права. Официант застрял в глубине кафе у стойки, а тип, словно почувствовав мою беспомощность, обнаглел окончательно. Я пережил несколько секунд жуткого унижения. Перед моим носом размахивали грязным кулачищем, а я должен был лепетать: “Пардон, мсье, мы не хотели вам сделать ничего плохого“. А что мне еще оставалось в данной ситуации? Позорно сбежать, оставив свою даму?

Спасибо Лиде, выручила. Раздался звук звонкой пощечины. Тип обомлел и сразу присмирел. Как из-под земли вынырнул официант, потом двое полицейских. Нас всех троих в “салатнице“ отвезли в полицейский участок.

Я показал свой дипломатический паспорт. Полицейские были

крайне любезны. Типу нацепили наручники и куда-то увели. Составили протокол. Я подписался. Полицейские сказали, что я могу подать жалобу. Я ответил, что от жалобы воздержусь, ибо верю во французскую полицию. Полицейские заверили, что протокола достаточно, этот тип им надоел, известный наркоман, и бока ему намнут в любом случае. Вызвали мне такси. Прощаясь, взяли под козырек.

Все бывает, особенно в Париже. Можно было бы все это забыть, отмахнуться, плюнуть и растереть.

Однако я счел своим долгом поставить в известность Белобородова.

— Очень мне это не нравится, — сказал Белобородов. — Ты не завсегдай кафе и Лиду вниманием не балуешь. Но стоило тебе появиться в общественном месте, как...

— Ты думаешь? — спросил я, улавливая мысль Белобородова.

— Не думаю, но предполагаю. Кто тебя допрашивал?

— Обыкновенные полицейские. Вежливые ребята.

— Слишком вежливые и предупредительные.

— Тогда зачем они это затеяли?

— Зачем? Обыкновенная операция опознания. Записать твой голос, чтобы потом сличить, скажем, с пленкой перехваченного телефонного разговора, сфотографировать, получить образец твоей подписи.

— Меня не фотографировали!

— Борис Борисович, — Белобородов поморщился. — Если это было ДСТ, то твои фотографии уже сушатся в лаборатории.

— Я вел себя неправильно?

— Абсолютно правильно. И Лидка молодец. Бой-баба! Ты с ней спишь?

За что я себя ненавижу, так за то, что в таких ситуациях краснею.

— Нет, — отрезал я, — я не злоупотребляю служебным положением.

— Злоупотреби, Борис Борисович, — мягко, но настойчиво сказал Белобородов. — Считай это как нашу нижайшую просьбу. Если ДСТ вышло на тебя, то они будут эксплуатировать вашу связь. И для нас это единственная возможность выяснить, что они знают.

Я “злоупотребил” раз, другой и втянулся. Даже увлекся, а там было чем увлечься.

Однажды ночью я проснулся от света ночника. Лида сидела на постели и курила.

— Чего не спишь? — проворчал я, но Лида проворно прикрыла мне рот ладонью.

— В квартире кто-то есть, — прошептала она.

Я прислушался. Было тихо, как в могиле.

— Нет, — сказал я.

— Да, — сказала она.

Тут, словно в подтверждение ее слов, из кухни донесся грохот опрокинутого стула.

Что делать? Кричать? Поднять тревогу? Звонить в полицию? Но телефон в другой комнате. Если это воры, то они действуют слишком нагло.

Я поспешно натянул брюки, рубашку. Обулся. Из кухни опять раздался звук — там вроде доставали стаканы. Кто-то подчеркнул фиксировал свое присутствие.

Я накинул пиджак, причесался и выскользнул в другую комнату. На кухне горел свет, звякнула дверца холодильника.

Стараясь ступать бесшумно, я направился к кухне. Человек, сидевший спиной ко мне, со стаканом разбавленного льдом виски в руке, не оборачиваясь, произнес по-французски:

— Мсье Зотов, прошу прощения за вынужденное беспокойство, причиненное вам. Инспектор Мишель Жиро из ДСТ.

Во Французскую компартию может вступить каждый дурак. Достаточно заполнить формуляр на празднике “Юманите” — и получишь членскую карточку. Многие молодые люди, возбужденные головокружительными аттракционами в парке Курнев и тремя кружками пива, совершают этот последний “пируэт” и становятся коммунистами. “Юманите” публикует радужную статистику. Года через два, роясь в старых бумагах, молодой человек наталкивается на членскую карточку, долго не может вспомнить, как она у него оказалась, чертыхается и выбрасывает ее в мусорный мешок.

У Мишеля произошло все наоборот. Он очень хотел вступить в компартию, но не получилось. Мишель вырос в семье нотариуса. Дом в Туре, вилла в Ля Боле, яхта, две машины. Каждое воскресенье, после мессы, торжественный обед, на который приглашались врач, аптекарь и адвокат. Одни и те же разговоры о процентных бумагах, закладных и купле-продаже земельных участков. Ликер на десерт. Постепенно в душе мальчика нарастало чувство классовой ненависти. Он учился в частной католической школе со строгими и придирчивыми наставниками. А сверстники Мишеля из общегородского лицея хвастались, что на переменках курят марихуану. Мишель жаждал свободы.

Приехав в Париж и поступив в университет “Дофин” на факультет права, Мишель отпустил длинные волосы, познал свобод-

ную любовь и принял участие в студенческих демонстрациях. Было очень забавно кричать полицейским “сволочи”, “коровы” и кидать в них камни. Однако Мишелю не повезло. Его поймали и избивали дубинками.

Мишель понял, что Франция прогнила. Надо было бы свергнуть гнет буржуазии, а еще лучше — уехать в Латинскую Америку и там, как Че Гевара, поднять вооруженное восстание.

Первый курс Мишель завалил, ибо вместо учебников читал Маркса, Троцкого и Ленина.

Отец был в бешенстве и пригрозил, что перестанет высылать деньги.

“Хорошо, — решил Мишель, — пусть отец подавится своими акциями и драгоценностями в сейфах — я вступлю в компартию!”

Был на факультете студент, который сидел на втором курсе уже пять лет, заводила всех бунтов и демонстраций. Говорили, что он связан с компартией. Мишель отправился к нему за советом, и студент обещал свести его с нужными людьми.

После нескольких бесед с нужными людьми Мишель засел за учебники и осенью сдал экзамены за первый курс. И вообще скоро стал примерным студентом. Отец на радостях купил Мишелю спортивную машину “рено-альпин”. Больше в политических демонстрациях Мишель не участвовал. Книги классиков марксизма Мишель снес к букинистам. А беседы с нужными людьми периодически продолжались. Мишель жил, окрыленный доверием. Через год ему устроили тайную встречу с товарищем Фрашоном, тогда еще только членом ЦК ФКП. Товарищ Фрашон говорил со студентом Мишелем Жиро просто, дружески, как с равным. Он похвалил Мишеля и предсказал ему большое будущее. Мишель и впрямь чувствовал себя значительной фигурой. Он знал, что одна из его информаций о структуре ультраправой студенческой организации обсуждалась на заседании Политбюро на площади Колонеля Фабиана.

После университета Мишель отказался сидеть в конторе отца и поступил в полицию. А потом ему открылись и двери ДСТ. Даже при правлении социалиста Миттерана коммунистов в контрразведку не подпускали на пушечный выстрел. Но какие могли быть претензии к уважаемому, исполнительному сыну уважаемого турецкого нотариуса?

Нужные люди помогли Мишелю Жиро раскрыть ячейку левых террористов. Карьера инспектора ДСТ пошла в гору.

А дальше получился какой-то сбой. То ли Мишель Жиро чего-то испугался, то ли прикипел к своему креслу, то ли разочаровался в идеалах юности, то ли вспомнил о папином наследстве, но, короче говоря, он стал избегать встреч с нужными людьми.

И вот сейчас, слушая Мишеля Жиро, я пытаюсь разгадать, что же с ним происходит.

Вроде бы Мишель был в явном смятении. Ну да, Клод Бернан, так называемый чиновник из канцелярии премьер-министра — это особая контрразведка в контрразведке, — ведет самостоятельную параллельную анкету. Очень много знает. Еще о большем догадывается.

— Повторяю, — сказал Мишель Жиро, — Клод Бернан дышит вам в затылок. Я вам советую немедленно возвращаться в Москву.

Звучало очень мило и трогательно. Вовремя дать такую информацию — уже за это можно было мсье Жиро все простить.

А если?

А если он просто спасает свою шкуру, резонно предполагая, что, распутав мой клубок, Клод Бернан выйдет и на инспектора Жиро?

А если они уже его нащупали, и он покорно исполняет замысел Бернана и хочет тихо и безболезненно, но согласно инструкциям ДСТ, вывести меня из игры?

А если он просто все придумал и желает лишь развязаться с нами, “спрыгнуть с поезда“?

— Вы сделали отчаянный шаг, — еказал я. — Прийти ночью на известную ДСТ квартиру, когда в ней кто-то есть... Зачем такой риск?

— Вы недооцениваете французскую полицию, — усмехнулся Жиро. — Если бы я не хотел вас будить, вы бы спали, как сурки, — хоть танцуй в гостиной рок-н-ролл! Вы бы проснулись лишь утром, с легкой головной болью. И потом у меня задание. Вы ляжете спать, и я поменяю лампу в прихожей. Увы, отныне Клод Бернан будет в курсе всех интимных глупостей, которые вы говорите своей даме даже в постели. Но вы должны вести себя так, будто ни о чем не подозреваете.

Вот это уже было похоже на правду!

— Ошибаетесь, — сказал я, — я высокого мнения о французской разведке. Поэтому считаю, что при всех возможных политических изменениях французской службой безопасности будет руководить французский профессиональный полицейский. Естественно тот, которому мы доверяем. Как вы догадываетесь, я не собираюсь сматывать удочки в Москву.

Он оказался очень умным, этот паренек. Недаром товарищ Фрашон поверил в него и на него поставил. Не задавая никаких промежуточных вопросов, вернее, прокрутив их в своей голове и сам дав на них ответ (и все это за десять секунд, пока он добавлял в стакан виски), Мишель Жиро задумчиво произнес:

— О'кей! Но Клод Бернан взятку не берет.

— Знаю, — сказал я, — однако что значит “не берет“? Десять тысяч не берет, сто тысяч не берет, но миллион он возьмет?

Взглянув на ошарашенное лицо моего собеседника, я понял, что партия мною выиграна.

Взяв за правило не вмешиваться в дела Белобородова, я ничего не сказал, не удивился, увидев, что на такое ответственное закрытое совещание Белобородов привел Миловидова, человека неопределенных лет, скорее молодого, служившего в посольстве по культуре и, насколько я знал, на самых низших должностях: то ли киноленты для посольских просмотров заказывал, то ли цветы дарил приглашенным к нам артистам и писателям. Ну хорошо, привели товарища — так сиди и помалкивай в тряпочку, однако у Миловидова было нечто вроде недержания смеха — он смеялся буквально после каждой фразы, будто мы тут анекдоты рассказывали. Я заметил, что этот громкий глупый смех неприятен не только мне — генерал-лейтенант, военный атташе, тоже поеживался.

Между тем мы говорили о вещах достаточно серьезных: решалась проблема Клода Бернана. Мы извлекли все данные нашей картотеки. Клод Бернан, сказал генерал-лейтенант, это еще и военная разведка, это серый кардинал при премьер-министре. (“Ха-ха-ха!“ — загоготал Миловидов.) Клод Бернан, сказал Белобородов, обычно свою анкету ведет в одиночку, никому не доверяет, даже записей не делает, все держит в голове. Очень мобилен. Сейчас в Париже. Через два часа может оказаться в Ницце. Рыщет по Франции, как серый волк (клинический приступ хохота у Миловидова). Я сказал, что главное даже не это — по моим предположениям, как я понимаю Клода Бернана, он из редкой породы фанатиков и не возьмет ни миллион франков, ни даже миллион долларов. (“Миллион долларов!“ — повторил Миловидов и радостно заржал.)

— Борис Борисыч! — притворно возмущился Белобородов. — Ты выступаешь с антиамериканских позиций! Твои слова противоречат классической теории о буржуазном обществе, где все продается и все покупается. За миллион долларов всех нас можно купить — кроме тебя, разумеется.

Тут все тихонько захихикали, а Миловидов чуть не упал со стула.

— Вы помните анекдот про слона? — сказал до этого молчавший советник, в ведении которого были все финансы посольства. — Нет? На клетке слона в зоопарке вывешен ежедневный слоновий рацион питания: десять килограммов свеклы, двадцать — моркови, сорок — отрубей, пятнадцать — яблок, пять — бананов и так далее. И вот посетители зоопарка спрашивают у сторожа:

“Неужели слон все это съест?” “Он-то съест, — отвечает сторож, — да кто ему даст?”

(Миловидов захохотался от смеха, а я подумал, что ему все-таки надо лечиться.)

— Я убежден, — продолжал советник по финансам, — что даже если бы речь шла о даче взятки Президенту Французской республики, ЦК никогда бы не утвердил подобной суммы.

— Но на карту поставлена судьба всей операции! — сказал я. — Мы обязаны рискнуть. Или Франция не стоит миллиона долларов?

— Даже миллиона франков, — ответил советник по финансам. — В ЦК страх перед шестизначными цифрами. Бесполезно даже пытаться.

— Что же делать? — спросил я.

— А вот для этого у нас главный Борис Борисыч, — сказал Белобородов как бы в пространство. — Тебя для этого прислали. Ты и решай.

Тут лица у всех вытянулись, лишь Миловидов блаженно ухмылялся.

“Не бери все на себя” — вспомнил я совет Ильи Петровича. Совет хорош, но сейчас тот самый случай, когда от ответственности не отвертишься. Да и не надо вертеться. В конце концов ты комиссар республики с правом расстрела на месте. И пора показать товарищам, что ты прибыл не в игрушки играть.

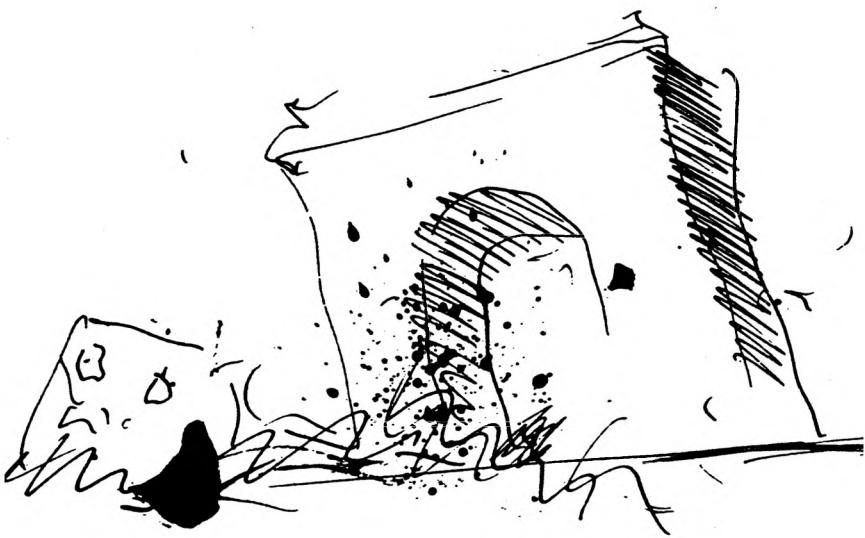
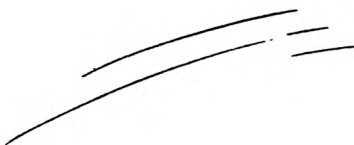
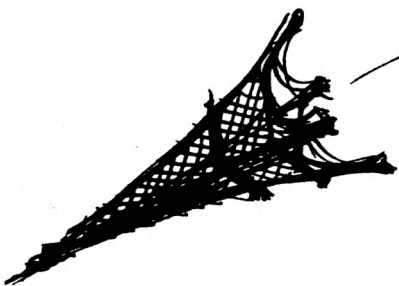
— О'кей, — вздохнул я, — выхода нет. Клод Бернан должен быть ликвидирован. Мне бы подошла версия самоубийства или дорожной катастрофы. Впрочем, детали — это не моя забота.

— Верно, — подхватил Белобородов, — это забота начальника специальной оперативной службы. Что скажешь, товарищ Миловидов?

— Послезавтра Клод Бернан встречается с нашим осведомителем, двойным агентом, на 148-м километре одной из альпийских горных дорог. Он уверен, что его будут прикрывать, но прикрытия не будет. Мы постараемся отработать версию самоубийства, хотя заранее предупреждаю — за правдоподобность этой версии не ручаюсь.

Говоря все это, Миловидов смотрел на меня, и лицо его было совсем иным — холодным, отчужденным, и от его взгляда мне стало как-то не по себе.

Через три дня вся французская пресса заговорила о тайне полковника французской контрразведки Клода Бернана. Тело полковника было найдено на обочине горной дороги, рядом с его автомашиной. Пистолет Клода Бернана лежал рядом. Клод Бернан







был убит двумя выстрелами в упор. В обойме пистолета не хватало двух патронов.

Сначала возникла версия о самоубийстве. Газета "Матэн" (а точнее, тот самый журналист газеты, на которого я давно обратил внимание), так вот, "Матэн" сообщила, что у Клода Бернана были трения с высшим начальством, и в ДСТ полковника недолюбливали. Однако экспертиза отвергла вариант самоубийства. Журнал "Куполь" выдвинул другую гипотезу: убийство из ревности. Журнал рассказал о связи полковника с любовницей арабского шейха. Но мнение большинства газет сошлось на том, что это война разведок и Клод Бернан был убит агентом из соцстраны.

Шум не утихал примерно месяц. Министр иностранных дел Франции отменил заранее запланированную встречу с нашим послом.

Из Москвы дали понять, что я сработал грубо.

В первый раз я увидел, как Белобородов занервничал.

— Теперь контрразведка нам объявила войну *sans merci\**, — повторил он. — Нас будут высылать, они готовят список, как в 1982 году. То, что я кандидат на высылку, — это точно. А у меня все оперативные нити в руках.

— Подожди, — успокаивал я его. — Французы — законники. Чтобы Президент республики подписал такой декрет, ему надо представить вещественные доказательства. Согласен, ДСТ их соберет, но на это уйдет еще несколько месяцев. А за это время мы обязаны что-то придумать. И мы придумаем. Я тебе обещаю.

Однажды он меня спросил:

— Я могу подстраховаться? Убрать наши слабые места?

— Разумеется, — ответил я, — поступай, как считаешь нужным.

Потом я вспомнил этот разговор. Что-то тут было ненормально. Почему Белобородов просил у меня разрешения? Я же не вмешиваюсь в его оперативные игры. И я подумал, что Белобородов просто поддался панике. Что ж, все бывает, мы, чекисты, тоже люди, и нервы у нас иногда сдают.

## 9

Надо было перевернуть ситуацию. Но как? Я буквально не спал ночей. Кое-что мы, конечно, делали. Например, журнал "Куполь" опубликовал несколько сенсационных фотографий. Одна и та же сцена в разных ракурсах. Американский сержант в полной

---

\* Без пощады (фр.).

форме “дерет” (пардон) на тротуаре французенку, подстелив под нее трехцветный французский флаг. “Куполь” писал, что эта сцена была сфотографирована ночью, недалеко от Триумфальной арки, и американец в поисках подстилки сорвал флаг с флагштока на Елисейских полях. В Москве эти фотографии понравились, но на французов они должного впечатления не произвели. Увы, эту нацию не удивишь странностями любви. К тому же “Фигаро” перепечатала крупный план одной из фотографий — плечи сержанта — и обратила внимание, что сержантские нашивки пришиты не там. Публикация в “Фигаро” называлась “История одной фальшивки”.

Я наорал на Белобородова. Тот выскочил из моего кабинета, как нашкодивший мальчишка. В принципе я был прав, люди Белобородова схалтурили, он обязан был проследить каждую мелочь, однако я не должен был срываться. Острее дашь, острее получишь...

И с Лидой пошло наперекосяк. По поводу этих же фотографий она мне вдруг заявила, что я пользуюсь пошлыми приемами. Я еле успел зажать ей рот, ибо дело происходило в ее квартире. Мы писали гневные записки друг другу в течение всего вечера, и я ушел, хлопнув дверью. Впрочем, одну фразу она сказала вслух:

— И такого дурака я люблю!

Белобородову я заявил, что больше на этой квартире не ночую, хватит развлекать французскую контрразведку. И потом, это становится опасно. Неосторожное слово может навести ДСТ на размышления.

Белобородов не настаивал, вообще он как-то затих. Видимо, понял, что только я могу спасти положение.

Как?

По многу раз я анализировал события минувшего года. Мы действовали по плану. Мы избегали явных ошибок. Мы последовательно вели свою игру и “подкармливали” ДСТ, толкая французов в ином направлении. Случай смешал все карты, случай — это инициатива Клода Бернана. Мы вынуждены были его убрать и тем самым бросили вызов контрразведке. В том, что теперь все ДСТ, мобилизовав все отделы, работает против нас, — у меня не было сомнений. Убийство крупного офицера разведки на территории своей страны не прощается. Нам готовили сокрушительный ответ, и счет уже идет не по дням, а по часам. Преимущество у ДСТ, мы под колпаком. Единственный наш шанс — опередить ДСТ, смешать все карты, на этот раз своими руками. Но у нас связаны руки. Там, где мы можем высунуться, нас ждут.

Значит, надо высунуться там, где нас не ждут. Совершить то, чего не может себе представить даже буйная фантазия французского контрразведчика.

Признаться, у меня давно был в запасе ход. Но я боялся о нем всерьез думать. Это была страшная авантюра. С плохо предсказуемыми последствиями. Но только этот авантюрный вариант мог нас спасти. Только благодаря хаосу, вызванному им, могла родиться Французская Советская Социалистическая республика.

Шансов на успех — пятьдесят на пятьдесят. В случае малейшей осечки с меня снимут голову. О согласовании с Москвой не могло быть и речи. В Москве сразу сочтут меня сумасшедшим — не за саму идею (идею шепотом могли бы и принять), а за попытку согласовать идею. Это тот редкий случай, когда Москва категорически ничего не хочет знать.

А если не рисковать? Плыть по течению?

Меня вышлют вместе со всем посольским аппаратом КГБ. В Москве получу орден и спокойно дотяну ляжку до пенсии. Официальных упреков ко мне не будет. Что делать, товарищи, так сложились обстоятельства. И лишь Илья Петрович скажет: “Говенный ты шахматист”.

Я попросил Белобородова прислать ко мне Миловидова. Намерен, мол, поговорить с ним с глаза на глаз.

Белобородов обиженно закусил губу, и я добавил:

— Я не хочу тебя втягивать, понимаешь? Чем меньше людей будет в курсе, тем меньше полетит голов. Я беру все на себя.

Кажется, Белобородов понял и оценил.

Миловидов вкатился в кабинет почтительно, бочком, с лучезарной улыбкой на своей пакостной роже. На каждую мою фразу следовало: “хи-хи” и “ха-ха”.

— Мне нужно, — говорил я, — три человека. Максимум четыре, включая вас. Кроме того, никто ни о чем не должен догадываться. Никаких контактов с площадью Колонеля Фабиана. Никакого предварительного сбора информации. Мы и так знаем досконально, лишние вопросы могут насторожить. И ребят отберете своих, из вашей оперативной группы. На этот раз мы действуем сами, а не руками французских или палестинских террористов. Другое дело, что необходимо позаботиться о легенде. Предпочтительен вариант немецких нацистов или израильской разведки “Мосад”. После проведения операции ребят сразу отошлем в Москву. Объясните им, что орденов я не гарантирую, но гарантирую дачи, машины и привольную жизнь. Будут кататься как сыр в масле до конца своих дней, поливать цветы в своем саду и собирать в огороде клубнику.

Клубника особенно развеселила Миловидова. И лишь насмеявшись вдоволь, он спросил:

— А какой объект?

Я назвал. Он закрыл глаза, помолчал, и потом передо мной предстал другой человек, с которым бы я шутить не решился.

— Возможно, я ослышался, — медленно чеканя слова, произнес Миловидов, — поэтому я прошу вас, Борис Борисович, повторить то, что вы мне только что сказали.

Я повторил.

В апреле 1983 года Миттеран выслал из Франции 47 советских дипломатов. В посольстве были уверены, что сейчас вышлют больше. Атмосфера была гнетущей. Почему-то в коридорах говорили приглушенными голосами. Я знал, что мидовцы — и особенно их жены — очень недовольны нами. Еще бы, дипломат, однажды высланный из страны, обречен всю жизнь сидеть в Москве. А работать в министерстве без материально стимулирующих выездов за границу — тоска зеленая. На кого падет выбор французов — оставалось только гадать. Конечно, в основном они ударят по кадрам Комитета, но достанется для острастки и мидовцам. Тут французы были по-своему логичны: раз дипломатические должности предоставляются разведчикам, мы не будем разбираться, кто есть кто. Короче, у всех было ощущение, что сидим на бомбе замедленного действия. Когда она взорвется — неизвестно, но явственно слышно тиканье часового механизма.

И вот в этот момент Москва преподносит подарок: к нам на голову сваливается делегация от ЦК КПСС, составленная из работников обкомов и облисполкомов!

Нет, давайте разберемся! Если я в чем-то не прав, то прошу меня поправить. Допустим, ЦК вздумал проверить работу посольства. О'кей, в таком случае нас не спрашивают. Так нет, нам присылают лекционную группу. Надо организовать товарищам выступления в Париже и в провинции — в обществах франко-советской дружбы и в низовых ячейках компартии. Как вы догадываетесь, французы только и мечтают услышать рассказы о том, как данная область перевыполнила план по заготовке сельскохозяйственных продуктов. На подобные мероприятия французов надо трактором затаскивать. Итак, в посольстве все прекрасно понимают, что эти лекции, кроме вреда, ничего не принесут. Да и ЦК лекции нужны лишь для галочки. На самом деле эта поездка задумана как поощрение руководящих областных товарищей, как развлекательная экскурсия, чтоб секретари обкомов отдохнули малость от трудов праведных.

Но, с другой стороны, из Москвы прибыли не лекторы общества "Знание", а члены и кандидаты в члены ЦК КПСС! И соответствующие мероприятия должны быть организованы. Значит, практически работа посольства парализуется, все бро-

сают свои дела, и это, повторяю, в момент, когда мы висим на волоске.

Однако кто отважится на конфликт с высокопоставленными товарищами?

Борис Борисович Зотов громко произносит фразу, которая у всех на языке: “Зачем этих мудаков прислали на нашу голову?”

Всеобщее замешательство, конфуз, скандал. Естественно, товарищам объясняют, что работник посольства имел в виду французов. Посол запирается с делегацией в своих апартаментах. Уж не знаю, какие он там им песни пел. Но уверен, что намекал на сложность международной обстановки. На некоторую несвоевременность присутствия делегации. После того как я все сказал открытым текстом, послу было легче говорить о нюансах. А главное, посол мог спокойно катить бочку на полковника Зотова, который в Париже с особыми полномочиями от Комитета и Секретариата. Дескать, он, посол, здесь сбоку припека, а вот Зотов считает... Догадываюсь, что и, глазом не моргнув, посол добавил в эту бочку несколько увесистых камней от себя лично.

Порученцы развозят притихших членов делегации по большим универсальным магазинам. Одновременно им заказывают билеты в Москву.

Вечером мы с послом выясняем отношения. Посол не скрывает, что подставил меня под удар, но, мол, я сам виноват, и у него не было иного выхода.

Как писал поэт: “а нам плевать, а мы в развалочку...” Если бы посол знал, под какой удар я поставил себя сам! Впрочем, семь бед — один ответ. Хотя посол и мог бы сказать мне спасибо. Ведь делегация была в первую очередь головной болью для него.

Разумеется, благодарности я не дождался. Но нечто вроде сочувствия было высказано под занавес.

— Борис Борисыч, Париж полон слухов. Всюду говорят, что американцы подтягивают свой военный флот к французским берегам. Утверждают, что американцы намерены высадить десант в Тулоне и в Шербурге. Будто они вступили в сговор с командованием французских военно-морских сил.

И, так как я молчал, посол продолжал:

— Я не встречаю в ваши игры, но прошу заметить, что это очень рискованно. Как только слухи попадут в газеты, американцы дадут опровержение. И опять пойдут разговоры о советских агентах влияния, об очередной провокации КГБ. И плюс — это усилит негативную реакцию французских властей. В Елисейском дворце постараются проявить максимальную твердость по отношению к нам. С точки зрения дипломатии, вы сделали ложный ход.

Я молчал. Посол трагически взмахнул руками:

— Господи, за каким чертом я здесь сижу?

Я уже засыпал, когда зазвонил телефон. В трубке глухой голос Белобородова:

— Борис Борисыч, несчастье. Наша посольская машина попала в аварию. Лоб в лоб с грузовиком. Обстоятельства расследуются. Погиб шофер, ну, тот парень, что встречал тебя в аэропорту. И... рядом сидела Лида. Тоже всмятку.

Я подождал. Белобородов тяжело дышал на другом конце провода. Я положил трубку.

Если бы Белобородов хоть заикнулся о кознях французской контрразведки — я бы сорвался. Но у него хватило ума промолчать.

В три часа ночи я решил завязать со всем и улететь в Москву первым самолетом. В четыре часа утра, когда я допил весь свой запас виски, я начал себя уговаривать в вероятности несчастного случая. В конце концов ежегодно на дорогах Франции гибнет около двадцати тысяч человек. И ночью по Парижу все гоняют, как хотят. Авария? Пьяный водитель грузовика? Вполне возможно. Но Лида была нашим “слабым местом“, за ней следило ДСТ, Лида знала о существовании Мишеля Жиро. Какой соблазн, более того, вполне логично подстраховаться, когда на карту поставлено все. Как бы ты поступил на месте Белобородова? Ведь ты сам ему разрешил делать то, что он считает необходимым.

А Лида сказала: “...и такого дурака я люблю“.

Но при чем тут этот парень, порученец, который так и не дожил до своих “Жигулей“? Несчастный случай?

Не помню, когда я проснулся. Теперь все не имело значения. День я провел дома. Я никого не хотел видеть.

Телефон ни разу не пикнул, словно его вырубили.

К вечеру я принял душ, побрился.

С опозданием включил телевизор, чтобы посмотреть последние известия.

По экрану метались демонстранты. Разгневанные лица. Красные флаги, крики: “Фашизм не пройдет!“ Крупный план перевернутой горящей автомашины. Крупный план баррикады. Полицейские пятятся под градом камней. Взволнованный голос диктора: “Только что нам сообщили из госпиталя Кошен. Врачи считают положение безнадежным. Повторяем, Генеральный секретарь компартии Франции был тяжело ранен выстрелами из автоматического оружия предположительно немецкого производства. Машину Генерального секретаря обстреляли на бульваре Порт Руайяль. Телохранитель и шофер убиты на месте. Генераль-

ный секретарь был доставлен в госпиталь Кошен в критическом состоянии...“

Я надел пиджак и поехал в посольство.

Во французской политике мы всегда ставили на правых. Наихудшие отношения с Францией были при социалисте Миттеране. Старая лиса Миттеран больше всего опасался своих товарищей по классовой борьбе — коммунистов. Он отлично знал, на какие шутки они способны.

Нынешний Президент республики — выходец из аристократической семьи. Ловкий политик, прекрасный финансист, тонкий знаток дел на африканском континенте. Ему не давали спать лавры генерала де Голля, он мечтал возродить былое величие Франции и поэтому балансировал между СССР и США. Причем в острых международных ситуациях он скорее склонялся в сторону СССР, ибо не хотел прослыть прислужником американского империализма. Американцы могли диктовать кому угодно, но не ему, гордому аристократу. Его комплекс неполноценности заключался в том, что он стыдился быть правым — правые во Франции никогда не были популярны, — поэтому Президент называл себя либералом, увеличивал зарплату низкооплачиваемым рабочим и посещал бедные семьи, чтобы, так сказать, познать жизнь народа. В сущности, о народе у него были смутные представления. Например, он всерьез полагал, что трудящиеся бастуют, потому что недовольны жизнью (а не потому, что руководство профсоюзов дает приказ провести забастовку). Следуя своей репутации либерала, он заигрывал с коммунистами, так как верил, что именно коммунисты выражают настроения простого люда. Как потомок аристократов, он унаследовал классический комплекс вины перед народом. Убежден, что Президент, человек энциклопедического образования, не прочел ни одной книги Ленина и искренне надеялся создать во Франции государство всеобщей гармонии.

И вот такой человек, в руках которого была вся власть в стране, попал в стремительный круговорот событий.

А события развивались так:

Грандиозная демонстрация во время похорон Генерального секретаря Французской компартии.

Невиданная антиамериканская кампания во французской прессе. Основной тезис: “Американцы убили Генсека руками немецких фашистов (или французских ультраправых), чтобы подготовить оккупацию страны“.

Всеобщая забастовка по приказу коммунистического профсоюза СЖТ. Париж на две недели без электричества. Транспорт и предприятия парализованы. Лифты в домах не работают.



Бесконечные манифестации на улицах. Стычки между правыми и левыми. Неконтролируемые элементы поджигают машины, бьют стекла, грабят магазины. Полиция бессильна. Лучше всех мобилизованы коммунисты. Именно рабочая коммунистическая милиция кое-как поддерживает порядок.

Палата депутатов голосами правого правительственного большинства принимает декрет против коммунистического саботажа. В тот же вечер огромная толпа, смяв кордоны полиции, врывается в парламент. Бьют правых депутатов.

Правые газеты обвиняют Президента республики в том, что он не может справиться с беспорядками и потворствует коммунистам.

Президент выступает по радио с призывом к спокойствию и грозит ввести в Париж войска.

Париж покрывается баррикадами. Все главные артерии города перегорожены. "Юманите" предупреждает о том, что генералы готовят военный переворот.

Президент продолжает призывать к спокойствию, но к Елисейскому дворцу стягиваются подразделения национальной гвардии.

В одну из ночей батальон парашютистов, тайно переброшенный в Париж из Лиона, штурмует Елисейский дворец. Разворачиваются настоящие уличные бои. Части национальной гвардии, расквартированные в других районах города, почему-то не спешат на выручку. Полиция не показывает носа. Штурм длится второй час, силы защитников слабеют, но тут в спину осаждавшим ударяет свежая рота национальных гвардейцев. Штурм отбит, осаждавшие разбегаются. (Потом в прессе строятся разного рода курьезные предположения относительно безымянных героев, спасших Президента, но кого это теперь волнует?)

Утром Президент принимает отставку правительства. Командующие армией, флотом и авиацией отстранены от своих должностей. Президент распускает парламент и назначает новые выборы. Президент поручает формирование временного правительства национального спасения новому Генсеку компартии Франции.

Как по мановению волшебной палочки, Париж оживает. В квартирах — свет, газ, телевизор. Уже через три дня жизнь в городе входит в привычное русло. Обыватель ворчит, но считает, что в сложившейся ситуации временное коммунистическое правительство меньшее из зол. И потом, были же коммунисты в правительстве при Миттеране. И ничего, Франция не развалилась. А сейчас верховная власть в руках Президента.

Для полного счастья нам не хватало прибытия американской эскадры в какой-нибудь французский порт. Тогда бы победа

коммунистов на выборах была обеспечена. Кстати, нечто похожее замышлялось, но сведения просочились в американские газеты. Поднялся шум: “Не хотим нового Вьетнама!” Конгресс категорически высказался против политики канонеров. Президент заявил в Конгрессе, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в демократическую жизнь Франции, свободной суверенной страны.

Два зала в нашем посольстве были отведены под импровизированный госпиталь. Но тела десяти десантников, погибших в бою у Елисейского дворца, отправлены в Москву в закрытых цинковых гробах. Славные, отважные были ребята!

Как вы догадываетесь, мы пережили горячие денечки. Уверяю вас, ко многому мы были не готовы, часто события опережали нас, развивались стихийно. Мы просто старались не отставать.

Я получил запечатанный конверт из Москвы. Коллегия Комитета сообщила мне, что хотя охрана бывшего Генсека ФКП формально не входила в мои обязанности, но я должен был бдительно предвидеть и т.д., а посему мне объявлен выговор по партийной линии.

Уф! Я вздохнул с облегчением. В Комитете поняли и одобрили мои действия.

А это письмо я обязательно покажу товарищу Фрашону. Пусть знает, что правительство Советского Союза заботится о жизни французских товарищей.

## 10

Первые две советские дивизии, танковая и мотострелковая, вошли во Францию в воскресенье 10 августа, ровно в полдень. Они прогрохотали по улицам Страсбурга, практически не вызвав любопытства у населения (большая часть горожан уехала на юг, к морю, на каникулы, для оставшихся в городе был святой час обеда), и покатали по восточному “авторуту” /А—4/ к Парижу. Редкие французские и немецкие машины обгоняли военные колонны, весело сигналив. Перед каждым “пеажем” (пунктом, где надо платить за проезд по “авторуту”) колонны тормозили, из головной машины выскакивал офицер, подбегал к будке контролера и четко отсчитывал деньги за всю колонну согласно тарифу.

С трех часов над колоннами стали кружить вертолеты французского радио и телевидения.

В нескольких местах на обочинах шоссе небольшие группы людей, одетых в рабочие комбинезоны, в касках строителей и

металлургов приветствовали проходящие войска красными флагами.

Но два раза колонны вынуждены были остановиться. Сначала в районе Вердена (где во время первой мировой войны шли ожесточенные бои с немцами) "авторут" перегородили пять стареньких автомашин и один трактор. Двадцать усатых стариков с боевыми наградами времен второй мировой войны на лацканах пиджаков, у некоторых в руках охотничьи ружья, мужественно выстроились за баррикадой, развернув транспарант: "Нет — советской оккупации!"

С переднего танка спрыгнул офицер, приблизился к баррикаде и на хорошем французском начал объясняться с храбрыми ветеранами. (Подоспевшие журналисты французского радио и телевидения, английского Би-би-си и двух немецких телепрограмм обступили офицера с микрофонами и отщелкали крупным планом. Эта импровизированная пресс-конференция потом транслировалась в вечерней программе теленовостей.)

Офицер сказал, что ограниченный контингент советских войск вводится во Францию по просьбе Президента республики и французского правительства на основании Женевского договора о дружбе и взаимной помощи, заключенного между Францией и СССР в июне этого года. Офицер сказал, что целью военного советского присутствия во Франции является создание наилучших условий для мирной жизни французского народа. Советские солдаты дадут отпор попыткам американцев вовлечь Францию в военные авантюры. Советские войска гарантируют суверенитет Франции, неприкосновенность границ и не позволят агрессивным силам НАТО отторгнуть у Франции военные порты стратегического значения. Офицер напомнил ветеранам славные дни, когда русские и французы дрались против общего врага, фашистской Германии. Офицер заверил, что традиционная франко-русская дружба, скрепленная кровью погибших во время второй мировой войны советских и французских солдат, живет в сердцах советских людей.

Тем временем за спиной офицера танкисты развернули походный стол. Офицер широким жестом попросил ветеранов и журналистов отпробовать русской водки и черной икры.

Ветераны откушали по стаканчику водки и нашли, что водка несколько тепловата. Офицер извинился — увы, в танках нет холодильников. Ветераны получили в подарок памятные сувениры (деревянные матрешки и модели спутников), развернули свои старенькие автомобили и разъехались по домам.

Вторая задержка произошла перед Реймсом. Человек сто патлатых молодых парней и девок с короткими прическами — местные экологи — выстроились поперек шоссе, громко скандируя

лозунги: “Выхлопные трубы танков загрязняют воздух!” “Нет — советским ракетам!” “Нет — советским ядерным бомбам!” Офицер пытался высунуться из головного танка, но его встретил град помидоров и сырых яиц. Офицер поспешно ретировался, люки танков захлопнулись, моторы боевых машин зловецке заурчали. Журналисты, почуяв недоброе, попрятались в свои автомобили. Но отчаянные защитники окружающей среды не дрогнули. Как по команде повернулись спиной к танкам, спустили штаны и выставили для обозрения голые зады.

Снова застрекотали кинокамеры журналистов. Такой неожиданный барьер казался непреодолим!

Из ящика, прикрепленного ко второму танку, вылетело живое облачко и с жужжанием начало описывать круг над колонной. Вот облачко пронеслось над экологистами, кто-то из них не выдержал, стал отмахиваться, и рой злующих ос набросился на беззащитную молодежь, жала всех в обнаженные места. Экологи с позором разбежались в придорожные кусты.

Военные колонны, в дальнейшем не встречая никакого сопротивления, прибыли в Париж ночью и разместились в специально подготовленных кемпингах на территории Венсенского леса.

На следующий день делегация советских офицеров в парадной форме возложила венок на могилу Неизвестного Солдата у Триумфальной арки.

Прошла неделя. Советские военнослужащие, укрывшиеся в палатках кемпингов, зачехлили танки и бронетранспортеры, варили себе кашу в походных кухнях и на парижских улицах не появлялись.

Еще через три недели советские эскадры бросили якорь в Тулоне, Бордо и Шербурге. Но боевые посудины мирно дымили на рейде, команда на берег не спускалась. Экскурсии любознательных французов принимались на борту с чисто русским радушием.

В Нанте советские крейсера высадили дивизию морской пехоты. Дивизия ночью проследовала через город, расселилась в старых казармах и затихла. Если бы не дружественный визит командира дивизии к мэру города, можно было подумать, что русские провалились сквозь землю.

В первые дни французская пресса подробно (и по разному) комментировала присутствие советских воинских частей на французской земле. Но так как русские не подавали признаков жизни, внимание журналистов сосредоточилось на других, более актуальных и живописных событиях.

Газета “Либерасьон“ выступила с передовой статьей, в которой предлагала правительству резко сократить оборонный бюджет и освободившиеся средства употребить на модернизацию фабрик и заводов, жилищное строительство и борьбу с безработицей. “Зачем тратить деньги на армию, — вопрошала газета, — когда теперь защита страны переложена на плечи русских?”

Как я уже отмечал, Президент республики был тонкий политик. Распустив парламент и назначив досрочные выборы, он понимал, что может победить, если гарантирует Франции порядок и спокойствие. Если бы Президент сделал крен вправо, то победили бы его союзники по правящей коалиции. Энергичный лидер этой союзной партии давно метил в президентское кресло. Значит, первоочередной задачей было не одержать верх над левыми, а подставить ножку своему сопернику справа. Поэтому партия Президента вела предвыборную кампанию под лозунгом национального единства и спасения страны. Президент выступил в блоке с коммунистами, это смешало все карты его соперников. Социалисты, по идейным причинам, не могли заключить соглашение с правой партией, которая ранее входила в правительственное большинство. Энергичного лидера этой партии они боялись больше, чем Президента. Коммунисты же, к удивлению многих, оказались идеальными союзниками. Во-первых, они поддерживали порядок. Коммунистический профсоюз СЖТ начисто отказался от забастовок. Во-вторых, коммунисты ни в чем не противоречили Президенту и выступали даже с резкими заявлениями, осуждавшими присутствие советских войск в Афганистане. Новая коалиция — партия Президента и коммунисты — победили на выборах. Но Президент вынужден был платить по счетам и оставить на посту премьер-министра Генсека Французской компартии. В какой-то степени это отвечало намерениям Президента добиться в стране социальной гармонии.

Однако крайне правые силы Франции реагировали очень резко на новый правительственный альянс. Был саботаж со стороны чиновников, и Президент провел чистку аппарата, а также редакций национального радио и телевидения. Многие освободившиеся государственные посты заняли дисциплинированные и исполнительные члены компартии.

Хуже обстояло дело с армией. Высшее офицерство было в открытой оппозиции. Произошло несколько попыток военного мятежа. (Тут я должен со всей ответственностью заявить, что французские правые глупы чрезвычайно. Ни одного серьезного выступления армии не смогли организовать, хотя мы им всячески помогали. Окажись на месте Президента менее пугливый человек,

он бы нашел общий язык с генералами. Считайте, что нам повезло.) Итак, мятежные генералы уволены в отставку, но Президент своей армии не доверяет. Вдобавок, начиная с весны, в стране развернулась ранее невиданная во Франции кампания среди молодежи против обязательной воинской повинности. Призывники рвали повестки и устраивали манифестации под лозунгами: “Мы хотим жить! Хотим любить! Хотим работать! Мы — не пушечное мясо!” Левая интеллигенция активно включилась в эту пацифистскую кампанию, утверждая, что обязательная служба в армии — ущемление личной свободы и нарушение прав человека. Бешеным успехом пользовалась книга молодого писателя Марка Хедлера, язвительно сравнивавшего армейскую службу с разгребанием дерьма. Книга заканчивалась так: “А в армию надо идти. На один день. Плюнуть сержанту в рожу и хлопнуть дверью”. Призывники нацепляли себе на грудь фотографии Хедлера. “Фигаро” писала, что Хедлер нажил на своей книге миллионы.

В этих обстоятельствах французское правительство и подписало Женевский договор с Советским Союзом о дружбе и взаимопомощи. Другого выхода у Президента не было. Его власть могли гарантировать лишь наемные вооруженные силы. В частных разговорах Президент так и называл русских — “наемниками”. “Пусть русские добиваются своих стратегических целей, — говорил Президент, — но они сохраняют во Франции демократическое правительство”. И потом согласно Женевскому договору советские дивизии должны были покинуть территорию страны по первому слову Президента. И потом “наемники” не стоили Франции ни сантима. А Президент, как я уже отмечал, был прекрасным финансистом.

И потом — но про это знали немногие — был суп с котом. То есть одновременно шли секретные переговоры между СССР и США. Подробности мне неизвестны, однако советское правительство обязалось в одностороннем порядке прекратить помощь революционным повстанцам в Колумбии. Из Колумбии срочно вывезли советских и кубинских советников. Правительственные войска разгромили партизан в две недели. А ведь на организацию революционной борьбы в Колумбии ушло пять лет. Сколько сил, сколько денег! Но в уступку за Францию мы были вынуждены бросить кость американцам.

Осень того года во Франции называли “Парижской весной”. И не потому, что осень выдалась действительно удивительной — ясные солнечные дни, столики кафе выставлены на тротуары, октябрь на дворе, а мужчины без пиджаков — нет, осень того года была порой надежд, ликования и энтузиазма. Праздничная атмос-

фера особенно чувствовалась в Париже. Правительство обещало всем все и щедро раздавало деньги направо и налево. Ассигнования шли из военного бюджета. Президент наказывал армию за строптивость. Все требования профсоюзов немедленно удовлетворялись. В университетах отменили экзамены, а в лицеях — обязательное посещение классов. Естественно, Президент республики стал кумиром молодежи. Левая интеллигенция, которая всегда, при всех режимах, критиковала правительство, теперь жила в состоянии эйфории. Еще бы, таких свобод во Франции никогда не было! Отменили даже штрафы за стоянку автомашин в запрещенных для парковки местах. Левые журналисты и писатели, законодатели общественного мнения, росчерком пера назначались на высшие государственные посты. Готовился законопроект по сокращению налогов.

Правда, стремительно росла инфляция. Франк обесценивался на глазах. Но подконтрольные правительству средства информации объясняли это бегством капитала за границу и противодействием новым реформам со стороны хозяев предприятий. Капиталист стал излюбленной мишенью левой прессы. Капиталист превратился в символ реакции, антипатриотизма, в агента американских монополий. Национализация крупных фирм встречалась с удовлетворением.

И конечно, конечно, сводились счеты с полицией! Левая пресса называла полицейских слугами крупного капитала и защитниками старого режима. Подстрекатели уличных волнений, испытывавшие когда-то удары полицейских дубинок, вспомнили свои прежние обиды. Телевидение и радио крутили песню популярного шансонье: “Меня тошнит при виде флика“. Анархисты требовали расформирования корпуса полиции. Тем более что террористические акции в стране прекратились как по мановению ока.

Что же касается преступности, то ожила теория классовой борьбы, по которой преступники — жертвы угнетения, расизма, бедности и безработицы. Создавалось впечатление, что полицию спасает лишь заступничество Президента республики — иначе людей в форме линчевали бы прямо на улицах. Правительство, под давлением общественности, назначило комиссию по расследованию деятельности различных полицейских департаментов. Но Президент администрацию не трогал. В общем, обстановка в полиции была такой, что даже Мишель Жиро из ДСТ нам пожаловался: “Работать невозможно“.

Еще две мотострелковые дивизии, прибывшие из Союза, разместились в Сенарском лесу, в двадцати пяти километрах от Парижа.

Командование ограниченного контингента войск во Франции находилось теперь на территории Венсенского замка. И хотя связь с посольством осуществлялась через военного атташе, меня неожиданно пригласили в Венсенский замок для инструктажа.

На инструктаже присутствовали только полковники и генералы. Меня с непривычки несколько ослепил блеск погон.

Встретили меня сдержанно и называли не иначе как “товарищ Зотов из посольства”. Я подумал, что начинаются интриги между армией и Комитетом.

В свою очередь, я поинтересовался настроением солдат.

Мне ответили, что ребята скучают в палатках, томятся от бездействия, однако в посольстве могут быть спокойны. “Броня крепка и танки наши быстры”.

Я посоветовал организовать групповые экскурсии. Например, в музей Лувр, к стене расстрелянных коммунаров на кладбище Пер-Лашез, в музей-квартиру Ленина на улице Мари-Роз.

Вопрос:

— Не подействуют ли отрицательным образом на психику солдат парижские витрины, изобилие в продуктовых магазинах?

Я сказал, что мне самому любопытно знать реакцию рядового состава. Хорошо бы после экскурсий проводить беседы и материалы направлять в посольство. По моим предположениям, сначала у солдат будет шок, но потом все это перерастет в чувство здоровой классовой ненависти.

В заключение взял слово генерал армии, командующий группой советских войск.

— Как старший по воинскому званию я уполномочен огласить Указ Президиума Верховного Совета СССР. “За особые заслуги перед правительством Союза Советских Социалистических республик присвоить полковнику КГБ товарищу Зотову Борису Борисовичу звание генерала и наградить золотой медалью Героя Советского Союза и орденом Ленина”.

Все дружно заплодировали. Вокруг меня сияли улыбки.

Я понял недавнюю сдержанность военных — мне просто готовили сюрприз. Я почувствовал, что мои глаза повлажнели. Генерал армии ласково попросил меня не отказать в любезности пожаловать к праздничному столу.

После бурной осени в декабре наступило похмелье. Несмотря на солидные прибавки к жалованью, французы обнаружили, что цены на продукты и товары первой необходимости растут быстрее, чем зарплата. Опросы общественного мнения показывали, что



популярность Президента республики падает. Хуже было другое. Франция голосовала ногами! Начиная с октября из страны уезжало примерно по десять тысяч человек в неделю: промышленники, инженеры, ученые, врачи. Эмигрировали квалифицированные специалисты, которые могли найти работу в Англии, Канаде и США. Бежали те, кто сумел перевести капиталы за границу. Квартиры в Париже продавались за полцены, но число покупателей редело.

Новая Каледония и Гваделупа отделились от Франции. Президент, верный своему либеральному курсу, подтвердил свободу волеизъявления народов.

Однако, когда шестнадцатого декабря Корсика объявила независимость, грянул гром. Я получил разгневанную телеграмму из Москвы.

Пришлось объяснить, что подконтрольные нам корсиканские сепаратисты ни при чем. Просто французская эскадра из Тулона перебазировалась в корсиканские порты. Нашего посла пригласили в Елисейский дворец.

Предварительно мы обсудили с ним ситуацию. Договорились, что обещаем Президенту полную поддержку во всем, кроме объявления войны Корсике. Пойти на военный конфликт с французским флотом было бы неразумно (наши ударные эскадры крейсировали в Тихом и Индийском океанах), политически неверно, а главное, в настоящий момент нам было выгодно, что основная часть французского флота выпадает из игры.

Посол вернулся из Елисейского дворца несколько ошарашенный. Я спросил, в каком состоянии он нашел Президента. Посол ответил коротко, фразой, которую я никак не ожидал услышать от вышколенного, хладнокровного дипломата: “Рвет на жопе волосы!”

Рождественские праздники сбили накал политических страстей. Советское правительство предоставило Франции заем на льготных условиях. Традиционное новогоднее послание Президента республики по телевидению прозвучало оптимистично. Президент заверил французов, что временные финансовые трудности будут преодолены, франк обретет стабильность, начнется экономический подъем, и все это похоронит происки врагов республики.

Впервые в официальной речи Президент произнес слово “враги”. Президент не уточнил, кого он имеет в виду. Однако “Юманите” после событий на Корсике называла оппозиционеров врагами республики, а левая либеральная пресса обвиняла Президента в мягкости.

Оппозиция как-то странно затихла. Даже “Фигаро”, критикуя

действия правительства, тем не менее призывала французов сплотиться вокруг Президента в этот тяжелый для страны час.

Корсиканский урок пошел впрок?

Меня это затишье тревожило. Я чувствовал, что что-то назревает.

Во Франции привыкли, что гангстеры нападают на банки, хулиганы вырывают на улицах дамские сумочки, карманники орудуют в метро и больших универмагах, а домушники очищают квартиры. Но с подобным явлением французы еще не сталкивались: начался грабеж продовольственных магазинов и продуктовых лавок. Как правило, по ночам высаживались стеклянные витрины, и воры уносили ветчину, колбасу, сыры, консервы, даже овощи и фрукты. Вино и особенно крепкие спиртные напитки забирались ящиками, и часто на месте оставались пустые распитые бутылки.

Население роптало. Несмотря на недавно введенную цензуру, кое-где в прессе прорвались сообщения, что новый вид грабежей происходит в районах расположения советских воинских частей. «Юманите» поспешило объявить это фальсификацией, злостными слухами, хотя и допускало провокации со стороны ультраправых элементов. Тем не менее в наше посольство позвонили из ЦК Французской компартии.

Я поехал в Венсенский замок. Меня принял новый командующий контингентом советских войск во Франции — маршал Советского Союза. Товарищ маршал был любезен, но холоден. Да, к сожалению, имеют место случаи. Командование принимает меры, ведется воспитательная работа. Однако прибыли свежие части и среди солдат процветает круговая порука: те, кто ходят в самоволку, делятся добычей с часовыми наружной охраны. И далее маршал намекнул, что солдаты, в отличие от посольских товарищей, ночуют не в теплых парижских квартирах, а спят в походных мешках под палаточным тентом. Норма питания для рядового состава остается прежней. Рацион — перловка и пшенка со свиной тушенкой. Солдат не понимает, почему у рядового француза есть все, а он, воин-освободитель, вынужден перебиваться с хлеба на кашу. В этих условиях офицерам сложно поддерживать дисциплину и высокий моральный дух. Армия теряет терпение.

13 февраля я задержался в посольстве допоздна (у меня теперь была приемная с двумя секретарями), когда по вертушке позвонил посол и потребовал срочно к себе.

В кабинете посла я увидел военного атташе, Белобородова, начальника спецслужб. Что-тостряслось!

Докладывал Белобородов. Двадцать минут назад он получил через верного человека записку от Мишеля Жиро. ДСТ и высшие чины полиции создали хорошо законспирированную сеть заговорщиков. О существовании заговора Жиро узнал в последний момент. Сам он под наблюдением. Все телефоны министерства внутренних дел, ДСТ и советского посольства прослушиваются. В полночь заговорщики войдут в Елисейский дворец. Возможно, к мятежникам присоединится часть национальной гвардии. Президенту предложат добровольное отречение. Более вероятно, что в ходе перестрелки произойдет "прискорбный инцидент".

Все, как по команде, взглянули на часы. Девять вечера. Времени для размышлений нет.

Где премьер-министр? По идее — на площади Колонеля Фабиана. Сегодня вечером в ЦК ФКП секретариат. Звонить туда бессмысленно. Вообще, звонить куда-либо бессмысленно. Решено: посылаем взвод, нет, всю роту десантников к зданию ЦК Французской компартии. Если площадь оцеплена, пусть силой прорвутся и отвезут товарищей в Венсенский замок.

Командир роты охранения посольства выбегает из кабинета.

Второй вопрос: как связаться с Венсенским замком? Нарочных перехватят. ДСТ наверно предвидит и такой вариант. Разве что самому послу на машине с советским флагом удастся прорваться.

Но вот что перекрыто намертво — так это подступы к Елисейскому дворцу, туда сейчас и птица не пролетит. Успеет ли командование советских войск поднять по тревоге две дивизии из Венсенского леса? Не встретят ли их по дороге французские мятежные части? Пробыются ли на подмогу дивизии из Сенара? Французы все должны были рассчитать и позаботиться о блокировке русских. Какие будут политические последствия вооруженного столкновения между советской и французской армией? Не покажется ли это объявлением войны? И тогда — как прореагирует Франция? Как ответят Соединенные Штаты? На ядерный конфликт советское правительство не пойдет.

Ясно одно! Президент не имеет физической возможности официально призвать на помощь советские войска. А раз так — надо признаться — заговорщики нас обскакали. Но сидеть сложа руки? Или пуститься в авантюру, которая может все завалить?

— Согласно Конституции, — спросил я, — у кого в стране власть после Президента республики?

— У премьер-министра, — ответил посол, — но временно, конечно.

— Полагаю, — сказал я, — что нам этого времени хватит. И

откровенно говоря, я не понимаю, за каким чертом нам сейчас устранять тараканы бега и лезть во внутренние дела суверенного французского государства?

Посол обвел взглядом присутствующих:

— Все слышали слова генерала Зотова?

Я улыбнулся:

— Это не слова, товарищ посол, это моя рекомендация.

— Тогда, — сказал посол с непроницаемым лицом, — я предлагаю желающим воспользоваться моим баром — кое-что там осталось выпить.

## 11

Все же мы попытались как-то войти в контакт с Венсенским замком. Но городские телефоны молчали. Действовала лишь внутренняя линия, вертушка. Позвонили дежурным радистам. Те доложили, что на посольство направлена мощная глушилка, передатчик УКВ заблокирован. Белобородов вызвал начальника внутренней охраны. Выяснилось, что вокруг посольства ни одного полицейского. Движение транспорта по бульвару Ланн перекрыто.

— Неужели они осмелятся напасть на посольство? — спросил военный атташе.

— Не думаю, — сказал Белобородов, — у них есть цели поважнее. Однако нам намекают, чтобы мы не высовывались. Я не отвечаю за жизнь любого человека, который захочет выйти или выехать с территории посольства.

— Ага, — подтвердил я, — спешный отъезд роты десантников насторожил французов.

В 23.30 в последних новостях по первой программе телевидения веселая дикторша пробормотала, что в Париже в результате аварии вышла из строя телефонная линия. Дикторша посочувствовала влюбленным, у которых срываются интимные randevu, и пожелала телезрителям спокойной ночи.

В полночь радио Франс-интер выразило надежду, что к утру авария на телефонной станции будет ликвидирована.

В час ночи Франс-интер передало депешу с площади Колонеля Фабиана. Премьер-министр находится в здании ЦК ФКП и не может связаться с Елисейским дворцом.

Мы переглянулись. Депеша с площади Колонеля Фабиана косвенно подтверждала, что рота десантников прибыла на место. Но почему премьер-министр не укрылся в Венсенском замке? Что вообще происходит? Или ЦК Французской компартии отбросил наш план и действует по собственной инициативе?

В два часа ночи в информационном выпуске радио Франс-интер говорило только какие-то глупости про спорт и религию.

Через несколько минут радио внезапно смолкло.

На столе посла зазвенела вертушка. Посол снял трубку, его лицо исказила гримаса:

— Танки!

Мы бросились через коридор в зал, окна которого выходили на бульвар Ланн. В свете неоновых фонарей мы увидели, что к посольству ползут три тяжелые машины. Однако мы не успели перемолвиться словом, как военный атташе радостно воскликнул:

— Наши! Узнаю по профилю!

Танки замерли вдоль посольской ограды.

Капитан-танкист докладывал:

— При выезде из Венсена нас остановил военный патруль, несколько бронетранспортеров. Спросили, куда мы следуем. Я ответил, что к советскому посольству. Французы дали “добро” и порекомендовали идти в обход центра города, по “Переферику”. Один из бронетранспортеров пошел за нами, но у Порты Сен-Клу съехал с “Переферика”.

— Что сказал командующий? — спросил военный атташе.

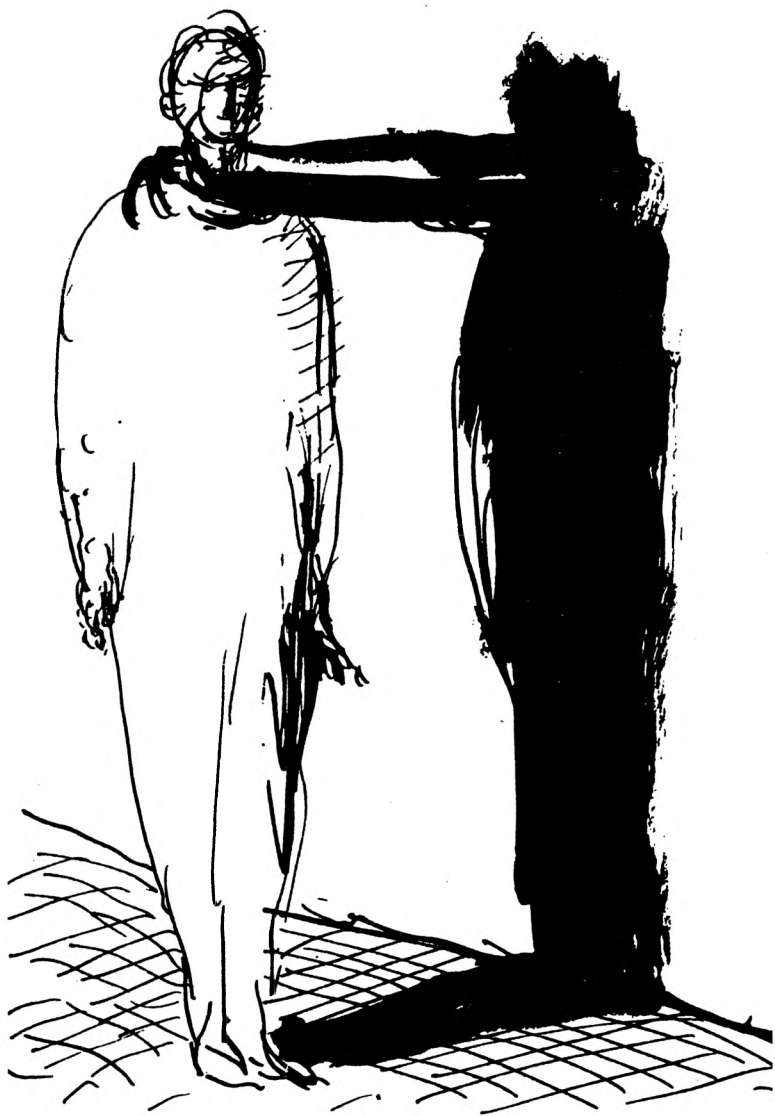
Танкист усмехнулся:

— Мне давал приказ командир дивизии. Велел передать, чтобы в посольстве не дрейфили и что командование установило прямую связь с премьер-министром.

Радио Франс-интер ожило в шесть утра:

— Район Елисейского дворца, министерства внутренних дел и префектуры полиции оцеплен войсками. Здание нашей радиостанции охраняется рабочей милицией. Из Елисейского дворца нам сообщили по телефону, что Президент республики подал в отставку и передал власть Комитету защиты Франции. Кто входит в этот Комитет, пока неизвестно. Мы ожидаем заявление Комитета защиты Франции с минуты на минуту. Слушайте обращение премьер-министра Франции к народу. Включаем площадь Колонеля Фабиана:

“Ночью в городе произошли беспорядки, — раздался спокойный голос премьер-министра. — Некоторые воинские части самовольно вошли в Париж. Утверждают, что Президент республики подал в отставку. Я хочу говорить с самим Президентом. Я хочу получить подтверждение этим слухам лично от него. Пока что правительство, назначенное Президентом республики, продолжает осуществлять свои функции. Я не знаю никакого Комитета защиты Франции, но уверен, что это происки жалкой группы заговорщиков-авантюристов. Убежден, что ни один из авторитетных лидеров оппозиции не поддержит заговора против Президента республики, ибо это означало бы гражданскую войну. Трудящиеся



Франции, сплотившись вокруг своего законного правительства, дадут достойный отпор провокации правых экстремистов. Ограниченный контингент советских войск, который находится на территории Франции по приглашению Президента республики, не вмешивается во внутренние дела нашей страны, желая избежать напрасного кровопролития и жертв среди гражданского населения. Но трудящиеся Франции могут быть уверены, что советские войска всегда придут на помощь республике по просьбе ее законного правительства. Повторяю, я хочу видеть и говорить с Президентом республики. Если Президент республики действительно подал в отставку, он должен назначить президентские выборы. До результатов этих выборов власть в стране будет осуществляться нынешним правительством. Правительство будет послушно воле народа и демократической Конституции Франции. Председатель Национальной ассамблеи назначает на сегодня экстренное заседание палаты депутатов. Да здравствует Французская республика!

— Очень рискованно, — сказал я. — А если заговорщики арестуют депутатов собрания, правительство и премьер-министра?

— Они бы это уже сделали, если бы могли, — сказал военный атташе. — Значит, расклад сил не в их пользу.

— Очень неглупо, — сказал посол. — Французы — законники. Коммунисты на этом и играют. Зондаж общественного мнения показывал перевес оппозиции. Зачем оппозиции прибегать к антиконституционным действиям, когда премьер-министр обещает в любом случае выборы? Главный вопрос в другом: где сейчас Президент?

По радио продолжалась война коммунике. Комитет защиты Франции призывал граждан прогнать коммунистов из правительства, сплотиться вокруг истинных защитников страны, поддержать свою армию и потребовать немедленного вывода оккупантов из Франции. Комитет обращался к разуму честных патриотов — депутатов Национального собрания. «Опомнитесь, пока не поздно! Не упустите последнюю возможность отстоять независимость Франции!»

Премьер-министр настаивал на встрече с Президентом республики и повторял, что будущее Франции должно решаться только в рамках Конституции, путем демократических выборов.

В восемь утра послу позвонили из Министерства внутренних дел и порекомендовали сотрудникам посольства не выходить в город. Положение неконтролируемое, могут произойти трагические инциденты.

Через 15 минут посольство окружили пикеты полиции.

В девять утра заработало телевидение. Показали пустынные улицы, задраенные железными шторами витрины магазинов, закрытые наглухо двери кафе. Диктор сказал, что, видимо, парижане пользуются случаем и устроили себе внеочередной выходной день. По центру Парижа как бы прошла демаркационная линия. Армия и полиция никого не пропускают в оцепленные районы, но и сами с места не двигаются. Крупным планом лицо полицейского. Вопрос журналиста: "Что происходит?" В ответ пожатие плеч: "Не знаю. Мы выполняем приказ". Дальше панорама советского посольства и три танка у ограды. Танкисты в распахнутых люках улыбаются в объектив.

Комментарий диктора: *"Это единственное замеченное нами передвижение советских частей. Русские приняли меры только для охраны своего посольства"*.

Говоря языком шахматистов, мне эта позиция не нравилась.

Во-первых, меня выбросили из игры, и я наблюдал партию со стороны. Политбюро компартии Франции предпочло свой план рекомендациям посольства. Командование в Венсенском замке слушается указаний Премьер-министра. Нас как будто не существует. Наверно, товарищ Маршал решил, что раз у него под рукой пятнадцать дивизий, он и сам шибко умный. Ладно, сейчас не до личных амбиций.

Во-вторых, премьер-министр надеется на благоприятный ход дебатов в Национальном собрании. Ведь в правительстве, кроме коммунистов, лидеры президентской партии. Да, французы — законники, оппозиция не отважится на открытый бунт против своих бывших союзников. Показательно, что список Комитета защиты Франции до сих пор не объявлен. Значит, ни одна крупная политическая фигура к ним еще не присоединилась. Во всяком случае, открыто. Все это так. Стратегия правительства как будто правильна. Однако мне со стороны виднее. Элементарная тактическая комбинация меняет положение на доске. Я бы на месте наших противников провел ее, не задумываясь. А именно: как только все соберутся в здании Национальной ассамблеи — молниеносный бросок войск (от Елисейского дворца до ассамблеи два шага), депутаты-коммунисты и члены правительства арестовываются, генерал провозглашает временную диктатуру армии. У них достаточно сил, чтобы сделать этот ход конем. И пока товарищи в Венсенском замке очухаются, им придется разговаривать с новым правительством Франции. Законное не законное — это, господа, наши внутренние проблемы, и просим посторонних не вмешиваться! И что тогда? Идти из Венсена и Сенара штурмом на Париж? А реакция народа? А если новое правительство успеет эвакуироваться (прихватив заложников-коммунистов) в предгорье Альп, где верные части и ракеты с ядерными боеголовками? А если пригрозят



ядерным ударом? Нет, не по Парижу, а по Москве? А если обратиться за помощью к американцам? А флот на Корсике с ядерными подлодками? Словом, головоломные осложнения с непросчитанными вариантами. С вероятностью полного краха всех наших проектов.

Как просто было бы премьер-министру сидеть в Венсене, за броней советских танков, и на законном основании призывать своих граждан к спокойствию и повиновению!

Признаюсь: Политбюро ФКП просчитало ситуацию лучше меня. Не нашлось во Французской армии современного генерала Бонапарта. Магия слов "конституция", "демократия" сковали действия лидеров оппозиции. А полицейские чины, инициаторы заговора, привыкшие подчиняться указаниям министров, не решились на собственную инициативу. Короче, никто не двинул войска к Национальному собранию. Мятежные войска так и мокли целый день под холодным февральским дождем.

Разумеется, депутаты в ассамблее подрали глотки, повитийствовали, но согласились в конце концов с премьер-министром: перво-наперво заслушать Президента республики.

Где Президент?

Пусть Комитет защиты Франции выдаст депутатам Президента!

Заседание ассамблеи транслировалось по радио и телевидению.

С наступлением темноты цепи мятежников стали редеть. А потом началось повальное бегство.

Отряд верной правительству национальной гвардии во главе с делегацией депутатов парламента вошел в опустевший Елисейский дворец. Тело Президента республики, изрешеченное пулями, обнаружили в командном бункере.

Траур по всей стране. Массовые демонстрации протеста. Президент объявлен национальным героем. Погиб, как Альенде, на посту.

Отблеск посмертной президентской славы румянит физиономию правительства. премьер-министр на белом коне. Впервые опрос общественного мнения к нему благосклонен. Но Конституция и Демократия превыше всего! премьер-министр тверд в своих обязательствах перед народом. Франция должна сама определить свою судьбу!

Премьер-министр назначает дату президентских выборов.

Депутаты Национального собрания разъезжаются по провинциям готовить избирательную кампанию.

Верховная власть во Франции в руках премьер-министра. За спиной премьер-министра сплоченные ряды Французской ком-

партии. На территории страны пятнадцать советских дивизий. Эскадра Краснознаменного Балтийского флота, в чисто экскурсионных целях, приближается к Ла-Маншу.

Как говорят шахматисты при переходе в эндшпиль: “Остальное — дело техники”.

Кстати о “птичках”, имеющих прямое отношение к технике. Французская армия, не задумываясь, применила бы ядерное тактическое оружие против агрессора, если бы этот агрессор находился где-нибудь в Бельгии или Германии. Но так называемый агрессор уже находился в центре индустриальных районов Франции, в гуще мирного населения. Обстреливать ракетами с ядерными боеголовками Париж, Нант, Лион? Кто из французских военных осмелится на это?

Оставались средства ядерного шантажа: бомбардировщики дальнего действия с атомными бомбами на борту, подводные лодки с дальнебойными ракетами и ракеты стратегического назначения на альпийском плато Альбион. На этом оружии устрашения строилась вся оборонная политика Франции. Президент республики нажимает кнопку в бункере Елисейского дворца — и ракеты с атомными боеголовками большой мощности несутся к Москве и Ленинграду.

Однако теперь Елисейский дворец был под контролем человека, который никогда на эту кнопку не нажмет. И все же могли быть осложнения: неподчинение армейских офицеров верховному командованию, самоубийственная инициатива летчика, приступ патриотизма у капитана подлодки. Мы же на Секретариате ЦК договаривались — даем гарантию, что никто на кнопках не сыграет.

Значит, так.

Самолетов мы не боялись. За каждым пилотом велось скрытое наблюдение. Не мог же летчик решиться на воздушную прогулку в Москву, не сказав предварительно пару слов своим друзьям по казарме? В любом случае самолет перехватывался над Германией или Австрией. Если атомный боезапас обрушивается на головы немцев или австрийцев — пусть те возмущаются варварством французских мятежников.

Подлодок с ядерными ракетами у Франции шесть штук. Две посудины на приколе в Шербурге и Нанте. Естественно, на них нацелены орудия наших эскадр, дымящих на рейде. Проверенные товарищи из числа докеров-коммунистов на круглосуточной вахте. О малейшем подозрительном движении на мостике подлодки нам тут же просигналят. Капитан не успеет включить моторы двигателей, как от его посудины останутся лишь воспоминания. Три

французские субмарины крейсируют в океане. За ними следуют наши подлодки. По условиям Женевского договора мы охраняем французских моряков от возможных коварных атак американского флота. Наши знают секретный французский код (о чем французские капитаны не догадываются) и поэтому в курсе всех переговоров с командованием. При первом же проявлении строптивости подлодки с их грозными ракетами отправляются на корм рыбам. Последняя из шести подлодок — на якоре у берегов Корсики. Подконтрольна независимому корсиканскому правительству. И мы предупредили товарищей корсиканцев, что снесем остров к чертовой матери вместе со всеми сепаратистами, если кто-то на подлодке попробует рыпаться.

Стратегические ракеты на плато Альбион. Шедевр французской военной техники. И шедевр работы советской разведки. Вот уже десять лет в команды французских ракетчиков внедрены наши агенты. Хорошо трудятся ребята, получают прибавление к жалованью и очередные нашивки. Ракеты, укрытые в штольнях плато Альбион, чудо современной науки. Но ракеты — не самолеты. Их для тренировочных полетов не запускают. Достаточно прервать определенный контакт, и вся сложнейшая электронная система пульта управления нарушается, причем так, чтоб это не было заметно. В принципе дефект можно обнаружить, но когда? Тем временем, пожалуйста, давите на кнопки — “птичка“ останется в гнезде. А пока будут гадать, где и почему прокол, наши десантные части поспешат в гости.

По заявкам французских радиослушателей радио Франс-интер два раза в течение трех суток проиграло русскую песню “Купите булики“. Кое-кто на плато Альбион сообразил, что пора браться за отвертки.

Я послал шифровку в Москву: “Птички не взлетят“.

На первый тур президентских выборов каждая из четырех крупнейших политических партий Франции выставила своего кандидата. Кроме того, на Елисейский дворец претендовали кандидаты от троцкистов, левых социалистов, ультраправого Национального фронта, экологов, гомосексуалистов и феминисток. Плюс — писатель Марк Хедлер от пацифистов и певица кабаре от группы парижских интеллектуалов.

Компартия проводила предвыборную кампанию в сложных условиях. Ее теперешние союзники (партия убитого Президента) и бывшие союзники (социалисты) заранее предупредили, что не предвидят в будущем никакого альянса с коммунистами. В ответ на это премьер-министр заявил, что выступает кандидатом от всех французов, которым дорога была миролюбивая политика нацио-

нального спасения героически погибшего Президента республики — то есть блока коммунистов и беспартийных. Предварительный опрос общественного мнения давал премьер-министру 20 процентов голосов.

Фаворитом считался энергичный лидер второй правой партии. Не исключается вариант, что уже в первом туре он получит абсолютное большинство голосов. Социалисты и сторонники бывшего Президента усилили нападки на энергичного лидера. Страсти разгорались. Пресса сосредоточила свое внимание именно на этой борьбе. Премьер-министр и его правительство оказались как бы в тени: кому интересны люди, дни которых сочтены?

Тем временем премьер-министр потихоньку действовал. Из правительства вывели министров обороны и внутренних дел под предлогом, что они не сумели обеспечить безопасность Президента республики. На их место назначили пока что представителей союзной правой партии. Эти меры нареканий не вызвали — ведь равновесие в правительстве сохранялось. Через три дня после своего назначения новый министр внутренних дел заболел. Что ж, всякое бывает. Но болезнь приковала министра надолго к постели. Без него в министерстве хозяйничал коммунист.

Новый министр обороны был отправлен с делегацией в Москву — на переговоры об условиях вывода советских войск из Франции. Этот шаг правительства общественность одобрила. Энергичный лидер язвительно заметил, что коммунисты хотят заработать еще полпроцента голосов. В Москве министра обороны встретили с распростертыми объятиями и повезли показывать базы на Урале. Наверно, министр так увлекся поездкой, что не спешил возвращаться. Его обязанности в Париже временно исполнял коммунист.

В “красном поясе” Парижа тайно формировались отряды рабочей милиции. Начальник отряда — французский коммунист, заместитель — советский молчаливый товарищ. Рабочая милиция составлялась из людей исключительно пролетарского происхождения: безработных алжирцев и марокканцев, люмпенов черного квартала “Золотая капля” и Бельвиля. В пригородах Лиона и Марселя, заселенных иностранными рабочими, на тех же принципах создавались вооруженные отряды “отпора расистам”. Существенная деталь: члены рабочей милиции сразу зачислялись на зарплату.

Последний результат опроса общественного мнения предсказал победу энергичного лидера. Видимо, окрыленная этой вестью, группа правых экстремистов атаковала среди бела дня отель “Матиньон”, резиденцию премьер-министра. Полиция легко отбила

атаку и арестовала большинство ее участников. Случайно оказавшееся около "Матиньона" телевидение сделало красочные кадры. Чернорубашечники с нацистскими эмблемами, появившиеся в программе вечерних новостей, произвели сильное впечатление на зрителей.

Газеты муссировали слухи, что в день выборов могут быть нападения на избирательные участки. Энергичный лидер потребовал от правительства обеспечить нормальный ход голосования. Премьер-министр торжественно заверил, что правительство стоит на страже Конституции и Демократии.

Выборы прошли на редкость дисциплинированно. Перед избирательными участками расположились пикеты рабочей милиции и советских солдат в парадной форме. Солдаты лихо козыряли голосящим. Во избежание провокаций со стороны ультраправых элементов к некоторым избирательным участкам были направлены бронетранспортеры Советской армии. Когда наступил момент вскрывать урны, охрана, заботясь о порядке и безопасности, наглухо заблокировала помещения, в которых заседала счетная комиссия.

В восемь вечера вся Франция уселась у экранов телевизоров. Новости начались с пятиминутным опозданием. Вид у диктора был растерянный. Словно не веря своим глазам, они объявляли первые результаты. К десяти вечера стало ясно, что Президентом Франции избран премьер-министр, получивший 59 процентов голосов.

В одиннадцать вечера новый Президент республики обратился по телевидению к стране. Он поздравил блок коммунистов и беспартийных с победой, призвал граждан к спокойствию, поблагодарил французов за доверие, но не исключил возможности попыток государственного переворота. Мы должны быть бдительны — так закончил Президент.

Ночью, по просьбе Президента республики, советские воинские части покинули казармы и полевые лагеря. Утром, протерев глаза, французы не обнаружили ни в почтовых ящиках, ни в киосках сегодняшних газет, зато обнаружили на людных перекрестках советские танки и бронетранспортеры.

В десять утра Президент республики опять обратился с речью к народу. Речь транслировалась по радио и телевидению. Президент сказал, что в разных городах в течение ночи происходили выступления мятежников. Антиконституционный бунт фашистов подавлен, но временно вводится военное положение. Выпуск газет временно приостановлен. Временно запрещаются все митинги и демонстрации.

Президент распустил Национальное собрание и назначил дату новых парламентских выборов.

За границей результаты президентских выборов во Франции назвали чудовищной фальсификацией. Продажные западные писаки утверждали, что:

1) многие члены счетных избирательных комиссий арестованы и до сих пор не вернулись домой;

2) коммунисты и раньше мухлевали с подсчетом голосов на выборах, но никто не ожидал шулерской аферы в таком масштабе;

3) кандидатом от других партий не дают выступать ни по радио, ни по телевидению;

4) между Восточной Германией и Францией создан "воздушный мост", по которому во Францию перебрасываются войска Варшавского пакта;

5) по сведениям французского посольства в Москве, французская правительственная делегация во главе с министром обороны содержится взаперти на обкомовской даче под Челябинском;

6) министр внутренних дел отравлен, и в его отсутствие коммунистам удалось расставить на ключевые посты своих людей.

В общем, нагородили всякую ерунду, которую я, ухмыляясь, прочел утром в своем кабинете. Конечно, эта враждебная буржуазная пресса ни к подписчикам, ни в киоски не дошла, но ведь французы могли слушать иностранное радио. Увы, глушилки на территории Франции мы построить не успели. Надо было срочно реагировать.

Из Венсенского замка мне сообщили, что все подступы к редакциям радио и телевидения надежно охраняются, но кое-где в маленьких городах частные радиостанции ведут подрывные передачи.

В час дня в дневных известиях Президент снова выступил по радио и телевидению. Он сказал, что, являясь Президентом всей Франции, слагает с себя обязанности Генерального секретаря ФКП. Он сказал, что примет сегодня лидеров оппозиционных партий. Он сказал, что, если оппозиция потребует, он назначит комиссию по проверке результатов выборов. Он призвал армию поддержать законную власть Президента республики и, во избежание провокаций, не выходить из казарм. Он сказал, что безответственные экстремистские группировки ищут возможности спровоцировать беспорядки, ввергнуть страну в хаос уличных боев. Введение военного положения с помощью советских войск, подчеркнул Президент, единственное средство предотвратить пролитие крови. Если избиратели чем-то недовольны, они имеют право высказать свое недовольство на будущих парламентских выборах. Задача правительства — организовать и провести эти выборы, не дать врагам республики переступить законы Конституции и Демократии.

Несмотря на запрещение демонстраций и митингов, толпа густела на Елисейских полях. Мне дали знать об этом в четыре часа. В пять часов, обходным путем, через набережную, я с трудом пробился к площади Конкорд, которая была оцеплена советскими танками. Перед танками маячили редкие пикеты французской полиции, а на них сверху, от Триумфальной арки, напирало многотысячное людское море.

— Что будем делать? — спросил я полковника-танкиста.

— У меня приказ! — сухо сказал полковник и поднялся на танк.

Толпа становилась все агрессивнее. Крики, антисоветские лозунги, улюлюкание. Вперед выдвинулись молодые люди в черных кожаных куртках: профессиональные застрельщики беспорядков, привыкшие к дракам с полицией.

В полицейских полетели камни. Полиция ответила слезоточивыми бомбами. Толпа немного подалась назад, но молодые люди в кожаных куртках, повязав лица платками, усилили натиск.

Полицейские дрогнули и ретировались за танки.

Дым постепенно рассеивался, хотя мои глаза пощипывало. Камень, срикошетив о башню танка, просвистел около моего уха. С улицы Руаяль выехала машина французского телевидения. Операторы расчехлили камеры. Я увидел, как впереди кожаных курток запрыгала девчонка, радостно хлопая в ладоши. Она, наверно, думала, что теперь начнется самое интересное, и она обязательно попадет в кадры вечерних новостей.

— Убрать телевидение! — приказал я французскому офицеру полиции.

Полицейский, даже не осведомившись, кто я такой, дал соответствующую команду. Но когда полиция стала теснить телевизионщиков, толпа взорвалась. На танки посыпались бутылки с зажигательной смесью. Бутылки лопались, как хлопушки. Вот один танк задымился, из-под гусеницы взметнулось пламя. Радостный рев десятков тысяч глоток заглушил рассыпавшуюся горохом пулеметную очередь. Стрелял пулемет подожденного танка. Первый ряд кожаных курток осел на мостовую. Девчонка, зажав руками голову, закружилась юлой и рухнула.

Грохот танковых моторов перекрыл вопли и визги. Танки двинулись на толпу, набирая скорость. Сквозь дым выхлопных труб, окутавший площадь, я заметил французского полицейского, который доставал из кобуры пистолет. Полицейский приставил пистолет к своему виску. Звук выстрела я не услышал.

В вечерних новостях новый диктор телевидения, журналист из "Юманите", коротко проинформировал, что в результате провока-

ции, организованной врагами республики, на Елисейских полях погибло пятьдесят человек. (По нашим сведениям, погибших было в пять раз больше.)

После этой устной информации телевидение показало красочные кадры зверской расправы вооруженных дубинками вашингтонских полицейских над мирной демонстрацией негров.

Всю ночь и весь следующий день продолжались волнения на улицах французских городов. В одном Париже было задавлено танками и расстреляно из пулеметов около десяти тысяч мятежников.

К вечеру уже никто не смел выходить на улицу.

Еще через день шестой танковый корпус, входящий во временный контингент советских войск во Франции, подавил сопротивление двух мятежных французских дивизий под Безансоном.

Командующий ордена Ленина десантной Севастопольской дивизией доложил, что контролирует положение на плато Альбион.

Военно-воздушный полк истребителей-бомбардировщиков под Тулузой был выведен из строя ракетно-бомбовой атакой советской авиации.

Лишь на море мятежники добились некоторого успеха. Шербургская эскадра, прорвав кордон наших кораблей, ушла в Англию. Но подводные французские лодки были уничтожены у причалов. Три французских "Миража", поднявшись скрытно с Нантского аэродрома, потопили ракетами "Экзосет" два советских эсминца, один противолодочный корабль и нанесли тяжелые повреждения крейсеру "Киев". По возвращении на базу летчики этих "Миражей" были арестованы советскими особистами и расстреляны на месте.

Вспышки волнений в маленьких городах подавлялись сформированными из алжирских люмпенов отрядами рабочей милиции. Иногда мэры этих городов сами просили заменить рабочую милицию советскими воинскими подразделениями.

Не могу сказать, что в стране воцарились спокойствие и порядок, но Франция замерла, как поверженная в нокаут.

Правительство чуть-чуть ослабило цензуру на радио и телевидении (работавших по единой программе) и разрешило выпуск одной французской газеты. "Юманите" в увеличенном объеме начала регулярно поступать в продажу и к подписчикам.

Из Венсенского замка мне по-прежнему присылали сведения о настроениях среди рядового состава, записи разговоров, вопросы, задаваемые на политбеседах, рассказы отдельных солдат в узком кругу.

Вот несколько запомнившихся отрывков.



Рядовой Рябов, Н-ский полк: “Сперва я смотрел и плакал. Мать моя с утра до ночи уродуется в колхозе, вкалывает по черному на молочной ферме, пустые щи хлебает, кусок свинины в праздники... Она же такой колбасы ни разу в жизни не пробовала! А у французов этих колбас до усеру! Покажи моей сестренке ананас или эту ихнюю авокаду — да никогда она их не видела, не знает, с чем их едят. Мы тут с хлопцами из лавки консервы сперли, зажарили с лучком — классный закусон получился! А лейтенант пустые банки обнаружил и на смех нас поднял — консервы-то для собак! Смешно, да? А я так скажу: если бы эту собачью консерву в нашем сельмаге выбросили — народ бы со всего района сбежался, очередь бы окна в магазинах побила. Такая консерва в наших местах на вес золота! Теперь ответь: где справедливость? Почему моя родня в колхозе от черного хлеба и капусты пухнет, а француз золотую консерву собаке скармливает? И ты хочешь, чтоб я француза пожалел? Нас старшина по грязи гоняет, двадцать километров марш-бросок с полной выкладкой и пулеметом на шее, а француз в это время на бабе лежит и вино посасывает. И ты думаешь, я ему после этого предложу мир и дружбу? Хрен ему в рыло!”

Старшина Огобаев, мотострелковый батальон: “Настоящий хозяин в свой огород посторонних не пускает. Да будь у меня столько добра, я бы круговую оборону круглые сутки держал, а кто сунется без спроса, горло бы перегрыз! А эти: раздвинули ворота — вали братва! Не знаю, как там с международным положением, по мне французы — большая нация. Чокнутая! Ну так мы их вылечим!”

Ефрейтор Малофеев, Н-ская танковая дивизия: “Прем мы по ихним Елисеям, скрежет, хруст стоит. Я взял направление и жму на газ. Что попадетя на пути — извините, а кто может ноги унести — уносите. Ваня Малофеев — человек не злой. Я против этих джинсовых очкариков ничего не имею, только чему их в школах-университетах учили? Видно, плохо учили, не научили, что танк — машина казенная и кидать в него камни и бутылки нельзя. За боевую технику я головой перед Родиной отвечаю! Эх, очкарики-джинсики, погуляли вы по Елисеям, повыпендривались на своих “фиатах”-“жигулях”, а теперь очередь Ване Малофееву гулять. Вдруг сержант командует: “Стоп, машина!” — “Чего, — спрашиваю, — Витя, опять какую-нибудь тетку гусеницей зацепил?” — “Да нет, — говорит, — не могу больше, глотка пересохла. Вон справа, в магазине спиртное дают. Сбегай, будь другом!” Я подрулил к магазинчику, бортом к витрине прислонился, стекло брызнуло. Вылез, залез в магазин, осматриваюсь, соображаю. Ничего знакомого не вижу — ни водки, ни портвейна, один какой-то “Герлен” на полках, но градус подходящий. Взял я три

пол-литровых пузырька и честно с корешами поделил. Из горла по пузырьку хлобыстнули. “Герлен” этот крепок, в самый раз, но вонища — как в парикмахерской, бьет в нос пошибче тройного одеколona. И как французы его пьют? А ведь, говорят, культурные люди...”

Капитан Кузьмин, командир десантного батальона: “Тут они нас прижали, пушки у французов получше, плотно кладут. Мы окопались, лежим — не пикнем. Ихние пулеметы нам макушки бреют. Ну, думаю, будем загорать до темноты. Потом, чувствую, огонь поредел. Я на часы смотрю — ровно полдень. И тогда я говорю батальону... Нет, не про Родину, не про партию — и пусть замполит меня простит, если не так. Я говорю: “Ребята, сейчас у французов обед. Сейчас французы жрут. На первое — ветчину. На второе — жареную курицу. На третье — компот из персиков. Все, говорю, точка, решайте сами“. Батальон без команды поднялся, как один человек, и так вдарил, что от французов пух и перья полетели...”

Сержант Рашидов, особая девизия КГБ: “Майор на политзнаниях нас предупреждал: “Опасайтесь провокаций!“ Но этот тип по-русски чешет, правда, с акцентом, вроде моего, — мол, мир, мол, дружба, мол, он за мировую революцию, и к себе в квартиру тянет. Обещает бутылку выставить, а бутыль, известно, на дороге не валяется. Вошел я в квартиру. Расположился, автомат под рукой. Нас на провокации не возьмешь. А француз знает, бутыль откупорил, разлил. Чокнулись. Опрокинули. Еще добавили. Вы, говорит, за диктатуру пролетариата? Да, говорю, за диктатуру. Вы, говорит, за революционное насилие? Да, отвечаю, за насилие. И тут он, гад, штаны спускает и раком становится. Меня чуть не вытошнило от его волосатой жопы, но я вспомнил слова майора: “Провокаций избегать, но входить в контакт с местным населением!“ Надо, сказал я себе, надо, Ахмед, это твой революционный долг...”

Лишь на флоте случилось ЧП. Рота морской пехоты, составленная из одесситов и ленинградцев, отказалась в Нанте стрелять в демонстрантов и строем вернулась на корабль. Весь личный состав роты судили военным трибуналом, и мелкими группами, под усиленным конвоем, отправили самолетом в казахстанские лагерьа.

“Что б мы им ни говорили, “глухонемые“ поверят“. Я воочию убедился в мудрости этих слов Ленина. Легкость, с которой мы одержали победу во Франции, объяснялась растерянностью и разбродом в руководстве трех главных политических партий. Во-первых, они не смогли объединиться. Во-вторых, воспитанные в духе

парламентской демократии, они не решились на действия, противоречащие конституции. Никто из них не осмелился призвать народ свергнуть власть нового Президента республики. Не слышались энергичных призывов, большая часть армии и полиции оставалась нейтральной.

Между тем логика коммунистов была предельно проста! “Фу, стыдно нас упрекать в подтасовке голосов! Ведь мы не жаловались, когда в течение десятилетий побеждали правые. Оппозиция ставит под сомнение результаты президентских выборов? Хорошо, докажите свою силу на парламентских выборах! Президент не сможет править страной без поддержки Национального собрания. Когда во Франции восстановится порядок, отменим военное положение и вернемся к демократическим нормам. Да, пока что, временно, Президент опирается на советские войска. А на кого ему опираться, когда мятежники из французской армии и полиции убили его предшественника, когда мятежники подняли бунт сразу же после выборов нового Президента? К тому же Советскую армию пригласил во Францию прежний Президент, законную власть которого никто не оспаривал. Да, трагично, что во время уличных волнений пролилась кровь невинных людей. Но ответственность за это лежит на правых провокаторах-экстремистах. Антиконституционные акции оппозиции могут лишь увеличить количество жертв. У Президента сейчас одна задача: провести нормальным путем парламентские выборы. Неужели оппозиция будет этому препятствовать?”

Оппозиция ничему не научилась и ничего еще не поняла. Оппозиция тоже надеялась на парламентские выборы и волей-неволей поддерживала политику Президента.

Постепенно оживала французская пресса. Но газеты и еженедельники выходили с огромными белыми пятнами на страницах. Цензура снимала все материалы, в которых усматривала призыв к бунту или подстрекательство к мятежу.

Опросы общественного мнения были запрещены как провокационные после публикации в “Либерасьон” итогов последнего опроса: по нему получалось, что за коммунистов собираются голосовать всего десять процентов.

В посольстве приуныли, но я нашел эти цифры ободряющими. Подумать только — десятая часть французов продолжает верить в коммунизм, несмотря на все происшедшие события. Значит, мы можем не церемониться: коммунист-француз на все закроет глаза. Десять процентов! У большевиков перед 1917 годом не было такой широкой поддержки среди населения.

Наконец по телевидению выступили лидеры трех оппозиционных партий.

Этому предшествовали долгие переговоры с цензурным коми-

тетом, в которых принимал участие лично Президент. Лидеры глухо намекали, но в основном напирали на рост цен, дефицит в бюджете социального страхования и проблемы безработицы.

Товарищ Фрашон, новый министр внутренних дел во временном (до созыва Национального собрания) правительстве, попросил меня направить консультанта в помощь Мишелю Жиро, временному директору ДСТ. Я откомандировал полковника Белобородова.

Белобородов не скрывал своей обиды, считая это незаслуженным понижением. Однако я не забыл Лиду.

Так, в принципе мы не вмешивались в работу французского правительства — товарищи сами неплохо справлялись. Лишь однажды я приехал в здание Министерства обороны и говорил по прямой радиосвязи с командиром атомной подводной лодки “Индепенденс” лейтенантом-колонелем Жоржем Мельвилем. Дело в том, что “Индепенденс” оторвалась от советского эскорта (надо отдать должное хитрому маневру капитана), и координаты лодки нам были неизвестны. Министр взывал к патриотическим чувствам французских моряков. Капитан отвечал уклончиво. А на борту “Индепенденса” пять ядерных баллистических ракет стратегического назначения. Риск огромный.

— Капитан, — сказал я, — с вами говорит советский генерал Зотов. У меня особые полномочия от советского правительства. У нас с вами различные идеологические взгляды, но я уважаю ваши убеждения. Если вы намерены идти к американцам — доброго пути, хотя мне жалко, что Франция потеряет такого опытного офицера. Как только пресса сообщит, что команда “Индепенденса” попросила политического убежища в США и корабль перешел в ведение американских ВМС, ваша семья сядет в рейсовый самолет TWA и благополучно улетит в Нью-Йорк. Я даю вам слово советского генерала. Ваша жена, Мария-Луиза, поправилась после болезни, дети посещают лицей, у Поля хорошие отметки по математике.

После минутной паузы лейтенант-колонель ответил, что понял меня отлично и берет курс на Флориду.

Министр обороны скривил губы. Еще бы, “Индепенденс” — лучший корабль французского военного флота.

У меня не было иного выхода. Ведь я гарантировал Секретариату, что “птички не взлетят”. И потом, у американцев таких лодок навалом, а нам от этого ни тепло, ни холодно. И потом будет суп с котом. И не мне его варить.

Выборы в Национальное собрание состоялись в точно назначенный Президентом республики день. Выборы прошли дисципли-

линированно. Порядок и спокойствие поддерживали советские воинские части и специальные отряды французского министерства внутренних дел.

Проведения второго тура не потребовалось. Уже в первом туре блок коммунистов и беспартийных получил 91 % голосов.

## 13

Абсолютным большинством голосов — 593 против 7 — вновь избранное Национальное собрание приняло два декрета, изменивших коренным образом жизнь страны:

- 1) о национализации всех крупных и средних предприятий;
- 2) Закон о защите мира.

Согласно первому декрету, в руки народа передавались заводы, фабрики, фирмы, акционерные страховые компании, магазины — словом, все организации, в которых работало больше двадцати человек. Национализированные предприятия с отрицательным балансом получали дотацию государства. Отменялось увольнение рабочих и служащих по экономическим причинам.

Что касается Закона о защите мира, то он торжественно провозгласил неучастие Франции в любых агрессивных военных пактах (типа НАТО) и вступление страны в систему оборонительного Варшавского договора. Закон о защите мира под страхом суровой уголовной ответственности запрещал пропаганду войны. Под действие этого закона попадали призывы против дружественной Советской армии, которая помогала Франции строить социализм. Закон о защите мира строго карал антиправительственную агитацию, ибо целью этой агитации было — спровоцировать в Республике гражданскую войну.

Большинство буржуазных газет и журналов, которые не смогли приспособиться к новым нормам демократии и продолжали критиковать правительство — то есть нарушали Закон о защите мира, — были, естественно, закрыты.

Зато к концу года Франция достигла невиданного успеха в борьбе с безработицей. Количество официально регистрируемых безработных сократилось с двух с половиной миллионов до трехсот тысяч!

Особенно ожила металлургическая промышленность (до этого испытывающая хронические трудности). Металл требовался для бывших автомобильных заводов, теперь работавших на оборону страны, и на изготовление колючей проволоки. Проволоки не хватало!



Подъем наблюдался и в строительстве новых тюрем и концентрационных лагерей, в которых содержались поджигатели войны, осужденные на основании Закона о защите мира. Число тюремных сторожей и лагерных охранников было увеличено в сто раз, однако все равно служба охраны не справлялась со своими задачами, и приходилось пока что временно прибегать к услугам советских и восточногерманских специалистов.

В стране, где Закон о защите мира с каждым днем набирал силу, образовывалось все больше вакантных рабочих мест. Однако проблема безработицы среди молодежи была решена следующим путем: обязательную службу в армии отменили, но всех молодых людей от 18 до 26 лет, слоняющихся без дела, забирали в пограничные войска! Погранвойска имели сугубо оборонительные цели, держали границу на замке, сооружали фортификационные укрепления, рыли рвы, опоясывали их рядами колючей проволоки — то есть действовали как саперные части. Срок пребывания в погранвойсках ограничивался тремя годами. Боевое оружие выдавалось лишь лицам, которые успешно прошли соответствующие курсы политической подготовки.

С инфляцией покончили через год. Франк был выведен из системы западных валют и свободно конвертировался на твердые и устойчивые советские рубли, польские злотые, чехословацкие кроны, восточногерманские марки, румынские леи и монгольские тугрики.

Когда Президент республики сложил с себя обязанности Генсека ФКП, своим новым Генеральным секретарем Политбюро Французской компартии избрало товарища Робинэ. Товарищ Робинэ был абсолютно неизвестен рядовым членам компартии. В его опубликованной биографии глухо сообщалось, что, скрываясь от преследований буржуазной полиции, он вынужден был работать в подполье, а потом продолжать свою революционную деятельность в эмиграции. Разумеется, я знал, кто такой Робинэ. Бретонец, член террористической организации “Аксьон Директ”, он действительно, спасаясь от ареста, бежал в Советский Союз. Сначала он проходил боевую подготовку в специальных лагерях вместе с палестинцами, ирландскими революционерами и итальянскими “краснобригадниками”. Затем на него обратили внимание и послали учиться в Высшую партийную школу в Москве. На должности инструктора он просидел в Иностранном отделе ЦК КПСС месяцев восемь, и тут разразились события во Франции. Сперва политбюро ФКП кооптировало Робинэ в свои члены, ну а потом Москва порекомендовала Робинэ на пост Генсека.

Товарищ Робинэ оказался на редкость способным аппаратчиком. В нем чувствовалась выучка московского ЦК. С удивительной интуицией он угадывал, какой человек на Старой площади сейчас идет в гору, какие настроения в Секретариате, а главное — сохранял и крепил налаженные в Москве связи.

Первое время мы с Робинэ жили мирно. Робинэ еще присматривался, изучал, кто за мной стоит. Но вскоре начались трения. Робинэ полагал, что лучше меня выполняет волю Москвы, и порой дело доходило до открытых конфликтов.

Я считал, что нельзя ликвидировать мелкие предприятия, нельзя трогать французского лавочника, нельзя ущемлять французского крестьянина. Я доказывал, что дальнейшее закручивание гаек приведет к экономической катастрофе.

Робинэ утверждал: частный собственник — враг коммунизма, индивидуальные крестьянские фермы — потенциальные очаги сопротивления. Москва слушала Робинэ благосклонно. Политика Робинэ восторжествовала. Национальное собрание отменило частную собственность. Началась организация колхозов и сельских кооперативов. В результате в магазинах исчезли продукты. На рынках мясо и овощи продавались по безумным ценам, недоступным трудящимся. Однако Робинэ получил благодарность из Москвы за зрелое идейное руководство, а мне вынесли порицание.

Я противился нарушению французских традиций, но Робинэ настоял на том, чтобы муниципалитеты были переименованы в Советы депутатов трудящихся. Тогда-то Франция и превратилась в Советскую Социалистическую Республику!

В Москве аплодировали, а нам пришлось опять вывести танки на улицы.

С инфляцией, как я уже говорил, покончили. Государственные цены и зарплату заблокировали. Но прилавки в магазинах опустели, а на заработанные деньги французы еле-еле сводили концы с концами. Резко упала производительность труда, и это при том, что забастовки были запрещены! Качество французской продукции сильно понизилось.

Франция познала, что такое очереди. Люди выстаивались у дверей продуктовых лавок за два часа до открытия.

Золото и драгоценности, изъятые из частных банковских сейфов, недолго поддерживали государственный бюджет. Правда, была еще одна статья дохода — выкуп родственников. Из Франции разрешалось уехать тем людям, за которых члены их семей, успевшие эмигрировать в Америку или Англию, выплачивали крупную сумму в долларах и фунтах. Но и этот источник вскоре иссяк. Министерство финансов СССР ежемесячно переводило во французскую казну пятьдесят миллионов долларов.



Наши отношения с товарищем Робинэ окончательно испортились во время заселения авеню Фош.

Этой акции мы придавали большое пропагандистское значение. Бедняки из Сен-Дени, Клиши и Сент-Уана, рядовые члены компартии, рабочие-эмигранты будут жить в роскошных домах когда-то самой дорогой улицы Парижа! Прежние обитатели авеню Фош, сливки французской буржуазии, давно исчезли из своих квартир. Часть сбежала, часть была вывезена насильно. Но занимать опустевшие квартиры мы не спешили. Исподволь готовились и утверждались списки новых квартирантов.

Вселение рабочих планировалось провести в организованном порядке, под музыку и торжественные речи, под стрекот кино- и телекамер.

Однако список рабочих и низовых партийных активистов сокращался, как шагреневая кожа, и одновременно разбухал список крупных функционеров Французской компартии. Кроме того, в Париже необыкновенно разрослась колония советских специалистов и советников. Не мог же я советских товарищей — чиновников министерств, инструкторов ЦК, высших офицеров — расселять где-нибудь в Монтрей или Бобиньи, ближних пригородах столицы!

Тем не менее предполагалось, что на авеню Фош въедут как минимум пятьсот семей из рабочих кварталов. И вдруг, буквально накануне праздничного дня, выяснилось, что товарищ Робинэ срезал этот список до сорока семей.

Скандал!

Я поехал ругаться на площадь Колонеля Фабиана. Товарищ Робинэ был неумолим. Он, по его словам, и так сэкономил. На авеню Фош допускались лишь работники аппарата и члены ЦК ФКП, руководители французских министерств и ведомств, члены парижского исполкома, секретари райкомов партии, начальники отделов департамента рабочей милиции, высшие чины Комитета государственной безопасности Франции и несколько видных коммунистических деятелей культуры. В общей сложности получалось две тысячи семей. Мой же список претендовал на полторы тысячи квартир.

Я требовал хотя бы уравнивать списки, но товарищ Робинэ обвинил меня во вмешательстве во внутренние дела Французской компартии и сказал, что будет жаловаться в Москву.

Мне ничего не оставалось, как сократить советский список на шестьдесят единиц. Итого набиралось сто квартир для французских рабочих. Все-таки это выглядело пристойно.

Праздник вселения рабочих в новые квартиры провели на уровне. Телевидение транслировало его на всю Францию. Наиболее впечатляющие кадры повторили даже по Всесоюзному телевидению, в Варшаве, в Софии и Улан-Баторе.

Однако посол на меня окрысился — ведь я вычеркивал в основном мидовцев. А главное, в числе исключенных из списка оказался сын Идеолога! Конечно, ему быстро предоставили квартиру на авеню Виктора Гюго, но я понимал, что совершил роковую оплошность.

В когда-то знаменитом “Лидо” теперь гастролировали попеременно Краснознаменный имени Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии, Омский хор, Московский областной театр мимики и жеста, польский танцевальный ансамбль “Мазовше” и бурятская опера. Зато в бывшем “Фоли-Бержер” силами Государственного народного театра Франции ставились спектакли с революционной тематикой: пьеса Горького “Мать”, “Оптимистическая трагедия” Вишневского, “Любовь Яровая” Тренева, “Русские люди” Симонова, “Стряпуха” Софронова и драматическая композиция по роману Луи Арагона “Коммунисты”.

Кое-что сохранилось и от старого Парижа. Например, три ночных кабаре со стриптизом на площади Пигаль. Туда водили развлекать делегации дружественных компартий, ответственных московских товарищей, а также арабских шейхов и богатых американцев — тех, кто мог платить долларами. Состоятельные иностранцы останавливались в гостиницах типа “Риц”, “Интерконтиненталь”, “Жорж Сенк”, для них же был открыт ресторан “Максим”.

Советские дипломаты и советники, французские номенклатурные работники пользовались специальными городскими столовыми, закрытыми для широкой публики. Там кормили дешево и вкусно. Расплачиваться надо было синими талонами, выдаваемыми ежемесячно к зарплате. На желтые талоны мы покупали в особом распределителе настоящий французский коньяк, продукты, японскую радиотехнику, швейцарские часы, итальянскую обувь, одежду американских фирм.

Да, еще одна немаловажная деталь: в каждом модном курортном городе несколько вилл, конфискованных у буржуазии, были переделаны в санатории для трудящихся. Остальные виллы распределялись по усмотрению местных партийных комитетов и командования ограниченного контингента советских войск во Франции. Мне предоставили двухэтажный дом в Довиле, но я никак не мог выбрать времени туда навестись.

Иногда я сам себя спрашивал: кто же правит во Франции? Президент республики или Генсек Робинэ? По конституции, естественно, Президент. К тому же у Президента как у старого коммуниста был немалый авторитет в партии. Но партийный аппарат

прибрал в свои руки Генсек. На ключевые посты в Государственном комитете безопасности товарищ Робинэ тоже расставил своих людей. (Кстати, по словам Белобородова, из бывших революционеров-террористов получались очень неплохие следователи, способные выбить признание даже у египетской мумии.) Короче говоря, Президента уважали, ему почтительно внимали, однако решения Елисейского дворца вступали в силу после того, как их утверждали на площади Колонеля Фабиана.

В принципе я не должен был вмешиваться в эти французские интриги — ведь оба, и Президент, и Генсек, выполняли нашу волю. Но все дело в том, что Генсек Робинэ принес с собой в аппарат ФКП стиль советских учреждений в худшем значении этого слова. То есть процветали приписки, липа, туфта, подгон статистических данных (если бы только в пропаганде — черт с ней!), и вся эта неправильная информация отправлялась в Москву.

Желаемое выдавалось за действительное. В стране спекулировали все, кто мог и чем мог, за один доллар на черном рынке платили тысячу франков (десятую часть средней зарплаты), а товарищ Робинэ докладывал в Москву, что во Франции покончено с буржуазными предрассудками!

Вся страна, от мала до велика, слушала подрывные передачи на французском языке, которые вели радиостанции Би-би-си, “Голос Америки” и “Свободная Европа”, а Генсек ФКП направлял победную реляцию на Старую площадь — мол, тираж “Юманите” вырос до восьми миллионов экземпляров.

В предгорьях Альп, в лесах Центрального массива начали возникать очаги вооруженного сопротивления, ночью на улицах стреляли в спину советским патрулям, на танкостроительных заводах “Рено” и “Ситроен” участились случаи откровенного саботажа, а товарищ Робинэ умасливал Москву тем, что, дескать, на последних выборах в местные Советы за блок коммунистов и беспартийных проголосовало 98,75 процента избирателей!

Разумеется, я бил тревогу, я посылал подробные докладные, но у меня создавалось впечатление, что Секретариат предпочитает верить фальшивым, но благополучным рапортам, составленным на площади Колонеля Фабиана.

А вот посол как-то сразу нашел общий язык с товарищем Робинэ. Они подружились семьями, вместе ездили на оленью охоту в Арденны. Сводки посольства буквально дублировали дутые отчеты ЦК ФКП. Я знал, что в Москве очень довольны послом. В осведомленных кругах парижской советской колонии поговаривали, что посла видят будущим министром иностранных дел СССР.

И все-таки, наверно, мои сигналы сработали. Внезапно меня вызвали в Москву — делать доклад за весь отчетный период на заседании Секретариата ЦК КПСС. Посол первым прибежал в мой кабинет сообщить радостную новость. В тот же день произошла неслыханная вещь — Генсек ФКП товарищ Робинэ сам примчался в советское посольство! Мы устроили совещание в узком кругу, на котором обсудили основные тезисы моего доклада. Меня просили не выпячивать негативные стороны, а больше напирать на достигнутые успехи — в конце концов общими усилиями во Франции установлена Советская Социалистическая Республика!

Секретариат был назначен через три дня, и посол предложил мне ехать в Москву поездом, чтобы за время пути в спокойной обстановке, когда меня никто не дергает, я написал свой отчет.

Оставался последний вечер в Париже, и я сказал своему шоферу (в связи с ограничением в целях экономии продажи бензина частным лицам мы ездили только на казенных машинах), так вот, я приказал шоферу отвезти меня на Большие Бульвары.

На площади Оперы мела метель. На обочинах тротуаров Итальянского бульвара выросли белые сугробы. По заснеженной мостовой осторожно скользили редкие автобусы и такси.

Я повторил ту прогулку, которую мы когда-то совершали с Лидой, и мне казалось, что я иду по незнакомому городу. Тускло светили уличные фонари, отражаясь желтыми бликами в темных окнах домов и магазинов. На бульваре Монмартр единственное открытое кафе было пустынно. У слабо освещенного входа в кинотеатр “Рекс” топталось несколько человек. Афиши объявляли программу из двух фильмов: “Новые времена” Чаплина и “Кубанские казаки” Пырьева. Возвращаясь по другой стороне бульвара Революции (бывший бульвар Капуцинов), я наткнулся на одинокого продавца жареных каштанов, который грел озябшие руки над раскаленными углями. Горсть каштанов стоила сто франков, но я купил горячий пакетик — на память.

## 14

Мне выделили отдельный вагон (со спальней, столовой, кабинетом), в каких ездят члены Политбюро и первые секретари обкомов. На Северном вокзале меня провожали посол, советники посольства, министр внутренних дел Франции товарищ Фрашон, председатель Комитета госбезопасности Франции Мишель Жиро и его первый заместитель Белобородов. Мне пожелали счастливого пути, удачного доклада и скорейшего возвращения.

На поезде из Парижа до Москвы — двое суток. Я прибывал в

Москву за полтора часа до начала заседания Секретариата. Не тратя времени на созерцание мелькавших за окном пейзажей, я приступил к составлению доклада. Поздно вечером молчаливый официант сервировал мне роскошный ужин с балыком, устрицами и белым вином. Проснулся я уже на территории ГДР.

Я закончил примерно две трети доклада, когда поезд остановился на какой-то маленькой польской станции. В дверь постучали. Я подумал, что это официант принес кофе, и крикнул “входите”, не поднимая головы.

— Привет, шахматист, — раздался знакомый голос.

В кабинет протиснулся Илья Петрович и плотно закрыл за собой дверь.

Мы обнялись, расцеловались. Илья Петрович немного постарел за эти годы, но, в общем-то, не изменился. После первых бессмысленных восклицаний и вопросов Илья Петрович меня прервал:

— Я должен буду сойти до советской границы. В вагоне все наши ребята, а на границе меня засекут. Учти, в принципе мы с тобой не виделись. Так что слушай внимательно, времени в обрез. Твои дела плохи, очень плохи. Тебя будут снимать со всех постов. В Секретариате накопилась куча жалоб. ЦК ФКП тобой недоволен — вмешиваешься в его прерогативы. Министерство обороны до сих пор не простило, что ты отдал американцам подлодку “Индепенденс”. А знаешь, сколько “телег” в МИД накатал на тебя посол? Плюс положение во Франции аховое. Вместо ожидаемой экономической поддержки Франция сама нам влетает в копеечку. Секретариат ищет виновных. Точнее уже нашел. Генерал Зотов плохо провел операцию: не рассчитал, не предвидел, не сориентировался на месте, не предупредил и так далее.

— А Французская Советская Социалистическая Республика с небес свалилась? — заорал я, и слава Богу, что поезд набирал скорость, колеса громко стучали, а то бы в вагоне всполошилась охрана.

В ярости я начал выкладывать все, что у меня наболело и накипело: как мне самому, на свой страх и риск, приходилось преодолевать бюрократические рогадки, нерадивость сотрудников, косность министерств, претензии МИДа, глупые указания из Москвы, амбиции армии.

Илья Петрович все это выслушал (отдаю должное его терпению и такту), а потом сказал:

— Твоя вина в том, что все взял на себя. Тебя не назначали царем и богом во Франции. Тебя назначили комиссаром Республики, ответственным перед партией, а вот про это ты забыл. Например, история с “Индепенденс”. С точки зрения оперативности, ты действовал правильно и четко. Разгадал намерения капи-

тана и, отправив лодку к американцам, нейтрализовал ее. Как офицер КГБ я готов тебя поздравить. Но с точки зрения ЦК, ты совершил недопустимый промах и самоуправство. Ты обязан был запросить мнение Москвы.

— Москва бы потребовала определить координаты лодки и затопить французов.

— Верно.

— И пока мы определяли бы координаты, пока согласовывали бы с Москвой операцию, лейтенант-колонель Мельвиль мог нажать на кнопки.

— Допускаю.

— И ракеты с ядерными боеголовками полетели бы на Москву?

— Ну, до Москвы бы они не долетели, свалились бы где-нибудь здесь или в Белоруссии — подлодка дрейфовала в центре Атлантики.

— Значит...

— Значит, — подтвердил Илья Петрович. — Но ты был бы чист в глазах Секретариата. У партии своя логика. Ты проявил элементарную партийную недисциплинированность, нарушил субординацию. Теперь, когда твое имя вспоминают в ЦК, следует немедленное добавление: тот самый Зотов, который подарил американцам “Индепенденс”.

— Может, меня и из партии погонят? — спросил я вызывающим тоном.

— Могут, — смиренно ответил Илья Петрович. — Все могут. У тебя выговор по партийной линии. Ты нахамил делегации ЦК. Такие вещи не забываются. Ты умудрился даже восстановить против себя советский аппарат во Франции своим нелепым вмешательством в распределение квартир на авеню Фош.

— Но ведь ЦК отмечал мои заслуги! Меня наградили золотой Звездой Героя, присвоили звание генерала!

— Всем нам зарплату зря не платят, — сухо отпарировал Илья Петрович. — Заслужил — получи. Однако одного убийства бывшего Генсека Французской компартии достаточно, чтобы тебя повесить за яйца или отправить на двадцать лет в лагеря. Ты думаешь, та тройка из команды Миловидова, которую ты сразу отослал в Москву после покушения, не написала подробный рапорт? Ребята не лыком шиты, знали, что надо подстраховаться. И копия этого рапорта подколота в твое досье в особом отделе ЦК. Вспомни: Михаила Кольцова, личного комиссара Сталина в Испании, расстреляли по возвращении в Москву. А ведь тоже в Испании славно поработал, плюс — известный писатель... Ладно, теперь другие времена.

Я молчал.

— Пойми, — продолжал Илья Петрович. — Секретариату ну-

жен козел отпущения, человек, на которого можно свалить вину за частичный провал во Франции. Никто из Секретариата свою голову не подставит. Наказать председателя КГБ — слишком значительная фигура. Остается непосредственный автор операции, генерал Зотов, который к тому же слишком много знает и чересчур инициативен. Ты занимал во Франции очень высокий пост. Куда тебя теперь девать? В органах — опасно. На секретаря обкома не тянешь — малоуправляем и самоуверен. Значит, если нельзя повысить, — надо просто этого человека убрать.

— Но Комитет может что-нибудь для меня сделать? — спросил я почти шепотом.

— А что ты сделал для Комитета? Даже Белобородова в генералы не представил. Вот уж кто заслужил, так заслужил. — Илья Петрович безнадежно взмахнул рукой. — Ладно, считай проехали. Слушай еще. Так или иначе, но Комитет тобой гордится. Комитет уверен, что твое имя со временем будет вписано в историю советской разведки, как имена Рихарда Зорге, Маневича, Филби... В нынешней обстановке мы можем только одно — предупредить тебя. Меня послал лично Председатель Комитета. Согласись, он сильно рискует. И я, старик, прыгаю, как заяц, с поезда на поезд. Но это все. Дальше выкручивайся сам, как умешь.

На перроне Белорусского вокзала меня встречали товарищи из ЦК во главе с заведующим Иностранным отделом. Честь высокая. Ни единого знакомого лица из Комитета я не увидел.

На Старую площадь мы отправились на трех "Чайках". Слишком пышная охрана. Или необходимый конвой?

Секретариат начался ровно в назначенный час. Вел заседание Второй секретарь. Генеральный отсутствовал. Зато на стульях в третьем и четвертом рядах сутулились неизвестные мне люди в штатском и в погонах. Видимо, эксперты, содокладчики. Даже без предупреждения Ильи Петровича я бы кое-что заподозрил.

Во вступительной части своего доклада я сказал, что задание партии и правительства выполнено. Французская Советская Социалистическая Республика идет по пути к коммунизму. Советская Армия, Военно-Воздушные, Военно-Морские Силы осваивают базы на французском атлантическом и средиземноморском побережье. Французский народ смог скинуть оковы капитализма только благодаря братской поддержке Советского правительства и мудрой политике нашей партии. Я перечислил имена людей (назвав в первую очередь посла и Белобородова), которые помогли Франции в трудный для нее час.

Портреты были непроницаемы.

Далее я отметил, что, несмотря на достигнутые успехи и воп-

реки своевременным указаниям ЦК, к сожалению, в ходе операции были совершены досадные ошибки и промахи. Ответственность за это лежит целиком на мне. Не удалось предотвратить ряд террористических покушений. Не удалось воспрепятствовать отделению Корсики и бегству части французского флота. Не удалось сохранить промышленный потенциал страны. Не удалось наладить французское сельское хозяйство, с тем чтобы оно снабжало в достаточной степени продуктами Советский Союз.

На своих ошибках я остановился подробнее. Все они были следствием того, что я не рассчитал, не предвидел, не сориентировался. А главное, что в спешке и суете событий я не успевал консультироваться с Москвой и принимал скороспелые решения на свой страх и риск.

В конце концов я заявил, что готов принять любое наказание, которое Центральный Комитет сочтет нужным применить ко мне.

Потом выступали эксперты от МИДа, от Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Все они повторяли критику в мой адрес, но так как я успел сам себя раскритиковать более решительно и безжалостно, то упреки экспертов звучали уже холостыми выстрелами. Заместитель заведующего Иностранным отделом ЦК выразил сожаление, что я не сумел уберечь жизнь бывшего Президента Французской Республики, большого друга советской страны. О погибшем Генсеке ФКП пока никто не заикался.

Но вот Второй секретарь предоставил слово начальнику управления КГБ. Я чуть не присвистнул. Вместо моего прежнего шефа к зеленому столу спешил незнакомый генерал.

Идеолог зашептал что-то на ухо Второму. Второй кивнул и обратился к присутствующим:

— Достаточно. Объявляю перерыв.

Генерал с папкой в руках замер на полпути.

Мы вышли курить в приемную. Вокруг меня словно очертили магическую линию, которую никто не переступал. Однако я ловил взгляды, брошенные украдкой, в которых угадывалось не только сочувствие, но и одобрение.

Заседание возобновилось. Второй подвел итоги:

— Генерал Зотов во время своего пребывания во Франции нечетко выполнял партийные директивы, отсюда столько промахов и ошибок. Секретариат, заслушав доклады экспертов, согласен с мнением выступавших товарищей. Более того, генерал Зотов, обнаружив недостаточность своей профессиональной подготовки, не сумел предотвратить террористические покушения на всеми нами любимого Генерального секретаря Французской компартии и уважаемого нами Президента республики. Вследствие этого, — продолжал ведущий, — ставится вопрос о целесообразности работы генерала Зотова в системе Комитета госбезопасности.



Я закрыл глаза.

— Товарищи, — раздался чуть капризный голос Идеолога, — все-таки Борис Борисович Зотов много сделал для Советского государства. Заслуги Зотова отмечены соответствующим Указом Президиума Верховного Совета СССР. Думаю, беда Зотова в том, что он оторвался от жизни своей страны. Ну, сказалось долгое пребывание за границей. Хорошо бы Зотову пожить где-нибудь в глубинке, в гуще своего народа.

— С тем, — подхватил Второй, — чтобы мы смогли использовать организаторский талант Зотова на ответственной советской или хозяйственной работе.

Через неделю я получил назначение в Пермь на должность начальника Камского речного пароходства.

Накануне отъезда из Москвы я нашел в своей квартире два запечатанных картонных ящика. В одном были бутылки французского коньяка "Мартель". В другом — коробки с французской парфюмерией, косметикой, платки, сувениры и... отлично выполненный макет подводной лодки.

И хотя не прилагалось никакой записки или квитанции и оставалось только гадать, как ящики попали в квартиру через запертые двери, я оценил это как привет от друзей из Комитета.

Вот так, случайно зацепилось, понеслось, поехало — и вспомнил я древнюю историю из другой моей жизни, которую стараюсь забыть намертво. Защитная реакция организма. Так шахматист старается забыть нелепо проигранную партию — иначе ведь изведешь себя упреками: дескать, надо было ходить конем, а ты взялся за слона...

Однако на пристани Чермез, куда я приплыл на обкомовском катере, чтобы расхлебывать аппетитную кашу, которую заварил топором пьяный матрос, — впрочем, это неинтересно. Обыкновенное ЧП. Но к пристани подъехал военный газик, и учтивый лейтенант вручил мне телефонограмму из Перми. Начальник областного ГБ просил меня срочно прибыть в "почтовый ящик номер 442" (кодовое обозначение лагеря для заключенных) и уговорить французов работать, ибо никто из лагерной администрации не знал по-французски ни слова.

Приехал. Предварительно просмотрел списки и личные дела заключенных. Потом меня провели во французский барак. Третий день французы не выходили на работу и отказывались принимать пищу.

— Встать, — скомандовал заместитель начальника лагеря.

Никто не пошевелился на нарах. Я сделал знак, чтобы заместитель начальника помалкивал, прошел в центр барака к холодной печке и сказал по-французски:

— Ну что, бастуем? Между прочим, советским законодательством забастовки запрещены.

На нарах поднялись головы. Кое-кто сел.

— Вы жили в Париже? — спросили меня из левого угла.

— Да, жил. Угадали по акценту? Давайте выкладываете ваши претензии.

Барак пришел в движение. Со всех сторон посыпались жалобы: завышенные нормы на лесоповале, недостаточное питание, в ларьке ничего не купишь, на окнах барака нет накомарников, не получаем писем, конвоиры грубы — бьют провинившихся, в медпункте нехватка лекарств...

Я обещал, что накомарники повесят, лекарства завезут, солдатам наружной охраны сделают внушение, с письмами разберемся, а в остальном, дорогие господа, таков порядок. К вам еще терпимо относятся. Если бы попытались бастовать заключенные в русском бараке, их давно сволокли бы в карцер.

— Лучше подохнуть, чем так жить, — сказал худой, обросший щетиной человек на ближайших нарах.

Я взгляделся в черты его лица.

— Марк Хедлер?

Человек встрепенулся.

— Марк Хедлер, вы противоречите самому себе. Вы же когда-то утверждали: "Лучше быть красным, чем мертвым". Вот теперь вы красный и испытываете на собственной шкуре закон социальной справедливости. Наконец-то у вас и у ваших товарищей равные права и обязанности.

— Мы не за такой социализм боролись, — глухо ответил Хедлер.

— А другого социализма не бывает. Социализм один для всех. Просто вы оказались под колесами Истории. Такова жизнь. Вы же сами говорили, что ход Истории неумолим. Если будете сопротивляться — История вас раздавит. Поймите, я хочу, чтобы вы все выжили. Перезимуете эту зиму, а там, глядишь, срежут срок, выпустят на вольное поселение.

— Во Францию? — насмешливо спросили из правого угла.

Я пожал плечами.

— Боюсь, что Франции ни вам, ни мне не видать. Впрочем, во Франции тоже усиленно строится социализм. Правда, климат получше. Короче, мой вам совет: кончайте голодовку и забастовку. Приступайте к работе. Свои обещания выполню. Здесь, как гласит русская пословица, "закон — тайга, медведь — хозяин". И по телевидению ваши подвиги никто не покажет.

— Ну что? — спросил меня начальник лагеря, когда я вернулся в караулку. — Кончили бузить французы?

— Совещаются, — сказал я, — голосуют. Такая у них традиция. И вообще, надо бы помягче с ними. Среди них есть люди, которые в свое время сделали для нас немало полезного.

— Известно, — буркнул начальник. — Фашистов давно расстреляли. Только у меня план горит. Кровь из носа, а сдавай положенные кубометры древесины. Мне эти французы стоят поперек горла. Завалю план — с меня стружку снимут.

Из окон французского барака донеслось пение.

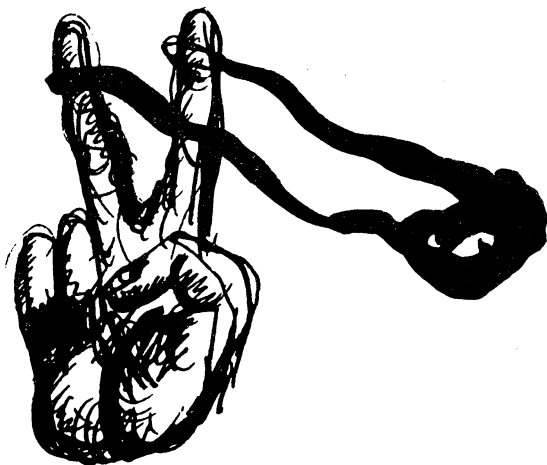
— Смотри, — поскреб свой затылок караульный солдат, — враги народа, а вроде бы революционную песню поют. Вроде бы “Марсельезу“.

— У нас одна революционная песня, — рявкнул начальник лагеря, — Гимн Советского Союза. А ну скажи слова!

— “Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...” — без запинки отпарировал караульный.

— То-то! — оборвал начальник и трусцой поспешил к французскому бараку.

— Волынка с этими иностранцами, маята, — вздохнул караульный. — Я уж чайник вскипятил, заварку приготовил. Опять сейчас нас подымут по тревоге, барак из брандспойтов поливать. И почему гады французы не дают людям спокойно почирить?



## ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

\* \* \*

Хрен с тобой, золотая рыбка!  
Плавники свои уноси...  
Никакого не будет рынка  
На огрызках всея Руси.

Было худо и станет худо.  
Убирайся, и Бог с тобой...  
Ждали чуда и нету чуда —  
Снова невод с морской травой.

## ЗАЛОЖНИК

За тысячи миль от дома,  
Средь выпивки и еды,  
Я с горечью понял, кто мы —  
Заложники нищеты.

И в каждом случайном пабе,  
Где всё, прямо всё по мне! —  
Как в молодости — по бабе,  
Страдал по родной стране.

Так в Блумсбери или в Челси  
От пива вздыхал и слез:

---

*Поэт и прозаик Владимир Корнилов (р. 1928) печататься начал в 1953 году. А в 1968-м, подписав первое письмо протеста против суда над Даниэлем и Синявским, перестал — не по своей воле, естественно. Долгие годы прошли в глухой внутренней эмиграции, даже без гипотетической надежды на выход к читателю — опыт для художника мучительный, возможный, наверное, только в нашем отечестве (или в Камбодже). В ближайших номерах “Конца века” читайте впервые публикуемый в России роман В.Корнилова “Без рук без ног”.*

О, если бы, если б, если  
В России легко жилось!..

Не строю расчетов ложных,  
Поскольку с далеких пор  
Не стоит гроша заложник:  
И стар, и устал, и хвор.

Уже отвалила осень,  
Взяла в оборот зима...

Но нищую землю бросить  
Страшней, чем сойти с ума.

## СУВОРОВ

Два столетия разговоров —  
Книги, памятники, кино...  
Всё — Суворов! А что — Суворов?  
Полководец-то был с Махно...

Оттого, что везло побольше,  
Задирали свой горбатый нос —  
Резал в Турции, вешал в Польше,  
Пугачева на казнь повез.

Войско грабило, что татары,  
Хоть порядок был: барабан,  
Сзади — рать, впереди — штандарты  
И фельдмаршалов шарабан.

Дудки дуют, мол, пули — дуры,  
Но зато молодцы штыки!..  
И понуро бредут, что куры,  
Разнесчастные мужики,

Феофаны, Захары, Карпы,  
Кто в обутках, кто босиком,  
На Карпаты и дальше в Альпы  
За очаковским петухом.

И не ведают, непоседы,  
На швейцарском ветру-снегу,  
Что придется за те победы  
Отдавать и сжигать Москву.

## УСКОРЕНИЕ

Точно в дубненском ускорителе,  
Разнесли, разогнали дни...  
Кто родители их, творители,  
Разорители — кто они?

Шандарахнуты и шарахнуты  
Порознь, вместе и все подряд,  
Словно всюду ожили шахматы  
И ведут себя, как хотят.

Словно ожило всё, что выжило,  
И немедля пошло вразнос...  
Ни Каспарову и ни Фишеру  
Ничего б тут не удалось.

Время мчится, как в ускорителе  
Безграничной величины,  
А правители-укротители  
От событий отключены.

\* \* \*

Всё вынесем, всё вынесли,  
И танки, точно раки,  
Попятятся из Вильнюса,  
Как до того — из Праги.

Туманом даль окутана,  
И непонятно, братцы,  
Куда еще откудова  
Придется убираться.



ТАТЬЯНА МОРОЗОВА

**МЕЛК**

*О себе Татьяна Морозова сообщила следующее: родилась в Москве, училась сперва в школе, затем — в институте культуры. Ныне в вузе Литературном, гадая, что из этого выйдет. Долго-долго работала в библиотеке, откуда вынесла (довольно двусмысленный оборотец!) любовь к книгам, выражающуюся не только в желании их писать, но и иллюстрировать. Выставляла книжную графику в Италии и Голландии и еще, Бог знает, где. Впрочем, к публикуемому рассказу “Мелк” это не имеет никакого отношения.*



Зияние лестничного пролета показалось ему дурным предзнаменованием, к тому же отовсюду мяукали. Он поплевал через плечи, схватился пальцами за пуговицу и высоким толоконным лбом нажал кнопку звонка, под которой реял обрывок газеты, сквозь передовицу пробивалась надпись "МЕЛК, звонить 030 раз". На восемнадцатом звонке дверь начала приоткрываться, обнажая мрак, затем сверкнули глазные белки и — вопросительно — зубы.

— Я Сергей Петрович, брат Бориса Петровича, — запинаясь в согласных, сказал Сергей Петрович, — Борис просил...

— Входите, — тихо сказали зубы и рухнули во тьму заодно с глазами.

Он шел по шаркающему звуку спадающих тапочек, не отвлекаясь на звуки матерщины и запахи рыбы и чеснока. Иногда поворачивались зубы — проверяли наличие передвижения Сергея Петровича молча и, вероятно, с улыбкой, от вероятности этой улыбки Сергей Петрович постоянно ударялся обо что-то острое и скользкое.

В высокой серой комнате, заросшей паутиной так, что она казалась конусообразной, Сергей наконец-то увидел владельца, вернее владелицу, зубов, белков и комнаты (Мелк?). Девушка в толстом прирученном свитере и некоем подобии брюк стояла спиной к окну; лицо ее Сергей Петрович видел бледным неправильной формы овалом, взлетали на свету отдельные полосочки волос, в овале что-то шевелилось, высекая низкие звуки — потому-то и не мог в темноте Сергей Петрович определить пол девушки (Мелк?).

— Вы извините, Бога ради, у меня такой беспорядок, я приехала лишь три дня назад, и все спала и спала, ко мне приходили, а я не могла встать и открыть, знаете, эти тридцать звонков, это все Мелк, но я все равно не могла подняться, вам — первому, а вот убраться не успела.

И действительно, всюду валялись совершенно непредсказуемые вещи: плащи, примуса, палатки, платки, пого-

ны, но вот постели видно не было, может быть, она так и спала среди палаток?

Девушка постоянно шевелилась, потягивалась, отряхалась после сна, поэтому Сергей Петрович мог разглядывать ее кусочками: худые локти под сантиметрами шерсти, русые мытые волосы до плеч, еще не проснувшихся, прямой профиль с тяжелыми веками — девушка ему очень и сразу нравилась, это сковывало, делало тугодумным, тормозило речь.

— Да-да, — говорила девушка, — так вы говорите — Борис, так что же Борис?

— Борис просил передать, — Сергей Петрович почувствовал, что не хочет ничего передавать, но вдруг девушка вскрикнула, почти перебив:

— Что такое? Вы ударились? У вас кровь? — и, дотронувшись до его виска, показала палец, гибкий и окровавленный.

— Да там, наверное, в коридоре, там темно, — он проклинал свою неуклюжесть, чувствуя себя кровавым, противным и вонючим стариком.

— Ничего, ничего, — девушка хлопотала удивительно долго, выпростав из-под погон и примусов клочки ваты, какие-то жидкие склянки, ее нежные руки занимались чем-то явно не тем: протирали его висок полезными ядовитостями, причитали над столь мизерным несчастьем, что Сергей Петрович не знал, как благодарить: падать ли в ноги? или?

Наконец, кровотечение (очень опасное, потому что височное, объяснила девушка) было остановлено, а поверх раны прилеплен подорожник, листья которого обильно выбивались из всех щелей комнаты, из стен, подоконника, батареи.

— Простите, что доставил вам столько... — начал Сергей Петрович чопорно, но девушка перебила:

— Вы с ума сошли, какие хлопоты, как вам не стыдно, вы, наверное, голодны, сейчас я что-нибудь... Есть варенье, вы любите арбузное? знаете, это из корок, так смешно, никто не верит, а получается вкусно, ведь корки все равно выбрасывают? вот я и варю, сейчас, только надо найти, вечно Мелк куда-то все...

— Стойте, стойте, — Сергей Петрович схватил ее за руку, — я совершенно не голоден, лучше скажите, кто такой Мелк? Вы разве не Мелк?

— Вы что, смеетесь, Сергей Петрович? Не надо, не смейтесь. Все мы — Мелки. Да где же это варенье? Раздуйте лучше примус, их ведь раздувают?

Сергей Петрович поднял примус поприличнее, крепко дунул в лихие пружинки, нажал на кнопочку, и примус зафыркал, задышал протяжно и жарко.

— Он что, на батарейках работает? — спросил он, и девушка ответила невпопад, нараспев, улыбаясь:

— Вот и каша нашлась!

Улыбка у нее была странная — боковая, — справа губа приподнималась, показывая резцы, а лицо оставалось трогательно серьезным, она стояла к нему улыбкой и протягивала мятую коробку “Геркулеса”.

— Бр-р, — сказал он, — с детства ненавижу геркулес.

— Ой, ну что вы, зачем же такие сильные эмоции на какую-то глупую кашу? Да это только коробка “Геркулес”, внутри наверняка что-то повкуснее. Теперь бы варенье найти, если только Мелк его куда-нибудь... А вот и оно! Попалось за хвост!

Они сидели, подоткнув под зады платки, по разные стороны примуса и разглядывали, как варится каша, оказавшаяся гречневой. Коричневые крошки метались в буром океане, как абсолютно неупорядоченные атомы, это было сродни стихии.

— Варится, — замороженно сказала девушка и вдруг быстро и прямо и как-то снизу посмотрела в глаза Сергею Петровичу, он вздрогнул.

— Уже сварилась.

Девушка схватила кастрюлю, полную крупы и воды.

— Давайте прямо отсюда, тарелки потерялись, вы знаете, здесь постоянно все теряется, вчера вот колготы постирала, повесила на батарею, и поминай как звали, да-да, именно так: поминай как звали! А ложки есть, можно ими же и варенье...

Они сидели уже по одну сторону, если считать от примуса, гречневая несваренная каша и арбузное варенье уди-

вительно приятно сочетались и сближали, иногда большие алюминиевые ложки стыковались и на стыке искрились.

— А говорили: не голодны, а сами-то, сами! Почти что с усами, — бормотала девушка тихонько, и Сергей Петрович почувствовал, что умрет, если вот прямо сейчас, сию минуту не дотронется до ее щеки.

— Здесь у вас что-то... — он протянул руку и будто бы что-то смахнул с ее щеки, над той губой, что так занятно приподнималась.

— Да нет, это родинка, — сказала было она, но осеклась, видимо, поняла.

Он тоже понял: нужно что-то сказать, иначе как же?

— Я никак не ожидал, — начал он, — это как будто впервые, но я никак не ожидал, что так может быть, что мы вот так сидим с вами, платки какие-то, — он вытащил из-под себя платок и зачем-то показал девушке, она слушала спокойно и внимательно, — так вот, мы сидим тут, совершенно, в сущности, чужие люди, но, наверное, уже и не чужие, все-таки рядом, а если человек рядом, он не совсем такой уж чужой, и как так бывает?..

— Да только так и бывает, — уверенно ответила девушка, он положил ей руку на плечо, и она наклонила голову и поцеловала эту руку.

— Грязная... — он так растерялся, что отдернул было руку, но тотчас же, как на уже завоеванную территорию, положил обратно. Он чувствовал толстую мягкую шерсть и под ней смешное такое узкое плечо, а мизинец отыскал ключицу.

— Именно, только так, — она развернулась к нему лицом и смотрела прямо, не дрожа веками. — Любовь...

— Любовь? — изумился он, ему захотелось отодвинуться, но так, чтобы она потом прислонилась к нему.

— Ну, я не знаю, а как это еще назвать?

Девушка ладонью провела вдоль его лица, он сказал, скручивая в твердое слова:

— Знаете, я часто слышал: чувство борется с долгом, а у меня сейчас чувство борется с разумом.

— Почему с разумом? Ах да, Борис, он что-то просил передать, но потом об этом, потом, потом...

Они лежали, обнявшись, в этих странных палатках, среди платков и прочей дряни, она шептала нечто спутанное, терпко пахло гречкой, а она все шептала:

— Как же это, как же это, а ты говоришь, разум? что ты, милый, зачем? конечно же, затем, как ты не понимаешь? как хорошо, какой разум, что ты? что ты?

От этого ее “ты” Сергей Петрович отупел окончательно, он ничего не понимал, как это он, такой стрелянный жук, вдруг оказался в паутинной комнате с этой гибкой и горячей девицей, которая ему, конечно, нравилась, но так, совсем немножко, это было похоже на сильное пивное опьянение, именно пивное, потому что в животе все время крутилось, булькало, может быть, каша доваривалась, он с тоской посмотрел на часы — часов не было, и тут зазвонил будильник, нет, не будильник, звонили в дверь. Девушка ждалась, напряглась и тихо шептала-считала: раз-два-три...

— Тридцать! Это Мелк, только Мелк звонит тридцать, другие — нет. Вы, — она снова перешла на “вы”, — к примеру, восемнадцать, я всегда считаю.

— Послушайте, скажите же наконец, кто такой Мелк, я не смеюсь, я действительно не знаю.

— Не смеетесь? — она, немного откинувшись, взглянула на него. — Я даже не знаю, как объяснить... Понимаете, Мелк — это не человек, вернее, это не один человек, это как бы образ жизни, что ли? или идеология... Да-да, примерно так: идеология или... какие такие слова есть? Так вы говорите, Борис Петрович просил что-то передать?

— Да, тут, конвертик, сейчас... — он приподнялся на локте, выглядывая пиджак, она отпустила его.

— Вот, Борис просил, — он протянул ей незапечатанный конверт, обычный такой конверт с кошкой на картинке.

— Интересно, — она села, впихивая в конверт обе руки.

В конверте был один листок, изрисованный дикой кривой физиономией, с подписью внизу: “Я возвращаю Ваш портрет”.

Она долго, молча, нудно смотрела на листок, затем встала и отошла к стене.

— Идиот, — тихо сказала она. — Ты идиот, Боря.

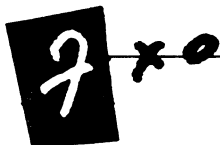
То, что она плачет, он понял не по звукам, а по пляске плеч, он достал из пиджака зеркало, упрямо, исподлобья посмотрел в него. В зеркале плавала потертая, небритая рожа на фоне выбеленных стен и такого же белого потолка, виднелась низкая кровать со сбитыми одеялами, круглыми подушками, комочком простыни... Она плакала у стены и беззвучно. Он подошел, легонько сдвинул ее плечи:

— Ну прости, прости Мариша, я не хотел, правда, не хотел тебя обидеть, ну хочешь, я что-нибудь сделаю? для тебя? или во имя тебя? Хочешь, в окно выпрыгну?

Она как-то не то хмыкнула, не то хрюкнула сквозь рыдание, он отошел к окну.

Этаж оказался неожиданно и слишком первым.





А.И.КУПРИН  
(1870—1938)

...Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками... Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку тридцать семь копеек. Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре.

Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда, Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему не русскому — словом, хорошо знакомое истинно русское лицо.

Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.

— Вот дурачье так дурачье. Ведь этикие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово — чухонцы.

А другой подхватил, давась от смеха:

— А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.

— Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!

И тем более приятно подтвердить, что в этой милой, широкой, полусвободной стране уже начинают понимать, что не вся Россия состоит из подрядчиков Мещовского уезда, Калужской губернии.

*Из очерка 1909 года "Немножко Финляндии".*

ЭДУАРД ЛИМОНОВ

# Три **РАССКАЗА**

Со времени первой публикации на родине (МА ДПР, 1989, рассказ "Дети коменданта") Эдуард Лимонов, известный в повседневном журналистском обиходе как "Эдичка" (что лишний раз свидетельствует о нашей оригинальной привычке смешивать литературу и жизнь) успел досадить прогрессивно мыслящему лагерю как никто другой. Каждый мало-мальски уважающий себя демократ-либерал выразил свое *contra* политическим выкладкам Лимонова, особенно напирая на странное, с точки зрения носителей прогрессивного мышления, желание писателя печататься аж в самой "Советской России". Говорят, Лимонов, как обычно, ставит на скандал... Допустим... Но можно допустить и другое: когда пароход современности заваливается на левый борт, должен хоть кто-то перебраться на правый? Тем более если это человек, никогда не состоявший ни в каких рядах (и соответственно, не имевший нужды покидать их в отличие от большинства профессиональных демократов). Что до скандала, так Лимонову его на всю жизнь хватит: скандальнее только что появившегося на российских прилавках романа "Это я — Эдичка" в отечественной словесности вроде и не было. Впрочем, и здесь запятая — не рождается проза только из одного скандала, не ворожит, не затягивает, душу не берedit... В чем нетрудно убедиться, прочитав публикуемые "Концом века" три "американских" рассказа Эдуарда Лимонова, которые (очевидно, из очень прогрессивных соображений) были отвергнуты рядом (очевидно, очень прогрессивных) изданий.

Виктория ШОХИНА



## МОРАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

О том, что поляк стал Римским Папой, мы узнали, вгрызаясь в скалистый грунт под домом мадам Маргариты. Мы, это местные, — форэмэн\* Майкл Шлоссэ, рабочий Джордж, рабочий Билл и я — неквалифицированная рабочая сила из Нью-Йорк сити. Как солдаты в только что начатом окопе, стоя на коленях, мы швыряли землю и камни на транспортер, его привезли нам в чудовищно большом траке из столицы штата Олбани. С транспортера земля и камни падали в подставленную тачку. Олбанский трак еще не покинул двора, а Майкл уже раздал нам лопаты. Транспортер, объяснил он, будет обходиться “нам” каждый день в казавшуюся ему чрезмерной цифру долларов.

Скала спутала цифры долларов, и трудо-часов, и трудодней — все подсчеты Майкла. Именно в момент, когда худой, жилистый Майкл прыгнул к нам, чтобы показать, как следует обойтись с объявившейся под нами скалой, транзистор Джорджа и объявил о выборе кардиналов.

Зачем нужна была яма под домом? В той части штата Нью-Йорк, в деревне Гленкоу Миллс в частности, с водой была проблема. В определенные годы воды не хватало. Дабы мадам Маргарите и ее будущим гостям не нужно было думать о воде, согласно конструкции Майкла, под домом должна была расположиться цистерна, сберегающая дождевую воду. Помимо основной пустоты для цистерны, мы должны были образовать по периметру дома пустоту, дабы залить ее бетоном и таким образом дать дому цементные корни взамен сгнивших от времени деревянных.

На скалу Майкл не рассчитывал. Игнорировав нового Папу-поляка, мы глядели во все глаза за действиями нашего предводителя. Осторожно занеся кирку вбок, он ударил по светлому подбрюшью скалы. Кирка отсекла несколько пластин, каждая величиной с ломоть хлеба, из тех, что продают уже нарезанными для сэндвичей в супермаркетах.

“Ничего, бойз, — сказал Майкл, — как видите, ее можно колоть, эту блядину...”

---

\* Бригадир.

“Бойз” хмуро переглянулись. Однако никто не стал оспаривать авторитет форэмэна. На нем лежала организация работы, снабжение, финансирование и дисциплина. Майкл повелевал нами без лишних слов, хмуро сверкая глазами из-под бесформенной шляпы. Свой авторитет он завоевывал ежедневно, вкалывая больше нас. Двадцативосьмилетний, он был младше меня, и тем более сорокалетнего мужика Джорджа, но, по всем параметрам, он был лейтенант, а мы — солдаты.

И мы стали колоть “эту блядину”. “Блядина” принадлежала к породе, пусть и размякших от времени и влаги, но базальтов! Такие же “блядины” выступали из почвы в двух часах езды от Гленкоу Миллс, в нью-йоркском Централ-парке. Проехавшийся по штату Нью-Йорк в дочеловеческие времена, гигантский ледник свез шкуру с целого плато “блядин”, оставив в них глубокие царапины. Нам достался участок, на котором ледник прокатился легко, увы... Если первый ярд “блядины” мы уничтожили вчетвером в пару дней, то дальнейшее углубление шахты стало даваться нам, как русским победа в Сталинграде, — инч за инчем\*. Если бы у нас был другой форэмэн, то он давно отступился бы. Уговорил бы мадам Маргариту отказаться не от нового фундамента из конкритта, но хотя бы от цистерны. Но у Майкла был не тот характер. Он не был простым форэмэном, Майкл. Приемный сын писателя Дэвида Шлоссэ, он был на самом деле любовником Дэвида! И не только его любовником! Живя с Дэвидом, рыжим эстетом и болтуном, из х... знает каких таинственных соображений, Майкл умудрился одновременно соблазнить всех женщин в радиусе 50 миль, чем вызвал ненависть всех мужчин в пределах того же радиуса, но трогать его боялись. Майкл коллекционировал винтовки и однажды въехал на бульдозере в ливинг-рум рогоносца, похвалявшегося, что убьет Майкла как собаку. Въехал с винтовкой на сиденье. И в наказание застрелил собаку рогоносца. На этом же бульдозере и с винтовкой он явился на антинуклеар стэйшэн\*\* демонстрацию в Олбани. Губернатор штата хотел строить вблизи Гленкоу Миллс нуклеар-электростанцию. С большим трудом устроители уговорили Майкла спрятать винтовку. Такие люди, естественно, не отступаются, встретив на своем пути базальтовую скалу.

---

\* Инч — дюйм.

\*\* Против атомной станции.

Однако так как, по плану Майкла, цистерна сужалась книзу, то работать всем в яме сделалось нецелесообразно. Уговорив по телефону компанию, которой принадлежал транспортер, сделать ему скидку в 50 процентов, довольный Майкл оставил меня и Билла грызть скалу, а сам, взяв Джорджа, ушел на другой участок фронта — на крышу.

Дом, купленный мадам Маргаритой, был полным фермерским комплексом, с крыльями, амбарами и даже конюшней. Должно быть, когда-то на ферме жила большая семья, все поколения вместе. Основная часть фермы, как утверждал Майкл, была построена уже в семнадцатом веке, другие части прибавлены к ней по мере надобности в последующие века. Мадам купила дом в обезлюдевшей деревне с целью превратить его в загородную резиденцию. Она была предприимчивой первопроходчицей, мадам Маргарита, сейчас иметь загородную резиденцию на севере штата Нью-Йорк сделалось модным у богатых людей Нью-Йорк сити — у бизнесменов и людей шоубизнеса.

Майкл с Джорджем вскрыли крышу семнадцатого века и, пользуясь тем, что осень стояла недождливая, стали заменять ее крышей двадцатого века...

Представьте себе тугий мешок зерна, завязанный у горловины с большим трудом. Настолько тугой, что кое-где мешковина подавалась, растянулась, и в этих местах мешок разбух, сделался шире. Вообразив такой мешок, вы получите представление о торсе Билла. Из торса проросли ручищи и ножищи, плюс голова, покрытая редкой пегой шерсткой. Щеки в ржаной, плохо бритой щетине, под белыми бровями — голубые приветливые глаза. Он был симпатичный парень, этот Билл. Четыре из двадцати четырех лет жизни он просидел в сторожах маломощной соседней электростанции. Он сам, смеясь, утверждал, что за четыре года его "асс"\* увеличился вдвое. Он был женат и приезжал рано утром на старом маленьком автомобильчике из населенного пункта, расположенного в десяти километрах. Между нами образовались непредусмотренные Майклом производственные отношения, причиной которых были моя гипертрофированная мегаломания и его гипертрофированная физическая трусость.

---

\* Задница.

Сейчас я объясню, в чем дело. Один из двоих должен был работать в яме — долбить скалу и наваливать породу на транспортер. Другой должен был оставаться наверху у тачки и, по мере ее наполнения, отвозить, наполнившуюся, далеко к воротам. У забора рос вначале небольшой, но все более впечатляющий холм. При одном землекопе, работающем в яме, тому, кто обслуживал тачку, можно было стоять себе и ждать, покуривая. Находящийся же в яме упирался рогом вовсю, потел и пыхтел. Существуют такие несправедливые работы, и ничего с этим не поделаешь. Хороший форэмэн Майкл, оставляя нас двоих, указал нам на неравномерность распределения труда и ненастойчиво пробормотал несколько советов по поводу организации производства: “Меняйтесь, бойз...”

Меняться мы не стали. Все сложилось само собой. Уже в первый день Билл не полез в яму, но выкатил из бывшей конюшни тачку и подкатил ее под срез транспортера. Поправил... И остался стоять рядом.

Еще в дни нашей общей атаки на скалу, я заметил, что он страдает, могучий Билл, руки, как маховики. Мы загнали его нашим, предложенным Майклом, темпом. Он тяжело ухал, охал, потел, раздевался и вновь одевался, менял то лопату на кирку, то кирку на лопату безо всякой видимой необходимости. Я тоже уставал в первые дни до такой степени, что отказался на время от второй, сверхурочной, работы: от смывания ядовитой жидкостью краски с потолка в соседнем доме, купленном хореографшей Леночкой Клюге, подругой мадам Маргариты. Позвоночник болел немилосердно, и утром я грустно вычитал из предполагаемого заработка Леночкины доллары.

Однако через неделю, после восьми часов под домом мадам Маргариты, я стал взбираться на лестницу, к потолку Леночки Клюге. Я привык.

Билл не привык.

Очень часто в своей жизни я устраивался на тяжелые работы. Почему? Мне что, доставляло удовольствие проверять себя на выносливость? Почему, в самом деле, понесло меня в возрасте 17 лет в монтажники-высотники, строить цех в украинском поле, ходить по обледенелым балкам на высоте птичьего полета? А позднее, в 19 лет, почему пошел я в сталевары? Землекопные работы считаются самыми тяжелыми. Разумеется, мне очень нужны были в ту

осень эти четыре доллара в час (роковая цифра, выше которой я поднялся только один раз), но почему обязательно от землекопания?

Впоследствии каждое утро я первым прыгал в яму, а Билл оставался у транспортера. Он обыкновенно приезжал раньше всех на автомобильчике и, ожидая остальных на террасе мадам Маргариты, пил кофе из термоса. Ровно в семь утра появлялся Майкл, по-утреннему хмурый и неразговорчивый. Мы вскакивали и отправлялись, ступая по белой от ночного заморозка траве, к рабочим местам. От прикосновения моих ботинок трава тотчас становилась синей. Билл как-то незаметно немножко отставал от меня. Получалось само собой, что я первым подходил к транспортеру и яме, и он предоставлял мне право решения.

Я мог ему сказать: “Сегодня ты, Билл, пойдешь в яму, а я останусь у транспортера“. И он бы прыгнул в яму без слова противоречия, я уверен. Но я никогда не произнес этой фразы. Дело в том, что я намеренно подвергал себя физическому неудобству, ежедневному напряжению ради удовольствия испытывать превосходство над ним — бычищей в клетчатой куртке. Я его ежедневно побеждал таким образом. Между нами мы делили наш секрет — его слабость, его боязнь спуститься в яму. Билл был на одиннадцать лет младше меня, в два раза шире и сильнее, но он был трус. То обстоятельство, что он никогда не сказал: “Тудэй из май тёрн\*, Эдвард!“ — давало мне право презирать его. И я (зная, что это несправедливо) символически презирал в его персоне всю американскую нацию. Всю страну. Это над Америкой, массивной, сырой и мясистой, как гамбургер, я доказывал себе свое превосходство.

Была красивая солнечная осень. Леса вокруг на холмах стояли, как пластиковая мебель в Макдональдсе, яркие, без полутонов. Солнце неуклонно появлялось ежедневно и нагревало ферму, деревню Глэнкоу Миллс, откуда сбежали в город все жители за исключением десятка семейств. Пар подымался к середине дня от высыхающих после ночного заморозка растений. Пахло прелыми травами... И мы, двое, на фоне всего этого великолепия, русский Эдвард и американец Билл участвовали в вечной человеческой драме. Первенство силы воли над физической силой опять, в миллиардный раз утверждалось на Земле. Я понимал это.

---

\* Сегодня моя очередь.

Я испытывал его. Всего-то дела было в одной фразе. Я доби-вался, чтобы он сам сказал: “Сегодня моя очередь, Эдвард!” — но он молчал и по-прежнему трусливо отставал, приближаясь к яме. Яма вызывала у Билла ужас. Ибо в ней он должен был напрягать свои, выхоленные на пиве и свинине, свежие молодые американские мышцы. Напрягать до боли, растягивать колени, сгибать позвоночник бессчетное количество раз, натуживать шею. Подвергаться боли... Для меня же, напротив, “моя яма”, как я стал ее называть, стала обжитым местом. Землянкой победы, где я ежедневно праздновал мою победу над мужчиной много моложе меня, и, что очень важно, над мужчиной чужого племени.

Майкл ходил вокруг, посмеиваясь. Спускаясь в яму, он одобрял мои темпы. Он был сумасшедший работник, этот Майкл, мы с ним были два сапога пара. Он улыбался, вымерял глубину моей ямы, взяв у меня из рук кирку, подправлял срез и уходил, продолжая улыбаться. Я думаю, он понимал, что происходит. Майкл, кажется, презирал своего Дэвида. Однажды, когда писатель явился на ферму и болтал, свесив ноги, сидя на балке, в то время как мы обливались потом, Майкл, отбросив лопату, резко и зло дернул Дэвида за ногу. Автор книги о Марселе Прусте неловко свалился. И даже зарыдал. Ушел от нас, рыдая.

Мой Билл не рыдал. Он был могильно молчалив утром, до распределения ролей, и становился безудержно говорлив тотчас после того, как я занимал мое место в моей яме.

Прошли две недели. Однажды Майкл, спустившись ко мне, измерив яму, нашел, что она достаточно глубока, пора ставить опалубку для заливки фундамента. Майкл стал работать над опалубкой, сооружать ее из досок вместе с толстым трусом Биллом, а меня прикрепил к Джорджу — покрывать новую крышу слоем смолы. На крыше пахло хорошо и крепко смолой и хвоей. Потому что вровень с крышей качалась под ветром крона пахучей сосны.

Все это происходило в местах, описанных некогда Вашингтоном Ирвингом. В нескольких милях всего лишь находился “Рип Ван-Винкль Бридж”. И как я уже упоминал, природа вокруг была необыкновенно красива. Невозможно было поверить, что такая природа возможна всего лишь в двух часах езды от Нью-Йорка на автомобиле. Именно эти два обстоятельства заставили мадам Маргариту выбрать Глэнкоу Миллс для загородной резиденции.

## МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ

Было четыре утра. На 57-й улице мело так, как будто над городом повисло красноярское, сибирское небо. Из желтого, как ядро крутого яйца, купола вторые сутки валил настырный снег. Уставшей цикадой, большим кузнечиком с промокшими до колен штанинами я выпрыгнул из 57-й улицы на 6-ю авеню. И, воткнувшись в снег, напрягал силы для следующего прыжка. Течение воздуха от Карнеги-холл пронесло мимо меня такого же, как и я, беспомощного прыгуна, и мы едва не столкнулись.

“Ха, это ты маленький! — воскликнул тип грубо. По-русски. — Блядуешь?”

“Борщаговский! — Я рад был видеть его упитанную рожу украинского еврея. — Что вы делаете в хаосе стихий, уважаемый коммерсант?”

“Плаваю, — отплевываясь и отфыркиваясь, он протер физиономию. — На свиданку иду с важным человеком”.

“Ни х... себе! В четыре утра... в такую погоду...”

“Кой х... Погода не имеет значения, когда речь идет о больших деньгах. За пару тысяч я в Хадсон-ривер прыгну в такую погоду”. Выпростав из рукава парки пухлую кисть, он взглянул на часы: “У меня есть еще четверть часа. Кофе могу тебя угостить. И можешь ватрушку какую-нибудь сожрать, ты ж у нас всегда голодный...”

Мы вошли в кофе-шоп на том же углу. Он был открыт двадцать четыре часа в сутки. Функционируя на манер мочевого пузыря, этот кофе-шоп то разбухал от народа в ланч-тайм до максимума, то сокращался, как сейчас, в четыре утра, до минимума. Поддержанный щекастый черный в пилотке и фартуке спал себе в кресле у бака с кофе, но тотчас привычно проснулся. “Гуд монинг, ёрли бойз”\*, — сказал тип.

“Гуд монинг, спящий красавец!” — грубо ответил Борщаговский. Меня восхищала легкость, с какой Борщаговский адаптировался в новом мире. Он жил в Соединенных Штатах столько же времени, сколько и я, однако прекрасно вписался в город как ви-

---

\* Доброе утро, ранние ребята.

зуально (жирный, сильный и бесформенный), так и со звуковым оформлением все было у него в порядке. Он знал, может быть, лишь несколько сотен английских слов, но оперировал ими с наглостью и грубостью. Станным образом не возникало ощущения того, что он бывший советский, но само собой определялось: вот тип из Бруклина или Квинса.

Если крысы Нью-Йорка, я знал, подразделяются на два основных подвида: серую обыкновенную и “браун”-большую, то, несправедливо перенеся это же подразделение на человеческие существа, возможно классифицировать Борщаговского как “браун”-большого. Я подумал, что Нью-Йорк, получается, очень провинциальный город, если типы вроде Борщаговского чувствуют себя здесь на месте, вписываются...

Черный дал нам кофе и каждому по тяжелому изделию из теста, посыпанному сахарной пудрой, как рожа старой красавицы. Изделие было жирным, как свинина, и сладким, как копченый финик. Откинув капюшон парки, Борщаговский вгрызся в мякоть. Поглядев, как он жрет, некрасиво, но с наслаждением, я, вернувшись к своим мыслям, решил, что, по-видимому, Нью-Йорк по своей психологической структуре ничем не отличается от Киева. А Борщаговский явился из Киева. Я посетил когда-то Киев два раза и был поражен жопастой сущностью города — столицы Украинской республики. Детство мое и ранняя юность прошли в Харькове, бывшей столице этой республики. Харьков был скучным университетским и заводским городом, но я всегда находил его тоньше, неврастеничнее и интеллигентнее Киева. Харьков переживал жизнь, нервничал. Киев самодовольно нагуливал жиры над Днепром: жители были толще и спокойнее.

“Нью-Йорк не похож на твой Киев, как ты считаешь?” Я съел треть изделия и остановился отдохнуть.

“Не знаю, маленький, я не психоаналитик... Дался тебе Киев. Дела надо делать, а не философствовать. Нашел бы мне лучше богатую шмару. Я бы тебя впоследствии отблагодарил...”

“Ты же знаешь, Давид, вокруг меня одни пэдэ...”

Он захохотал так же грубо, как жрал до этого. “Пэдэ, маленький, очень любят дружить с богатыми старушками. А мне и нужна богатая старушка, я же тебе объяснял”.

Я нравился Борщаговскому. Он начал с того, что объявил себя поклонником моего журналистского таланта. “Забияка этакий,



хулиган!“ — хлопал он меня по плечу, приходя в “Русское дело“ давать какие-то подозрительные объявления. И, наклоняясь к моему уху, шептал так, чтобы не слышали другие сотрудники: “Учи английский и вали из этой богадельни на х...! Далеко пойдешь... У тебя размах есть. Как и у меня, безуминка в крови...“ Что-то общее между нами, несомненно, было. “Безуминка в крови?“ Мы таки были слегка безумны, я и этот упитанный еврей, лишь по-разному. Иначе почему бы он со мной общался. А он общался. И однажды даже устроил для меня и моего приятеля Львовского богатый обед, кормил нас икрой и поил водкой. Ни я, ни Львовский никому на х... были не нужны, нас обоих к тому времени выставили из русской эмигрантской газеты, а вот Борщаговский почему-то интересовался изгоями. Львовский было предположил, что “жирный Давид стучит для ФБР“, но под давлением моих насмешек вынужден был снять обвинение. “Кто мы такие, Львовский, в конце концов? Устраивать нам вечера с икрой и водкой, чтобы выяснить наше мировоззрение? Да мы с вами выбалтываем его каждый день добровольно по десятку раз кому угодно... Борщаговский сам чокнутый, потому его к нам тянет. Только он веселый и положительно чокнутый, а мы с вами серьезные и отрицательно чокнутые...“

Случайная встреча в тяжелую метель в четыре утра лишь подтверждала, что между нами много общего. Он и я сошлись у Карнеги-холл, в то время как одиннадцать миллионов жителей Большого Нью-Йорка почему-то не выбежали на этот угол.

Борщаговский взглянул на часы и допил кофе. Неожиданно физиономия его сделалась счастливо изумленной. “Слушай, маленький! Ты мне как-то говорил, что познакомился через твоих балетных пэдэ с Барышниковым. Или я что-то перепутал?“

“Не перепутал. Познакомился. И даже на репетиции “Щелкунчика“ был, он меня приглашал. А что такое?“ — “А то, что можно заработать большие мани. И тебе, и мне... Слушай меня внимательно... Ты когда Барышникова увидишь?“ — “Не знаю. У меня есть его телефон, и он заходит к моим друзьям довольно часто... Скоро, наверное, увижу. А в чем дело?“

“Узнай у него, не нужен ли ему орден?.. Денег у него невпроворот, должность есть, теперь ему наверняка хочется иметь награды... Поговори с ним... Лучше не по телефону“.

“Что ты имешь в виду?“

“Что имею, то и введу, — загоготал Борщаговский. — Ордена я имею в виду. Например, Мальтийский крест, или там Орден Подвязки, или...”

“Георгиевский крест, — подсказал я. — Ты что, в арт-диллинг перешел? Антиквариатом торгуешь?”

“Ты не х... не понял, маленький, — сказал он ласково. И плюнув на зеленую пятерку, прилепнул ее к прилавку. — Новый, что ни на есть заправдашний Мальтийский крест может Мишаня поиметь, если захочет выложить определенную сумму. С бумагой, как положено, удостоверяющей, что он — кавалер ордена... Мальтийский крест — 50 тысяч долларов, Орден Подвязки — тот подороже будет... Фули ты на меня вылупился, думаешь, Борщаговский с ума соскочил? Нет, маленький, просто у меня связи появились. Давай, сумеешь загнать Барышникову орден, десять тысяч из пятидесяти — наши. Пять мне — пять тебе. По-братски. А если за шестьдесят загонишь — двадцать тысяч наши! Ловкость рук и никакого мошенства...” Он опять взглянул на часы: “Ой, бля, мне надо валить. Я завтра тебе в отель позвоню, идет?”

Мы вышли в метель.

Прыгая по Централ-парк-Вест к отелю, я думал, что могу попросить Лешку Кранца познакомить меня с Нуриевым. Лешка был когда-то его любовником. Пять тысяч с Барышникова, пять с Нуриева — я смогу снять квартиру и перебраться наконец на следующую ступень социальной лестницы... А может, Борщаговский заливает? Вряд ли... Он, конечно, любит помечтать, и у него остается достаточно нереализованных проектов, но многие он реализует. И мани какие-то у Борщаговского всегда есть. И квартиру на 51-й улице и 9-й авеню он сумел выбить от Сити-холл\* бесплатно, как “артист”. Живет теперь в современном билдинге с элвейтером и двумя дорменами на каждый подъезд. Правда, в этом билдинге полно черных и даже пуэрториканцев, но все они “артисты”, а не просто черные и пуэрториканцы. И опять же — центр Манхэттена, а не у х... на рогах... Нет, Борщаговский умеет делать дела и зря физдеть не будет. Каким, однако, образом он достает ордена? Для этого нужны связи с правительствами. Ведь ордена даются правительствами. А может быть, за этим скрывается мошенничество? Скажем, я уговорю Барышникова купить крест, а

\* Мэрия.

грамота, или какой там документ сопровождает крест, окажется подделкой? Бланк, например, подлинный, но украден?..

Размышляя над всеми этими проблемами, я поднялся в грязном, как опорожненный мусорный бак, оцинкованном элевейторе на свой десятый этаж отеля “Эмбасси“. Из многих комнат просачивалась громкая музыка. Черные обитатели отеля и не думали еще ложиться. В то время как в белых домах пригородов уже звенели, очевидно, первые будильники...

Разбудил меня звонок телефона. “Да...” — пробормотал я.

Бодрый голос Борщаговского заорал зычно и сильно в мое сонное ухо: “Ты совесть имеешь, бандит... Давно, е... твою мать, следует звонить Барышникову, дело делать, а ты в кровати телишься...”

“Не ори, Борщаговский, — попросил я, — по утрам у меня уши хрупкие...”

“Чтоб был в десять вечера сегодня в... — он помедлил, обдумывая где, — ...в том же кофе-шопе, где мы кофе ночью пили. О'кей? Хозяин хочет видеть тебя. Хочет с тобой побеседовать. И получишь плакаты...”

“Какой хозяин, какие плакаты?”

“Не задавайте лишних вопросов, товарищ. Подробности объясню при встрече“. Хохоча, злодей положил трубку.

Никакого Барышникова, конечно, дома уже не было. На звонок ответила строгая женщина, убиравшая его квартиру на Парк-авеню: “Он с восьми утра на репетиции“. Ясно было, что Барышников встает рано, дабы тренировать свои ноги. Они ведь приносят ему мани. Барышников был обязан заботиться о своих ногах.

С предосторожностями мы приблизились к нужному дому на 7-й авеню. Борщаговский несколько раз огляделся, прежде чем войти в дом. В холле, довольно запущенном, дормена не обнаружилось. Не взяв элевейтор, мы стали взбираться по лестнице. Он впереди, пыхтя, я — сзади. На мое предположение, что он опасается закона и, следовательно, мы совершаем нечто криминальное, Борщаговский обругал меня.

“Дурак ты, маленький... Закон не запрещает давать ордена известным людям. Дело лишь в том, что Хозяин — важный человек, и он не хочет быть скомпрометирован связями с такими подонками, как мы с тобой“.

“Я не считаю себя подонком”, — возразил я, обидевшись.

“Хорошо, маленький, считай себя, кем ты хочешь. Только, пожалуйста, никому не п...и о том, что увидишь. Хозяин — важный католический церковный чин, что-то вроде архиепископа будет, если на шкалу рашэн ортодокс церкви перевести. Ему связи с жидами и анархистами противопоказаны”.

“Ты, значит, жид, но почему я анархист?”

“А кто ты, маленький? — ласково спросил он и даже остановился, чтобы взглянуть мне в лицо. — У тебя ни х... нет, и висит плакат с лозунгом Бакунина над кроватью: “Дистракшэн из кри-эйшэн”. Анархист, кто же еще...”

На пятом этаже мы остановились. Ближайшая к нам дверь тотчас открылась. Очевидно, к нашим шагам прислушивались за дверью. “Входите быстро”, — сказал голос. Мы вошли. В темноту.

За нами закрылась дверь. Вспыхнул свет. Из-за спины Борщаговского вышел человек. Поношенный черный костюм, черная рубашка с куском белого целлулоида под горлом. Седые короткие волосы. Лицо загорелое и морщинистое. Сильные серые глаза. “Вас никто не видел на лестнице?” — спросил он.

“Нет, юр экселенс, — сказал Борщаговский. — Ни одна собака”. Взяв меня за плечо, Борщаговский развернул меня: “Вот этот парень, о котором я вам говорил, экселенс”.

“Экселенс” поморщился: “Я неоднократно просил вас, мистер Борщаговски, называть меня Стефаном...”

“Ай бэг ю пардон...” — Борщаговский выглядел очень смущенным. Об этом свидетельствовала даже не свойственная ему интеллигентная формула извинения. Он замолчал. Вслед за “экселенсом” мимо книжных шкафов мы прошли в высокую залу. Я понюхал воздух. Пахло как в музее. Нежилым помещением.

“Садитесь, янг мэн”, — обратился ко мне “экселенс” ласково. И, выдвинув один из восьми стульев, вдвинутых под массивный стол с мраморной крышкой, указал мне на него. Сам он сел на такой же стул, но во главе стола. За спиной его оказалась стена с барельефом. Да-да, настоящий барельеф и, может быть, из мрамора, изображающий две скрещенные руки — одна сжимала меч, другая — свиток, очевидно, по идее скульптора, — папирус. “Что бы это значило? — подумал я. — Барельеф, стол... У них что тут? Молельная? Зал заседаний?..”

“Мистер Борщаговский, очевидно, объяснил вам суть дела. Но

чтобы у вас не сложилось неверного впечатления о характере деятельности, которой мы занимаемся, — “экселенс” перевел взгляд на Борщаговского, и глаза его сделались злыми, — я хотел бы объяснить вам наши цели. Когда вы станете говорить с известным танцором Барышничкофф, молодой человек, он, естественно, задаст вам вопрос: “А кого вы представляете?” Вы можете объяснить ему, что мы представляем фанд-рэйзинг отдел\* организации, называемой “Союз свободных церквей”. Наша цель — добывание фондов для организации. Может быть, манера фанд-рэйзинг покажется вашему другу Барышничкофф необычайной, но заверьте его, что мы находимся в пределах легальности. У нас очень сильные связи в правительствах стран мира, и, как видите, мы стараемся употребить их на пользу, а не во вред...”

Я хотел было разочаровать его, что Барышничкофф, с его двумя “фф”, не мой друг, что мы всего лишь знакомы, но не успел. “Экселенс” включился опять.

“Союз свободных церквей стремится к объединению церквей мира, к слиянию религий в одну, к преодолению разобщения, к уничтожению религиозных распрей...”

Борщаговский улыбнулся половиной лица, обращенной ко мне, и подмигнул мне соответствующим глазом.

“...таким образом, удовлетворяя тщеславию богатых и сильных мира сего, мы, однако, преследуем благие и праведные цели...” — закончил “экселенс”. Он пристально посмотрел на меня, и я почувствовал его сильный взгляд давлением на лобной кости. Может быть, он хотел прочесть мои мысли?

“Я хочу продемонстрировать вам, что мы можем предложить мистеру Барышничкофф”. Он взял со стола колокольчик и коротко прозвонил.

Одни из дверей открылись, и вошел пожилой тип в красной жилетке, белой рубашке с бабочкой и черных брюках. Лысый. Перед собой, прижав к животу, он нес длинный ящик. Поставил его на стол передо мной. Под стеклянной крышкой на черном бархате покоилась красивая шпага, старинная шляпа-треуголка и орден.

“Спасибо, Леон”. “Экселенс” встал и приблизился ко мне. “Видите — четыре расширяющиеся к концам ветки. Мальтийский

---

\* Собрание финансовых средств.

крест. Редкая и ценящаяся знатоками награда. Черчилль имел Мальтийский крест...“

“Наш император Павел Первый был магистром мальтийских рыцарей, — вспомнил я. — Кажется, последним. Рыцари избрали его, надеясь, что он поможет им освободиться от французов“.

“Неплохо, — одобрил мои знания “экселенс“. — Именно поэтому моей первой же идеей было предложить вашему соотечественнику Барышничкофф именно Мальтийский крест. Я предположил, что, русский, он должен знать историю Павла Первого и рыцарей Мальтийского креста. Комплектом к ордену служат шпага и треуголка. Как вы видите, шпага убрана у рукояти полудрагоценными камнями, так что в дополнение к вещи, льющей его тщеславию, он получит еще и красивую вещь“.

Я представил себе маленького Мишу, пришедшего в гости к друзьям пэдэ — балетному критику Владимиру и танцору Лешке Кранцу, — со шпагой, волочащейся по тротуару Коламбус-авеню, по ступеням их лестницы до самого четвертого этажа, и улыбнулся.

“Экселенс“ истолковал улыбку по-своему. “Леон!“ Красножилеточной выступил из-за наших спин. “Орден Подвязки!“

Леон осторожно поднял ящик и унес его.

Продемонстрировав три ящика, “экселенс“ (ловко свернув их в трубочку и стянув резинкой) вручил мне десяток цветных плакатов с изображениями орденов и выставил нас с Борщаговским за дверь. За нами защелкнулось несколько замков.

“Во, бля, жулик! — воскликнул Борщаговский, когда мы оказались на улице. — Фанд-рэйзинг, как же, на х...! Мани он кладет себе в карман. Я вот жулик, так я этого не скрываю и горжусь этим. А он, падла религиозная, под благородного честнягу подделывается, спасителя человечества! Все они одинаковы, маленький, что поп, что прист, что рабай, ну их на х... всех...“

“Я так понимаю, что он не для меня старался, но чтобы я пересказал его речь Барышничкову... А что это за тип был в красном жилете? Слуга его, что ли?“

“Батлер“ он его называет. И “кадиллак“ он жулику водит. У меня такое впечатление, что когда оба помоложе были, то веселые ребята в одной постели спали. Ха-га. К шестидесяти страсти поухтихли...“

Мы расстались с Борщаговским на углу у кофе-шопа. Там же, где встретились. Под цементным козырьком Карнеги-холла собирались уже к вечернему концерту зрители. Крупная афиша с физиономией Ростроповича обещала его концерт через две недели. “Вот еще кандидат в орденосцы, — заметил я. — Я знаком с одной из его дочерей...”

“Этот? — Борщаговский расхохотался. — Да он за сто долларов удавится... Жадный, говорят, невероятно. Тщеславный, да, но жадный. Впрочем, можешь попробовать. Десять тысяч наши с тобой”.

Когда я вышел на Бродвей, пошел дождь, и мне пришлось спрятать плакаты под кожаное пальто.

“Барышничкоффа“, очевидно, не было в Нью-Йорке, потому что на телефонные звонки никто не отвечал, в квартире моих приятелей на Коламбус он не показывался, потому мне пришлось поделиться моим бизнес-предложением с Володей. Он презрительно высмеял затею “достать Мише орден“. (О десяти процентах, причитающихся мне с продажи, я благоразумно умолчал.)

“Чтоб Мишаня, с его славой, покупал себе орден! Ты совсем свихнулся, Лимонов, от жизни в окружении черных, живя с ними в одном отеле... Да Мишке, куда бы он на гастроли ни прилетел, везде награды и титулы сыпятся. Да у него от подарков, кубков и медалей шкафы лопаются. За кого ты его принимаешь? Он что, разбогатевший внезапно торговец готового платья из Бруклина?“

“Но Мальтийский крест, Володя, такая редкость, на дороге не валяется, а? Что тебе стоит, спроси... Вдруг он как раз о нем мечтает...“

Володя сказал, что бесплатно он лично взял бы Мальтийский крест, но что Мишке он на х... не нужен, однако обещал спросить. “Только из симпатии к тебе, Лимонов, вообще же это жуткая глупость“.

Через пару дней, придя на Коламбус-авеню, я застал там Барышникова и сам спросил его, не нужен ли ему Мальтийский крест.

“За пятьдесят тысяч? — расхохотался суперстар. — Володя мне говорил. Нет, Лимонов, дудки, дураков нет. Ты лучше мне

разведай, не продает ли кто-нибудь дом в Коннектикуте? С бассейном? Я хочу дом купить“.

Я знал, что у него уже есть дом в апстэйт штата Нью-Йорк. Зачем ему еще один?

Меня отвлекли от спекуляции орденами другие дела, и скоро я о них забыл. Плакат с изображениями Мальтийского креста, шпаги и треуголки и поясняющими историю ордена надписями еще долго висел у меня в “Эмбасси“ ниже “Дистракшэн из кри-эйшэн“, напоминая о несостоявшейся афере. Покидая отель, я оставил его на стене.

Через несколько лет, сидя на кухне миллионерского дома, располневший и успокоившийся слуга мировой буржуазии, лениво перелистывая “Нью-Йорк пост“, я увидел знакомую физиономию. Седого человека в черном костюме и с пристовским белым пятнышком под горлом держали под руки двое полицейских. Кисти седого соединяли наручники. “Арест лжеепископа“ — гласил заголовок.

“Джозеф Залесски, алиас “епископ“, “экселенс“, “прист“, он же “Стефан“ и пр. (единственной его принадлежностью к религии является то обстоятельство, что его отец, Залесски из Варшавы, действительно был прист). Мошенник интернационального масштаба арестован вчера вечером в своем манхэттенском апартементе на 7-й авеню...“ Далее репортер на целую страницу с явным восхищением смаковал подвиги лжеепископа. Среди прочих упоминался и нелегальный бизнес продажи орденов. Однако мельком и без деталей. Сказано было, что “Залесски использовал для получения орденов свои обширные связи внутри “форейн гавернментс“ и в Ватикане“. Фамилий репортер не назвал.

Борщаговский на многие годы пропал из виду.

Несколько месяцев назад, подняв телефонную трубку, я услышал его голос: “Здорово, маленький! Ты ведь знаешь Евтушенко, да? Мне нужен кто-нибудь в Москве влиятельный, чтобы уговорил приехать Аллу Пугачеву на гастроли в Америку...“ Словно мы разговаривали в последний раз не десять лет назад, но вчера.

Оказалось, что Борщаговский теперь делает деньги на том, что выписывает в Соединенные Штаты советских артистов. “Экселенс“, маленький, скончался в тюрьме несколько лет тому назад, — ответил он на мой вопрос. — Один известный американский режиссер, извини, забыл фамилию, но это не моя область



деятельности, в своей области я никого не забываю, снимает о его жизни фильм. В начале будущего года фильм выйдет на экраны... Надо бы встретиться? Я здесь проездом. Я тебе позвоню завтра утром, маленький“.

Но так и не позвонил.

## THE NIGHT SUPPER

Человек я одинокий, и развлечения у меня одинокого человека. И даже живя с несколькими женами, я был и остаюсь одиноким.

Прилетев в Нью-Йорк через десяток лет после первого приземления, я поселился из любопытства в том же отеле “Лейтэм“, в котором провел мою первую ночь на американском континенте — ночь с 18 февраля 1975 года; и ходил по его коридорам, сомнамбулически гурманизируя прошлое. Старым друзьям я не позвонил. Теплые чувства к ним жили в глубине моего сердца, но видеть их мне не хотелось. Я люблю, чтоб персонажи моей прошлой жизни смиренно сидели на местах, а не путались под ногами, неуместно выскакивая вдруг в настоящем.

Оказавшись в городе моей второй юности, я, сам этого, возможно, не сознавая, сместился в сторону привычек того времени, и даже расписание мое сделалось таким же разорванным, судорожным и хаотическим, каким было в те годы. Я вдруг просыпался в два часа утра, одевался, спускался в Нью-Йорк и бродил по улицам до рассвета. На рассвете я покупал в супермаркете пакет пива, изогнутый буквой “П“ кусок польской колбасы и шел в отель. Я включал теле, ложился в кровать, пил свои шесть банок и съедал колбасу. Якобы уже вареная, колбаса эта, подозреваю, была изготовлена из чистых гормонов, во всяком случае, она была ядовито-розового цвета, если ее раскусить. Такими же ядовитыми, розовыми и зелеными были цвета на экране старого теле.

Лежа в “Лейтэме“ с пивом, теле и польской колбасой, я с удовольствием обнаружил, что я абсолютно счастлив. Стюпид шоу\*, которые нравились мне когда-то, по-прежнему продолжа-

---

\* Глупые шоу.

лись или повторялись, и я без труда сориентировался в несколько дней, кто есть кто в новых шоу. То, что шоу — стьюпид, вовсе не мешало мыслям, возникающим у меня по поводу них, быть серьезными и глубокими мыслями. Глядя на упитанные физиономии героев, я беззлобно думал, что америкэнс смахивают на пришельцев из космоса. Что у них куда меньше морщин, чем у европейцев, что если европейское лицо — это жилистый кусок мяса, разветвляющийся на подглазные мешки, западения щек, сумки у рта и ушей, то американская физиономия — более общий, дженэрализэ кусок мяса. Не отбитый историей, не усугубленный тонкими узорами культуры голый и бесстыдный муляж. Я вспомнил фильм о бади-снатчерс\*, о пришельцах из космоса, которые есть клонс\*\* людей, но не люди. Если присмотреться к актерам “Династи” или “Далласа” (я называю их здесь не для того, чтобы презрительно осудить с позиций чванливого интеллигента, но по причине того, что шоу эти знает весь мир, и каждый сможет проэкспериментировать), то легко заметить нечеловеческую гладкость лиц, нечеловеческие здоровые волосы без изъяна, какими бывают или искусственные парики, или подшерсток у хорошо откормленных кастрированных собак. Еще телеамериканцы похожи на заколотых инсулином психбольных. (Спокойные гомункулусы — инсулиновые больные — окружали меня много лет тому назад в Харьковской психбольнице. Так что я знаю, о чем говорю, — предмет исследования.) Наши американские бразэрс\*\*\* выглядят как пипл\*\*\*\*, но если распотрошить, скажем, ногу или руку (как в фильме “Экстэрминэйтор” — робот Шварценеггер “ремонтирует” себе руку), то не обнаружатся ли механический скелет и электронные печатные схемы, как в компьютере? К счастью, реальные жители американских городов и поселений менее гладки, чем телеамериканцы.

Весь тот день было жарко. Но к вечеру сделалось прохладнее, и после наступления темноты еще прохладнее. Ветер сдул теплые облака с небес над Нью-Йорком, появилась большая луна — и вся природа сложилась в подобие осени. Подобная прохладность пришлось не в сезон, обыкновенно начало сентября в Нью-Йорке

---

\* Похитители тел.

\*\* Копии.

\*\*\* Братья.

\*\*\*\* Люди.

влажно-тяжелое и горячее, потому я чувствовал себя странно. Около полуночи я обнаружил себя на Бродвее, в мидлтауне, в баре. Джазовая певица пела, сидя за пиано.

Я выпил в полутьме несколько “гиннесов” один за другим и попытался заговорить с певицей. Певица меня отвергла. Происшествие это не выстрелит, как ружье у Чехова в последнем акте, однако оно задало тон вечеру и ночи. Почувствовав себя символически отвергнутым, не только певицей, но и Нью-Йорком, я воспылал желанием быть принятым обратно в лоно родного города, и желание привело меня, вы увидите куда. Причина отказа была сформулирована певицей в столь откровенной форме, что я позволю себе процитировать нашу короткую беседу. На мой вопрос: когда она заканчивает петь, и не могу ли я предложить ей дринк уже в другом баре, — высокая девушка извлекла из сумочки очки в красной оправе (была пауза антракта), надела их и серьезно, без улыбки, в очках, сказала: “Сорри, нет. У меня достаточно мужчин в моей жизни. Один постоянный бойфренд и трое — нерегулярные. Если бы ты был в шоу-бизнесе, ты мог бы мне помочь вылезти из этой сырой дыры, — она пристукнула каблуком опилки пола, — но ты даже не американец. Я уверена, ты хороший мужчина, но я устала от мужчин“. Она сняла очки и спрятала в сумочку. Я сказал, что я лишь имел в виду пригласить ее на дринк, потому что мне понравилось, как она, белая девушка, блистательно исполняет репертуар Билли Холлидэя. “Ну да, весь репертуар заканчивается в постели“, — сказала она устало. Кто-то сделал ей что-то очень нехорошее в постели, подумал я, потому она теперь враг всех постелей.

Я вышел из бара и повернул, не думая, вверх по Бродвею. Дело в том, что я жил там, выше по Бродвею, в 1977-м. Ноги сами понесли меня привычно к отелю “Эмбасси“. Я уже побывал там в этот приезд. Я знал, что из прекрасно разрушенного вонючего отеля, населенного несколькими сотнями бедняков (все были черные, кроме Лимонова), некие японцы, купившие здание, сделали дорогой и глупый апартмент-комплекс “Эмбасси-Тауэр“... Дойдя до 72-й стрит, я затоптался на ее Ист-углу... Затоптавшись, я подумал, что выше шагать по Бродвею нет смысла, что я нуждаюсь в пиве как минимум и, может быть, в полукруге польской колбасы. “Гиннес“ в пиано-баре вообще-то мне, по моим ресурсам, не полагался, тем более три “гиннеса“... Если я куплю колбасу и пиво, расходы не сбалансируются, но я хотя бы оста-

новлю процесс — губительную расточительность. Я могу вернуться по Бродвею на несколько улиц ниже — там у пост-офиса Анзония есть супермаркет “Ай энд Пи“, открытый всю ночь. Очень может быть, однако, что его уже нет.

Супермаркет был на месте и был открыт — весело желтели его мутные пуленепробиваемые стекла. Растроганный, я вошел в моего старого друга. В лицо мне пахло привычными нечистыми запахами... Несчетное количество раз покупал я в нем ночами “м о е м е н ю“ — колбасу, пиво, гадкий дешевый гамбургер-фарш, похожий на хлопковую вату хлеб... Все тот же жирный мексиканец-гард с дубинкой (он или не он?). Он сплетничал с черной кассиршей, тот же (серо-зеленолицый) менеджер прохаживался, поправляя тележки, низкий живот раздувал те же штаны. Те же запотевшие под пластиком ярко-красные фарши предлагали себя в гамбургеры. Суперизобилие дешевой, нездоровой еды, грубо упакованной... Рай для бедняков. Заледеневшие глыбами льда куры, из-под мясной витрины течет по кафелю грязная вода. О, супермаршэ моей нью-йоркской юности, тебя не перестроили, как “Эмбасси“, ты остался таким же неопрятным, нездоровым заведением, каким и был. Обыкновенно мои соседи по “Эмбасси“ — вэлфэровцы-алкоголики пробирались, качаясь, в это время ночи меж твоих дешевых чудес, выбирая какой-нибудь с ядовито-синей этикеткой “Малт-ликер“. Более состоятельное население прихлынуло к берегам Бродвея у пост-офис-стэйшен Анзония, меньше стало черных лиц... Супермаркет скоро перестроят, сделают стерильным и повысят цены...

Не обнаружив колбасы, я приобрел консервированную свинину в банке и пластиковый мешочек с булочками. У них продавался теперь хард-ликер!\* В отдельном загончике, чуть ли не с пуленепробиваемыми стеклами. В мое время лишь пиво и убийственные мальт-ликеры предлагали вниманию потребителя. Я вскользь подумал о причине пуленепробиваемых стекол (ребята из Гарлема совершают набеги на алкоголь открытого всю ночь супермаркета? Маловероятно...), приобрел бутылку портвейна и, рассеянно сложив покупки в браун бэг\*\*, покинул супермаркет.

---

\* (Букв.) Твердые напитки (то есть крепкие).

\*\* Плотный бумажный пакет, в которые в супермаркетах складывают покупки.

Ночь стала еще ночнее. Я подумал о долгих сорока блоках, отделяющих меня от отеля “Лейтэм”, отмел решительно гипотезу путешествия в сабвее как непривлекательную, ощупал бутылку портвейна в браун бэг, смял пакет вместе с булочками и решил, что устрою себе ночной саппер\* на природе. Пикник. Где? Если не полениться и повернуть с Бродвея к Централ-парку, можно отлично расположиться на траве и иметь саппер под поэтической нью-йоркской луной. Вспомним молодость — тряхнем стариной...

Здесь я позволю себе отступление, касающееся истории моих отношений с Централ-парком. Разумеется, нью-йоркцы боятся ночного парка и не бродят в нем по ночам. (Самая северная часть его, граничащая с Гарлемом, мало посещается или вовсе не посещается белым человеком даже днем, то что уж говорить о ночи...) Я — особый тип. Страх мне знаком, как всем, но я всегда рвусь нарушить запреты. И всегда рвусь доказывать себе и другим свою храбрость. Первый раз пересечь Централ-парк ночью толкнула меня, впрочем, не храбрость, но крайняя усталость. Я крепко выпил у приятеля Бахчаняна на Ист 83-й, и, не имея денег на автобус или метро (обыкновенно я возвращался от этого, часто посещаемого мной в те годы приятеля, огибая Централ-парк по периметру, то есть спускался по Ист-сайду до 59-й — она же Централ-парк сауф, шагал по ней на Вест и затем поднимался по Вест до “Эмбасси”), решил: а почему нет? Я перебрался через каменный забор парка (можно было войти в одно из отверстий, всегда открытых, но я предпочел через забор, как подобает вору-бандюге, на случай, если кто-нибудь увидит меня) и пошел на Вест, прямо от дерева к дереву, от куста к кусту, открыто, с шумом. Как подобает идти бандиту, аборигену, хозяину территории. Внутренне я убеждал себя: “Эдвард, это ты злодей, ночная суровая фигура, беззаботно гуляющая по своей территории. Это ты самое страшное существо в ночи, цели твои неизвестны или непредсказуемы. Тебя должны бояться...” Запоздалый велосипедист, возмущенно поверив в мои заклинания, испуганно отвилнул от обочины и, пристроившись к нескольким такси, пересекающим парк с Иста на Вест, нажал на педали. Возможно, меня и впрямь следовало серьезно опасаться, такого, каким я был в 1977 году? А был я в кризисе,

---

\* Ужин.

мне нечего было терять, и я еще ничего не нашел... Обнаглев, я стал пересекать парк всякий раз, когда случай вел меня ночью с Аппер Ист-сайда или на Аппер Ист-сайд. Всякий раз я испытывал определенный страх, но этот двадцати- или двадцатипятиминутный терилл сделался необходимым мне...

Вспоминая свои прошлые подвиги, улыбаясь своей безрассудности, я вышел к парку в районе 70-й стрит. Браун бэг в руке, белые джинсы, сапоги, светлый пиджак. Не озираясь, не выбирая момента, я прошел к скамье, ступил на сиденье, затем на ребро спинки скамьи и с нее — на ограду Централ-парка. И решительно прыгнул вниз. Относительно невысокая со стороны улицы ограда, однако, удлинялась на пару метров внутри парка. Земля оказалась дальше, чем я ожидал. На мое счастье, слой травы, на которую я приземлился, оказался упитанным, как живот среднего американца.

Однако там было хорошо. Луна. Острые, несмотря на перекрывающий все запах городской пыли с бензином, запахи начавших чуть подгнивать растений. Бал-маскарад деревьев, тень каждого глубока и непроницаема. Шурша травой, я зашагал...

Далеко, однако, я углубляться не стал. Остался на знакомой территории. Со стороны 72-й стрит (там на углу Централ-парк Вест возвышается крепость апартамент-билдинг "Дакота", в ней жил Джон Леннон, и у стен "Дакоты" его и шлепнули) звучали барабаны. У ярко освещенного входа в парк со стороны 72-й в мое время сидели местные собаководы и местные атлеты, перебрасываясь шутками и переругиваясь. Мы, люди из "Эмбасси", тоже посещали этот пятак. Именно наши люди приходили с барабанами и устраивали африканскую музыкальную ночь. Кто стучит сейчас? Переселенные куда-нибудь на 150-е улицы, бывшие "наши" приезжают с барабанами на пятак? Иметь аккомпанементом ночного саппера родные звуки родных там-тамов показалось мне необходимым. "Может, ты боишься, Эдвард? — спросил я себя, войдя под необыкновенно развесистую сосну. — Ты перешел в высший социальный класс и боишься развлечения прежнего социального класса, жмешься поближе к выходу?.."

Ствол сосны находился на склоне небольшого холма, а часть кроны ее, могучие ветки, отдельное как бы дерево склонилось вниз

и стлалось по траве, защищая меня с фронта от, предположим, досужих взглядов. Вдохнув сосновость, я опустил браун бэг в траву. Желая глубже ощутить сосновость, я сорвал, уколотившись, ветку и, растерев несколько иголок, понюхал их.

— О, как хорошо!

Я почувствовал себя дачником на отдыхе и расхохотался. С первым глотком портвейна мне сделалось еще лучше...

Я запутался с открыванием банки. С ненужной силой потянул за кольцо, в результате только часть металлической кожи снялась с нее, лишь небольшая щель открывала доступ к содержимому. Пришлось, очистив от иголок ветку, выковыривать свинину липкими кусками. Свинина оказалась сладкой. Никогда не будучи гурманом, я всегда ел с аппетитом...

Устав от процесса выковыривания свинины, расщепления булок и жевания, я отложил банку на браун бэг, отхлебнул целую очередь глотков портвейна и откинулся к стволу. Помыкивали вдалеке стада автомобилей, смягченные расстоянием менее раздражающе звучали полицейские сирены, деревенский мир и покой царили в коллективе разлохмаченных растений. Сквозь хвою сосны на мой браун бэг, на изуродованную консервную банку и булочки падали капли лунного света. Если ветер смещал крону, то капли брызгали чуть в сторону, на траву...

Естественно, меня посетили воспоминания. Они всегда являются, если я располагаюсь удобно, и узурпируют настоящее. Воспоминания опустились на меня, как розовые облака, но невидимые, как радиация. Я прошелся мысленно к барабанам, а от них по Централ-парк Вест на 71-ю стрит. Там я работал с пожилым Леней Косогором несколько дней, устанавливая рентгеновский аппарат доктору... Фамилию доктора сжевало время. Установив, мы стали обивать толстым свинцом стены рентгеновской камеры... Зачем мне это воспоминание?.. Оказалось, что память, увлекшись металлами, искала свинцовые листы. Явились сквозь годы тяжелые свинцовые листы, их структура, царапины на них... Деревянный широкий круглый молоток опускался равномерно на черный лист, разминая его по поверхности стены... Следующим память облюбовала Леню Косогора. Сутулый и высокий Косогор, застегивает московское ватное пальто, мы идем по 71-й в направлении Бродвея — в Макдональдс... Внутренности Макдональдса на Бродвее: Косогор, раздевшись до рубашки, ест, хватая пальцами

“фрэнч-фрайс“\*, называет меня пиздюком, любя... Косогор опекал меня, как отец, и по возрасту годился мне в отцы... Где он теперь, Леня Косогор? Я вспомнил пещеру Косогора в бэйсменте\*\* в Астории, его инструменты... Надо бы ему позвонить, он хороший дядька... Я отхлебнул портвейна... И, укрепляя бутылку в траву, увидел, что скрытый от меня ветвями, стоит, заслоня лунный свет, человек...

Ужас — это не высшая степень страха, это особое состояние. Невозможно испытать ужас в кафе на пляс Републик в Париже, когда в постепенно разгоревшейся ссоре противник вынимает нож и угрожает вам ножом. Нормально испытать страх. Тип с ножом может оказаться серьезным типом и в конце концов пырнет-таки вас в брюхо. Или спрячет нож. Но вокруг вас другие человеческие существа, вдруг вмешается патрон, вы не очень верите в то, что он решится применить нож, к тому же вам, может быть, удастся метнуть в него бокал, ударить по ноге стулом. Вы не желаете уронить свое мужское достоинство, вы кричите на него, он оскорбляет вас... Если вам страшно, то никакого ужаса... Другая ситуация: война, вы лежите с другими солдатами, ожидая сигнала к атаке, у вас в руке автомат, его твердость ободряет вас. Даже если в следующую секунду в ваш режимент угодит прямым попаданием бомба, вы не успеете даже испугаться... Третья ситуация: вы попали в плен к какой-нибудь организации, и организация посадила вас в подвале, приковав к железному кольцу, — вы испытываете страх (редко, но заложников все же убивают), физическое неудобство, унижение... Но ваши похитители в масках приносят вам еду, вы даже можете разговаривать с ними, и ужас в таких условиях, когда все или многое ясно, образоваться не может. Для того чтобы испытать ужас, необходимы следующие условия: 1) Почти полное отсутствие информации об Опасности. 2) Ситуация, препятствующая получению информации об Опасности. 3) “Мистический момент“ — непредсказуемое нелогичное поведение Опасности (Зверя, Дракона, Монстра Франкенштейна, Больного Ума...), преследующего нечеловеческую цель...

Я испытал именно ужас. Он (Опасность) стоял молчаливый, в светлых брюках, белой рубашке... и с ножом. (Зачем ему голый

---

\* Жареная картошка.

\*\* Подвал.



нож в руке, какова его цель?) Большой, театральный какой-то, нарочито выразительный, как коса у Смерти на гравюрах, нож то бликовал, попадая под луну или звезду, или далекий фонарь, то темнел, почти исчезая. Он держал свой нож в левой руке у бедра, другая рука отклоняла ветку. Отклонив ветку, он глядел на меня.

Он мог быть бравым бизнесменом — шутником, выскочившим в ночь опасно развлечься из одного из дорогих апартамент-билдингов на Централ-парк Вест (маловероятно...), но что это меняло... Я застыл как кататоник, бутылка портвейна едва оторвана от рта, на уровне груди...

Он молчал, придерживая ветку рукой... И нож... Это был белый человек, и даже, по всей вероятности, блондин. Вполне вероятно также, что его блондинил зеленый подсвет, исходящий от травы и деревьев. Черты лица, так как луна была у него за спиной, были мне неразличимы. Рост средний, тело полное, или казалось полным от просторных рубашки и брюк... Я, словно кролик перед раскрывшим пасть боа, наблюдал за ним, загипнотизированный. Только потому, что мне не были видны его глаза, я нашел в себе силы и сказал громко: "Вуд ю лайк ту хэв а дринк\* со мной?" И я выпрямил руку с бутылкой в его направлении. Предложив ему выпить, я тотчас же сообразил, что совершу глупость, отдав ему бутылку, — мое единственное оружие против его большого ножа.

Он отпустил ветку, повернулся и, тихо шурша травой, ушел от меня в глубину парка. Он не хотел алкоголя, он не попросил, чтоб я отдал ему мани, он был из высшей, самой страшной категории — идеалист лунного света. Типы, не желающие ваших денег и не желающие вас изнасиловать, по всей вероятности, желают вас съесть... Иначе, зачем ему нож? Такой нож. Зарезать и съесть. Как я поедал только что свинину в желе. Под этой же сосной. Я почувствовал себя кроликом в клетке, которого, понаблюдав за ним, почему-то не выбрал для своего обеда хозяин... Следя за удаляющимся силуэтом, я поднес бутылку к губам и отсосал как мог много сладкой и крепкой жидкости. И попытался понять, испытывал ли я когда-либо в жизни подобное состояние. Мне пришлось спуститься к возрасту девяти лет — к возрасту раннего сознания. В большую, шумную грозу я вдруг ощутил, что умрут

---

\* Вы хотите выпить?

когда-нибудь мои родители и я останусь один. Участь человека сделалась мне понятна, ребенку, в ту грозу. Я разрыдался, помню, спрятав голову в темный шкаф в коридоре внутри квартиры, в нем хранились у нас старые одеяла и всякая ненужная или малонужная рухлядь. А гром сотрясал небо над харьковской окраиной. И мать явилась с кухни меня утешать. Почему именно в ту грозу посетил меня ужас? Но то был ужас совсем иного характера — ужас судьбы человека. Ужас будущей смерти — вообще идеи смерти...

От 72-й донесло запах дыма. Костер они разожгли там, что ли? И с той же волной воздуха передвинулись ближе барабаны. Я поднял банку и опустил пальцы в свинину. Липкое желе затрудняло удержание куска в пальцах. Вилку бы... Пожевав, я проглотил сладкое мясо... Вытер пальцы о траву. Пальцы пахли — я понюхал их — неожиданно рыбой. Очевидно, сентябрьская трава, соединившись с желе (бикарбонаты, хлоргидраты? что там?), дала запах рыбы... Централ-парк подрагивал всеми своими глубинами, и темными и светлыми пятнами, всеми оттенками зелени от слабо-салатного до темно-елового, всеми дистанциями, всеми геометрическими формами, вернее, бесформенностями. И тихо дуло понижу, по траве, мне в ноги. Словно где-то были открыты двери, как сквозит в большой квартире, квартира растянулась на полсотни улиц с севера на юг, и на десяток с запада на восток. Сквозило таким пронзительным ветерком... Ветром смерти?.. Этот тип, очевидно, безумен. Почему он бродит с... неразмерным ножом, похожим на театральный или кухонный? Почему выста ляет, а не прячет нож? Скажем, черные или пуэрториканские хулиганы — они любят тонкие ножи с выскакивающим изнутри лезвием. Или раскладывающимся, выталкиваемым пружиной с краю лезвием. Ножи пуэрториканцев похожи на пуэрториканцев — такие же тонкие и ловкие. Сам некрупный, я испытываю симпатию к пуэрториканцам? Может быть... Тип, он не пуэрториканец, силуэт не тот. Чокнутый белый человек, у которого в голове перепутались все проволоки. Случайно, противоестественно соединились, и, замкнувшись, он бродит по ночному парку без цели, копытным Минотавром, замкнутый. Одни провода мозга подсоединились к противоположным проводам. Только и всего... Однако...

За моей спиной на холме послышался хруст. Некто наступил на ветку в траве, на ветку, на пустой пакет из-под, на... Спина

моя отлипла от соснового ствола сама. Не вставая, оставаясь на корточках, я совершил ловкий поворот-пируэт, как Принц в "Спящей красавице", и увидел ЕГО. ОН стоял теперь надо мной, в той же позе, одна рука отводит сосновую ветвь от лица, в другой театральный нож. Ступни у меня сделались холодными, и пот выступил — я почувствовал — на икрах ног... Чтоб икры потели?! Я воспринял это странное биологическое явление как последнее предупреждение озабоченного самосохранением организма, я представил себя в виде машины, которая вот-вот разорвется: все стрелки всех манометров достигли красной черты и трепещут, и дергаются. Нужно было срочно спасти свою шкуру. Я встал и, подняв бутылку, не спеша вышел из-под сосны, раздвинув ее, стелющуюся по траве, крону. Я знал, что, если я поспешу (спина моя чутко отмечала давление его взгляда) к выходу, к 72-й улице, тип с перепутавшимися в голове проводами бросится на меня, потому что его зрачки (или какая там часть его глаза служит ему для регистрации) зафиксируют в моей спине страх. А его реакции настроены на страх. Определенная теплота, определенное количество страха "включает" его, и он тогда режет, скрежещет зубами, вырезает печень и пожирает ее, вырезает сердце и пожирает сердце... Я почему-то вспомнил, что капитана Кука съели, когда убедились, что он не есть Бог. И подумал, что, может быть, обреченная жертва, доставленная в пещеру к Минотавру, чувствовала нечто подобное, что чувствую я сейчас: один на один со злым (чуждым) мозгом в окружении скал, камней и деревьев... Идея человека преступна для кролика, курицы, для овец и коровы. Для них Человек — Злобный Дух. Минотавр преступен для человека...

Поколыхивая бутылкой, я направился не спеша в глубь парка. Туда, где было темнее и где запутанные асфальтовые тропинки медленно приведут путника через длину, равную длине тринадцати блоков на Централ-парк-Южная стрит. На улицу дорогих отелей и длинных лимузинов. Отец внушил мне накрепко в детстве, что от собак никогда не следует убегать. Типы с неправильно соединенными в голове нервами-проводами должны подчиняться законам инстинктов, сходным с законами инстинктов больших собак. Законам охоты.

Первые несколько минут дались мне нелегко. Когда взгляд его уже не мог достигнуть напрямую моей спины, ослаб с расстоянием, мою спину прикрыли ветви, кусты, даже скалы, углы скал

(Централ-парк находится на базальтовом плато. В дочеловеческие времена его процарапал, ползя по нему, ледник), мне сделалось легче. ОН не устремился за мной, потому что в его программе Цель, Добыча обладает другими характеристиками. Она (Цель, Добыча) мечется нервно, кричит, бежит от. Мои звуки и движения не нажали на его спусковой крючок. Я убежден в этом. Я убежден также, что, если бы я повел себя иначе, если бы мой страх был пойман его средствами, лежать бы мне под той сосной, пальцы в свином желе, птицы прыгают, доклеывая булочки, бутылка портвейна скатилась на асфальтовую тропинку, моя хорошего состава кровь впиталась бы в землю и склеила бы траву в пучки-колтуны, как шоколад склеивает волосы ребенка...

Подойдя ко все еще шумной и яркой в ночи Централ-парк-Южной, я почувствовал, что меня тошнит. Прислонясь к ограде, я извергнул ядовитую свинину, портвейн и булочки, облученные взглядом Больного Ума...

Существует научная теория, согласно которой все возможно лишь в строго определенное время. Если объяснить инцидент в Централ-парке согласно этой теории, получится, что я насильственно вторгся в новое время с поступком из старого времени и несовместимость между ними едва не уничтожила меня. В 1977 году я бродил по ночному Нью-Йорку, излучая иное биологическое поле — сильное и опасное. Силы же моего сегодняшнего поля (поля парижского писателя), несмотря на всю мою храбрость и опыт, едва хватило бы, чтобы оттолкнуть Больной Ум. В 1977-м Минотавр ко мне побоялся бы приблизиться. Один Минотавр к другому Минотавру.

МИХАИЛ КОЧЕТКОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ  
альманаху “КОНЕЦ ВЕКА”  
и работникам редакции

Пока меня не раскусили  
и не сослали за Можай,  
я на великую Россию  
гляжу с второго этажа.  
Я вижу всех пытливым оком  
царя Гороха-дурака,  
и даже старенького Бога,  
грустящего на облаках,  
я вижу Рябу-Кукарачу  
и Достоевского в слезах  
и алкоголиков на даче  
в дремучих Муромских лесах  
поляков, что завел Сусанин,  
Петра с усами на коне,  
Василиваныча с усами,  
и даже муху на говне.  
Да, велика Россия-мать!  
И вновь тобою обуян,  
здесь, на классической кровати,  
грустит поэт, хотя бы я,  
усыпан пеплом и паршою  
в халате с бабского плеча,  
болея телом и душою,  
лишь о тебе, моя печаль.  
В твоей семье не без уroda,  
ну, что ж, урода получай,  
я сын Папаши Всех Народов,  
я — внучек деда Лукича,  
мой братец — Серый Волк Тамбовский,  
а дядька — дядька Черномор,  
сестра — Аленушка, медсестры и  
все кривы, как на подбор...  
О, Боже мой, какая скука,

о, Боже, как не хорошо,  
здесь всяк на всяка смотрит букой,  
базуку прячет за душой,  
здесь не ножом из подворотни, —  
на Красной площади убьют.  
Уже не завтра, а сегодня,  
осталось несколько минут.  
Уже петух на Спасской башне  
двенадцать ку прокуковал,  
уже палач седой и страшный,  
орал в топор перековал.  
Меня убьют, как иноверца,  
под крики публики: “Убей!”  
И вылетит из горла сердце —  
помойный красный воробей.  
Эй ты, подобие цыпленка,  
лети отсюда далеко,  
туда, где хмурые подонки  
с руки не кормят мышьяком,  
туда, где скрученной железкой  
тебя навывлет не пробьют,  
лети, как крик последний детский,  
лети, лети, не то убьют.  
Пока меня не раскусили,  
к чему испытывать судьбу?  
И я по-англички, красиво,  
на тонких цыпочках уйду.  
Я ухожу, поднявши ворот,  
туда, где гаснут фонари,  
пока еще Великий Город  
лежит в развалинах перин.  
Пока палач, воюя с храпом,  
припал к подушке-блиндажу,  
я тихо-тихо тихим сапом  
по огородам ухожу.  
Так вот она, свобода злая,  
по огородам и межам  
бежать, как сука, как борзая,  
куда глаза глядят, бежать,  
ловя губами горький воздух,  
гнилых картофельных полей  
во весь опор, пока не поздно,  
бежать по Родине моей...  
Спасибо, Господи-Исусе,

что все закончилось добром,  
за то, что в этом захолустье  
позволил мне скрипеть пером.  
Спасибо, большего не надо,  
я дальше сам уж как-нибудь —  
перо, бумага и лампада  
мне дальше освещают путь.  
И на картофельном Востоке  
под колокольный перезвон  
взлетят мои больные строки  
гурьбой картофельных ворон.  
И все к чертям перевернется  
под крик архангельской трубы,  
петух на башне поперхнется,  
дурак в гробу перевернется,  
палач со страху промахнется,  
себе полпальца отрубив.  
Из тюрем грянут общим хором  
и арестанты, и конвой,  
когда вернусь я в этот город,  
вернусь, как царь и как герой...  
Вернутся сахарные горы,  
вернутся реки с киселем  
и будет вечен этот город,  
и вечно царствие мое.  
Я вернулся в этот город,  
здесь дома как-будто те же,  
только чуть пониже небо  
и мрачнее фонари  
я стою, поднявши ворот,  
и промокший, словно Леший,  
я жую горбушку хлеба,  
что мне нищий подарил.



КИРА АЛЛИЛУЕВА

# В ДОМЕ

## НА НАБЕРЕЖНОЙ

На серванте в маленькой однокомнатной квартире стоял портрет молодого военного. Черноволосого, с большими и необыкновенно печальными глазами. Прошло немало времени, прежде чем я узнала, что военного зовут Павел Сергеевич Аллилуев, что он родной брат жены И. Сталина и отец хозяйки квартиры — Кире Павловны Аллилуевой-Политковской, с которой давно и достаточно случайно я познакомилась. Мы часто виделись, много говорили о театре, телевидении, кино, ведь Кира Павловна, “Кируся”, как я ее ласково называю, была и остается страшной киношницей и заядлой театралкой. Но тема аллилуевской семьи, личности Сталина долгое время обходилась молчанием, пока однажды я не спросила — почему? Кира Павловна ответила: “Знаешь, мы столько пережили за свою фамилию... Много хочется просто забыть...” А затем хлынул настоящий поток литературы всех жанров о Сталине, его окружении, семье и быте Аллилуевых. Писали и те, кто на это, быть может, и прав-то не имел. Кируся, прочитав очередной опус, сердилась: “Ну зачем так писать? Ведь все было иначе”. Так я поймала ее на слове, и с вопроса: “А как было?” начались наши долгие, неторопливые многовечерние разговоры с распросами и рассказами о том времени и о людях того времени, среди которых выросла и жила эта необыкновенная, замечательная женщина, много страдавшая, много пережившая, но не утратившая ни оптимизма, ни любви к жизни.

Ирина ДЕШКОВА



— Моя мама, Евгения Александровна Земляницына, родилась в Старой Руссе. Там же, где родился Достоевский. В семнадцать лет ей хиромантка нагадала, что она очень скоро высоко поднимется, но так же, как высоко она поднимется, так же низко она и упадет. Мама посмеялась и забыла об этом. И вдруг, в 1918 году, приезжает молодой солдат, влюбляется в нее, она в него, и некоторое время погодя он ее увозит в Москву, которая делается столицей. Оказалось, что она приехала в Кремль, где живет все правительство. Вот таким образом первое, что нагадала гадалка, — свершилось.

Сначала дедушка и бабушка ее были учителя, а когда у дедушки умер отец, то по наследству к нему перешел сан священника, и он стал в Новгороде священником. Около кладбища была церковь, приход, там они и жили.

— Какой уклад был в доме у бабушки, вы знаете?

— Дедушка играл на скрипке, тетка, сестра его, пела хорошо. Это была очень музыкальная семья. И когда я появилась, я с самого детства слышала хорошую музыку. Кто-то на рояле играл, по-моему.

— Это мамина сестра, тетя Зина?

— Это маминого отца, я ее внучатая племянница. Я родилась в Новгороде.

— Что собой представлял ваш дом?

— Ну, этого я не помню. Я только помню какой-то зал большой. Как в провинциальных домах. Была большая зала, стоял рояль...

— Ничего себе — провинциальный дом...

— ...и там все собирались и делали концерты. Я еще не умела ходить, не умела говорить, но стояла в кровати и пела: "По Дону гуляет казак молодой..." Пела я тонким-тонким голосом.

— У вашей мамы были братья и сестры?

— Да, было три брата и одна сестра. Кто погиб на войне, а кто от ран потом умер. Все погибли.

— На Отечественной войне?

— Да, на Отечественной войне. Они все были молодыми. А тетка умерла от инсульта в сорок девять лет. Бабушка была в плену у немцев, ее отправили в Латвию. Но, к счастью, там была “голубая дивизия”, итальянцы. Она очень хорошо пела, и за то они ее взяли экономкой. Она осталась жива. А потом нам написали: “Есть у вас такая родственница?” Мама отвечает: “Да, это моя мать”. И она приехала после войны. Она была очень красивая, с синими глазами, седые волосы. Она в двадцать лет поседела.

— Почему?

— Такая пигментация. А мама, наоборот, в семьдесят четыре года была совершенно не седая. Мама говорила: “Господи, когда же я буду такая, как моя мама!” Очень ей было обидно, очень ей нравились синие глаза, бабушкины волосы...

— Отразился как-нибудь на судьбе тети Жени плен матери?

— Нет, не отразился... Бабушка уже была старенькая, ей было шестьдесят лет. Но характер у нее был очень упрямый. Мы тогда жили в Доме правительства. А тетка, мамина сестра, жила на Арбате. И бабушка, несмотря на то что у нее был инсульт, когда ссорилась с ней, переходила к нам через Каменный мост, потом ссорилась с мамой и шла обратно. Вот такой у нее был характер, дьявольский, можно сказать. Она тоже была учительницей в молодости, интеллигентная женщина.

Когда случилась революция в Новгороде, мама первая полезла и сняла портреты царя Николая, царицы. От нее никто не ожидал, она все-таки была поповская дочка.

Однажды сидела мама в клубе или в кино, у нее была такая коса, в кулак толщиной, вдруг повернула голову и увидела моего папу, Павла Сергеевича Аллилуева. Он был очень красивый, на цыгана похож.

— Ей сколько было лет?

— Маме было восемнадцать. А папа был лет на шесть

старше. Она поняла, что он тоже на нее смотрит. И вскоре у них завязался роман.

— Что он в Новгороде делал?

— А солдаты как раз приехали туда делать революцию. И он был вместе с ними. Мама закончила гимназию и поступила на почту. Там она тоже снимала все иконы, бойкая была женщина. Когда бабушка узнала об этом романе — она была строгого нрава, — то взяла и спрятала туфли, чтобы мама не смогла убежать, но мама все равно убежала босиком на свидание. А потом папа уехал, а мама ужасно испугалась. Она думала, что вот он уехал и всё, и в конце концов уже должна была появиться я. (Поняв потом, что я “дитя любви”, я сказала маме: “Могли бы меня и лучше сделать“.) Бабушка, узнав обо всем, сказала: “Если вы не будете венчаться, то я тебя прокляну“. Мама ужасно испугалась, поговорила с папой. А папа был партийный, большевик. И он ужасно переживал, не знал, что делать, а потом он почувствовал, что иначе мама не пойдет за него, и они все-таки венчались в церкви. И ему это припоминалось.

— А откуда могли это узнать?

— Узнали, потому что приехала Анна Сергеевна, старшая сестра папы, и она узнала, и Сталин узнал, и Ленин, в общем, все знали, и ничего — так прошло...

Потом папа уехал опять в Москву и уже обратно приехал со своей сестрой, Анной Сергеевной Аллилуевой. Она была очень маленькая, миниатюрная.

Мама увидела ее, подняла, покрутила и поставила на место и сказала: “Какая очаровательная женщина!“ Анна Сергеевна в этот момент и полюбила ее на всю жизнь. Мама была высокая, крепкая женщина, 1 метр 75 сантиметров, а папа был с ней одного роста, даже казался меньше, потому что он был худенький. Потом они уехали, а мама родила меня. Причем перед этим наколола дров целый воз. Почувствовала, что должна рожать, пошла, родила, ей принесли краюху хлеба, она ее съела с жадностью. Когда мне было годика полтора, меня увезли в Москву, в Кремль, где жило правительство.

Этот дом назывался Офицерский корпус. Там жили Ленин с Крупской, Сталин с Надеждой Сергеевной и Яшей.

Квартиры были отдельными, но кухня общая, и у каждого свой отдельный выход. Там мама познакомилась с Лениным. Однажды она поздоровалась с ним за руку и не мыла ее неделю. А он, узнав, ей сказал: “Женя, руки надо мыть каждый день”. Вот такой был случай. Потом мама еще рассказывала, когда Ленин приходил на кухню, он всегда говорил кухарке: “Мария Ивановна! А вы кошечке молочка давали, вы ее покормили?” Да, кошечке молочко... А Иосиф Виссарионович меня всегда дразнил: “Кирка — в голове дырка?” Я тогда убегала на кривых ножках (у меня был рахит) и обижалась. Так он мог изводить меня бесконечно.

— Сколько у каждого было комнат?

— Ну, я не помню точно. Две комнаты у одних, две у других, у нас одна. А потом мы переехали и жили в Чудовом монастыре. Его взорвали после войны. Он находился там, где сейчас Кремлевский театр.

— А где это?

— Входишь в Спасские ворота — и сразу направо. Там всегда выступала самостоятельность... Потом папа с мамой уехали за Полярный круг. Вместо того чтобы отдать меня бабушкам (у меня было две бабушки — от папы и от мамы), они меня устроили в детский дом, который был около Кремля. И там была я, Вася, Томик Сергеев, Женя Курский. Там было много детей, таких, как я, у которых родители были заняты. Но я была девочкой очень боевой, мне не понравилось, и я оттуда убежала.

Потом папа с мамой приехали из-за Полярного круга. Там геологи искали уголь. А папу послали как политическо-го комиссара, потому что он был военный, — он был назначен начальником экспедиции. Сначала они жили в юртах, где-то под Норильском, дружили с этим знаменитым геологом Урванцевым. Самое интересное, что у папы был хороший характер, он всех всегда мирил. Был очень мягкий, очень бесконфликтный и умел подойти к человеку. Когда родители вернулись из-за Полярного круга, папу вскоре послали сначала в Англию, а потом в Германию. И мы с мамой тоже поехали, через год, в 27-м.

— А зачем он поехал в Германию?

— Видимо, смотреть танки и покупать шпалы и рельсы.

Из багажа у нас была только фанерная коробка, где лежали рубашка ночная и мамин песец. На границе с Польшей ее открыли и хохотали до слез, потому что у нас больше ничего не было. Когда мы приехали в Берлин, сразу пошли в магазин. (Нас там встретил болгарин, друг папы, Федя Рыльский, который жил в Германии.) Мы в Дюссельдорф приехали уже хорошо одетые.

Год мы жили в Дюссельдорфе, и я очень быстро научилась немецкому языку на улице. Папа ездил по всяким городам — Дрезден, Эссен и т.д. — и брал меня, чтобы я хоть немножко ему переводила, потому что у него не всегда был переводчик. Я переводила ему какие-то бытовые вещи.

Я сама поступила в католическую школу. Вся дюссельдорфская полиция не могла меня найти. Пропал советский ребенок! Потом нашли — в католической школе. Все молятся, а я сижу... Через год мы приехали в Берлин и стали жить уже в советском доме. Папа работал в торгпредстве.

— Но он же был военным?

— Он был и военный, и гражданский... он что-то там окончил. Вообще-то он был железнодорожник. Есть фото, где он в железнодорожной форме.

— А потом стал военным?

— Он был солдатом, а потом пошел по военной линии. А когда мы приехали из Германии, он окончил Академию РККА. И служил в автобронетанковых частях.

— Вы жили в Германии примерно в одно время с Тухачевским?

— Я не видела Тухачевского. Приезжал Орджоникидзе. Приезжала Надежда Сергеевна, папина сестра, жена Сталина. Она показывалась врачу, неважно чувствовала себя, у нее были сильные головные боли. Вообще туда все приезжали лечиться, как будто это и не была заграница. Полно наших. Туда и Анна Сергеевна приезжала. У меня даже есть фотография. Я сижу с куклой, папа и она рядом. Один год я проучилась в немецкой школе, потом там открылась советская школа, и я училась в ней.

Потом мама родила моего брата, Сергея. И тут она говорит врачу, который приходил ее осматривать: “Вы знаете, меня сын кусает“. Он сказал: “Этого не может быть“. По-

смотрев Сережу внимательно, врач отметил в каком-то своем талмуде: "В Берлине родился зубастый большевик Аллилуев Сергей". И мой второй брат, Саша, родился там же через три года.

— Долго вы жили в Германии?

— Пять лет.

— И чем мама занималась?

— Мама работала в кадрах в торгпредстве... Когда мама была беременной, ей сказали, что надо обязательно ходить в музеи, это действует на интеллект ребенка. Мы обошли все музеи, все замки и все, что только можно. Там был очень интересный Музей хлеба. Начиналось с того, что мы входили и попадали на настоящее поле. На поле росли настоящие овес и пшеница. Потом пшеницу скашивали, потом показывали мельницу, пшеницу мололи, получалась мука, потом выпекали, и в самом конце экскурсии каждый получал булочку. Так они воспитывали детей.

В 1932 году мы вернулись домой и поехали в Сочи. Да, перед этим еще, когда мы приехали, ребята заболели ветрянкой в Москве, и к нам пришла Надежда Сергеевна. Она первый раз к нам пришла.

Мое первое впечатление о ней? Она была очень строгая, лицо замкнутое. Вошла, я сидела за пианино и музицировала. Она со мной очень холодно поздоровалась, без улыбки, прошла в детскую, посмотрела на братьев и вышла оттуда очень веселая: "Какие прелестные дети!" И уже со мной попрощалась очень приветливо.

— А почему она была такая?

— А потому, что около нее был такой мрачный муж.

— Она его боялась?

— Она его не боялась, он просто ей всегда портил настроение. Мы поехали в Сочи. Я, мама, Сережа. Маленького Сашу оставили с маминой сестрой. Мы поехали в гости к Сталину на дачу. И там я в первый раз увидела Кирова, Орджоникидзе, Ворошилова. Они играли в городки, на бильярде, много смеялись. Мне было очень интересно, я ведь их в первый раз всех видела.

— Как они были одеты?

— Очень просто. Калинин, например, был в косоворот-

ке. Орджоникидзе, как и Сталин, — во френче. Надежда Сергеевна была веселая. Дома я ее побаивалась: она на меня строго смотрела, она вообще была очень серьезная. Она всегда обращалась строго и со Светланой, и с Васей. У нее был такой метод воспитания.

...Мы приехали в Москву, и вдруг, на ноябрьские праздники, приходят мама с папой совершенно убитые и говорят, что Надежде Сергеевне сделали операцию аппендицита и она умерла. Так мне сказали. Потом мы пошли в ГУМ, и она там лежала, очень красивая. Я так была потрясена, что написала стихотворение и нарисовала ее в профиль — как она лежит в гробу. Мама была потрясена моим рисунком, она-то знала, что я не умею рисовать. Это был какой-то шок. Я помню, как мы шли пешком к Новодевичьему кладбищу. А бабушку — у нее от всего этого отнялись ноги — везли на машине. Открыли нам ворота, которые никогда не открывают. Похоронили ее. И так я и думала, что она умерла от аппендицита. Светлане тогда было семь лет, а Васе лет тринадцать. Они были маленькими... Потом мне сказали, что она умерла от разрыва сердца.

Когда мы приехали из Германии, то сразу стали жить в Доме правительства, вместе с папиным дедушкой. А бабушка, не очень ладившая к тому времени с мужем, так и жила в Кремле до самой смерти. Тогда были карточки, на карточки выдавали хлеб, муку, подсолнечное масло... Я была очень хорошо одета и этого стыдилась, брала веревку и подпоясывала свое, очень хорошее, пальто, когда выходила из дома — в школе были все очень плохо одеты. Я пришла домой и говорю: “Я в школу ходить не буду“. Мама говорит: “Давай тебе халат сошьем“. И я стала ходить в синем халате. Потом появился Торгсин, и люди стали лучше одеваться. Постепенно и карточки кончились, и жизнь стала лучше. Красная икра, черная икра, ветчина появились.

— А в какой школе вы учились?

— В 57-й, недавно отмечали ее столетие. Это на улице Маркса и Энгельса, около Музея изящных искусств. Как-то гуляли мы с моей школьной подружкой, Марьяшей Подгурской, в этом скверике, и вдруг подходит какой-то человек, высокий и немножко странный, и говорит: “Девочки, хотите

я вам стихи свои почитаю?“ Мы посмотрели на него: что он — пьяный или сумасшедший? Он вдруг вскочил на скамейку и стал нам читать стихи. Мы на него смотрим, а он говорит: “Не бойтесь меня, я Борис Пастернак...” Прихожу я домой и говорю маме: “Мама, меня так дядька напугал, он говорит, что он какой-то Борис Пастернак!” Мне мама говорит: “Так это же поэт!” Мне стало так обидно!

— Вы чувствовали, что вы живете в каком-то особом мире?

— Безусловно. Я недавно прочитала книжку о Сталине, и там написано, что когда стало известно о самоубийстве Надежды Сергеевны, то Сталин нас разогнал, боясь, что мы ему отомстим. На самом деле он сделал все наоборот, он нас взял к себе на дачу в Зубалово. И мы все с 1932 года, и бабушка, и дедушка, и Сережа, и Саша, и папа с мамой, которые приезжали на субботу и воскресенье, все жили у него.

— А зачем он это сделал?

— Нам казалось, что он очень переживает, что ему страшно одному. Когда это случилось, они даже ночевали в Кремле и домой месяцами не приходили, оберегали его, дежурили там: то Анна Сергеевна, то мама, то папа, то Сванидзе. Думали тогда, что он руки на себя наложит или свихнется. Он очень переживал. Потом мы переехали к Микояну на дачу. Потому что у Сталина уже вырос Василий, и нам казалось, что мы как-то мешаем, надо было тихо ходить... Сталин приезжал поздно, долго спал утром. Мы это почувствовали и переехали к Микояну, и жили там. До самой войны. И очень дружили с его детьми.

— Расскажите, пожалуйста, о семье отца.

— Папа был самый старший, Анна Сергеевна после него, потом дядя Федя и тетя Надя. Их было четверо, жили они в Тбилиси. А Надежда Сергеевна родилась в Баку, потому что дедушку выслали из Тбилиси за революционную деятельность. Он был рабочий Петрограда, сменил много профессий: слесарь, машинист, наборщик в типографии, электрик.

— Он был русский?

— Русский.

— А почему они все были такие черные?



— Потому что прабабушка у них была цыганка. Тут я поняла, в кого я такая черная. К папе всегда обращались по-грузински, по-еврейски, по-испански или по-итальянски и никогда — по-русски. А со стороны бабушки были даже и грузины. Потому что дедушка и бабушка познакомились в Грузии. В Тбилиси революционное движение было очень развито. Дедушка был романтик, он очень много делал для революции, прятал шрифты, листовки, печатные машинки.

Дедушка был очень хорошим специалистом-слесарем. А когда он ругался с хозяевами — он очень любил справедливость, — ему прощали все за его золотые руки. Там, в Тбилиси, он познакомился с Ольгой Евгеньевной, своей будущей женой. Она была очаровательной женщиной, но у нее был ужасный отец, такой деспот. Он хотел выдать ее замуж за какого-то богатого лавочника. И тогда дедушка выкрал бабушку и увез ее к себе. И вскоре они поженились. И тогда он познакомился с Сосо — со Сталиным.

— Он с ним в Тбилиси познакомился?

— Нет, в Баку. Только тогда его все звали Сосо, никакого Сталина не было. Они познакомились, и Сталин стал бывать у него. В Баку родилась Надежда Сергеевна, Сталин знал ее еще маленькой.

— Какая у них была разница в возрасте?

— По-моему, двадцать три года! Потом дедушка опять уехал в Тбилиси, и так он кочевал по всей России, пока не оказался в Петербурге. Там он начал заниматься электричеством, вместе с Кржижановским; он очень хорошо знал электрическое дело. Он работал на электростанции. Потом в Петербурге началась революция. Дедушка прятал Сталина, потом, в 1917 году, он прятал Ленина. Бабушка даже побригла Ленина, и он несколько дней там жил. В общем, он был идейный человек, за это, видимо, мой дядя его родственников так и “отблагодарил”.

— Ну, дедушка, спасибо! Аллилуеву надо сказать спасибо, что у нас семьдесят три года такое!

— После революции Надежда Сергеевна стала работать во ВЦИКе, то есть она была помощницей у Ленина. Когда правительство переехало в Москву, она тоже переехала и там еще ближе познакомилась со Сталиным.

— А Надежда Сергеевна в Петербурге еще не была женой Сталина?

— Ждали, когда ей исполнится шестнадцать, она была еще совсем ребенком. Была очень веселая девушка, хохотушка. Когда все увидели, что он за ней ухаживает, ей стали говорить, что у него тяжелый характер. Но она была в него влюблена и считала, что он романтик, да и дедушка так считал, какой-то у него был мефистофельский вид. Шевелюра такая черная, глаза огненные.

— Кира Павловна, а правда, у него были волосы жесткие, такие, как у коня?

— Не знаю, не трогала. У него была шапка волос, а были ли они у него жесткие или нет, не знаю... Хотя тетю Надю все отговаривали, она все-таки за него вышла замуж. Сначала она вроде бы была счастлива. Мне так рассказывали.

— А какими были отношения между вашим папой и Надеждой Сергеевной?

— Они очень любили друг друга.

— Она была с ним откровенна?

— Да, она ему всегда доверяла, и они были похожи, по простоте и по характеру.

— Ну как же, когда Павел Сергеевич был такой добрый, а она суровая, строгая?

— Ну они, видно, друг друга как-то дополняли. Ведь она была младшая, он и относился к ней, как к ребенку. Что ж она ему грубить будет?

— Она доверяла ему какие-то интимные вещи?

— Я не знаю, может быть, и доверяла. Во всяком случае, они были большими друзьями всегда.

Она к нам в Германию приезжала. Может быть, она ему говорила что-то такое — что живет плохо. Не знаю, и мама тоже никогда не рассказывала нам об этом. Мы жили в Германии и ничего не знали, а потом, когда вернулись, все это несчастье и случилось. Револьвер вроде ей папа подарил. Может быть, она ему пожаловалась.

— А у него не спрашивали про револьвер?

— Сталин тогда сказал: “Ну, нашел, что подарить”. Конечно, папа чувствовал потом себя виноватым. Для него

это было потрясением, он очень ее любил. Вроде бы только приехали, жить бы вместе да часто видеться, а вместо этого похороны. В апреле мы приехали, а 7 ноября она застрелилась. Говорят, Сталин как-то ей сказал: “Эй, ты!” Она ответила: “Я не “эй“, у меня есть имя!” — и вышла. Потом с ней долго гуляла жена Молотова, или Ворошилова, или Орджоникидзе, не помню, гуляли, разговаривали... Казалось, что все в порядке. А она пришла домой, видно, все заранее продумала, потому что закрылась на задвижку. И никто не слышал выстрела, револьверчик-то был маленький, дамский.

— А она письма никакого не оставила?

— Говорят, оставила, но никто его не читал. Она оставила письмо ему — Сталину. Да, ему и вообще всем, но об этом письме никто не знал, что там было. Наверное, она в нем все вылила, что она о нем думает.

— Говорят, что Сталин ей изменял?

— Нет, в то время не думаю.

— Говорят, что ему Берия поставлял любовниц?

— Ну, когда это было... В то время Берии и близко не было, он был где-то в Закавказье. Но Надежда Сергеевна его терпеть не могла. Плохое отношение к нему было и у моей мамы. Мама всегда говорила Сталину: “Это ужасный человек, что вы так к нему привержены?” Сталин отвечал: “А он оперативный работник, он очень оперативный работник”. — “Да какой же он оперативный работник, он так себя ведет по отношению к женщинам, ко мне? Он меня однажды лбом стукнул”.

— Как так — стукнул?

— Да очень просто, взял и стукнул маму. ...Берия околдовал Сталина; видно, тот нашел в нем что-то для себя нужное. То, о чем Сталин думал, Берия, наверное, претворял в жизнь, вот так, наверное.

— После смерти Надежды Сергеевны жизнь изменилась как-то? Сталин изменился?

— Да, конечно. Он ушел в себя, хотя приглашал на дачу нас всех, и на квартире мы у него бывали. Мы почувствовали, что он был не в своей тарелке. Тут и Сванидзе были, и бабушка с дедушкой, и Василий со Светланой. Вро-

де бы есть семья и нет семьи. Сталин все время был мрачным.

— Что самое главное, если описывать Сталина?

— Голос у него был вкрадчивый, говорил он всегда тихо. Нас всегда предупреждали, чтобы мы закрывали тихо двери, вели себя тихо, потому что Сталин работал ночью, спал днем. Играть и шалить в это время мы не имели права, и мы это очень хорошо запомнили. Один раз папа играл с кем-то на бильярде, а Сашка сильно захохотал. Папа повернулся ко мне и, решив, что я его насмешила и Сталин от этого смеха проснется, схватил кий и ударил меня. Это была вспышка какого-то бешенства, так-то он меня очень любил. Я повернулась к нему и говорю: “Мне не больно”, — а кий на три части разломился... Тут папа пришел в себя и говорит: “Прости меня”, и все такое. Вот такая у него была цыганская вспыльчивость.

— А как Павел Сергеевич к Сталину относился?

— Он его очень уважал.

— Даже после смерти сестры?

— Тогда все не очень поняли, что и как... Может быть, папа чувствовал, что и Надежда Сергеевна была виновата, ведь у нее характер тоже был не сахар. У Сталина был сложный характер, и у нее тоже, и из этого ничего хорошего не могло выйти.

— А дети как это восприняли?

— Светлана все-таки была какая-то забитая, замкнутая, а Василий его просто боялся.

— Они его любили?

— Любили. Сталин их иногда и приласкает, просто ему все некогда было. Он часто моего младшего брата, Сашку, сажал на колени, говорил: “Ой, какой хороший мальчик, мой грибочек”. Потом: “Ну, иди, мне некогда, мне надо заниматься с моими товарищами”. А Саша говорил: “Если шоколадку не дашь, я с колен не уйду”. Тогда Саше давали шоколадку, и он уходил.

Вообще он детей любил, я не замечала у него плохого отношения к детям. Но своих детей он все-таки строго воспитывал... Светлану очень любил и очень баловал, а Яшу вообще не любил.

— Почему?

— Не знаю, не любил, и все. И очень несправедливо к нему относился. Бывало, Яша придет к моей маме и говорит: “Жень, дай рублик”, — и мама давала рублик, и больше он ничего не просил. Потом Яша уехал в Ленинград, что-то там закончил, потом приехал обратно, женился неудачно, на той, которая Сталину не понравилась.

— Она была еврейкой?

— Нет, еврейкой у него была последняя жена, от которой дочка... Не любил его Сталин, и всё тут, чем объяснить, не знаю. Свою первую жену Кето, грузинку, он вроде бы любил.

— А что с ней произошло?

— От тифа умерла. Потом он думал, что в семье Сванидзе против него заговор.

— Не может нормальный человек придумать такое, это надо иезуитом быть.

— Сталин же семинарию окончил, там они все это проходили. Конечно, у него какой-то ум особенный был в этом смысле.

— В смысле чего?

— В смысле подлости, конечно, чего же еще.

— Но все-таки, кроме голоса, какой он внешне был?

— Я совершенно не замечала его оспин, потому что у него были усы. Глаза у него были пронзительные. С детьми он был ласковый. Я не могу сказать, что я его боялась. Когда мне говорили, чтобы я вела себя тише, я слушалась, потому что понимала: когда старший человек чем-то занят, ему не нужно мешать. Он был гостеприимный, любил всех угощать. Но он был строгий. Светлана, например, надеет короткое платье, он говорит: “Зачем колени оголила?” Нрав у него был суровый. Он не был европейцем все-таки. Но в то же время он замечал, когда женщины хорошо одевались.

— Ему это приятно было?

— Конечно. Он всегда говорил маме: “Женя, вам надо было одевать советских женщин”. Мама отвечала: “Да я и шить не умею”. Это правда, я маме даже иногда пуговицы пришивала.

— Я хотела вот еще о чем спросить. Вы замечали до войны, что пропадают люди, особенно после 1934 года, когда убили Кирова. Что вы про это думали, что чувствовали?

— Папа приходил очень расстроенный, потому что стали сажать его друзей, с которыми он жил и работал в Германии, Англии. Он говорил Сталину: “Иосиф Виссарионович, раз вы сажаете моих друзей, значит, и меня вы должны тоже посадить“. Он был человек очень справедливый, порядочный. А Сталин спрашивал: “Почему я вас должен посадить?“ Папа отвечал: “Это мои друзья, значит, я такой же, как и они, враг“. И тогда их освобождали... Несколько раз так было, их освобождали, и, видно, Сталину это надоело. У нас есть такое подозрение, что папу все-таки убрали. Он очень неожиданно заболел: приехал вечером из Сочи, потом утром попил кофе, съел яйцо, спустился с восьмого этажа пешком, он всегда так ходил, для физкультуры. А в два часа позвонили с работы и спросили маму: “Чем вы своего мужа накормили? Его что-то тошнит“. Она говорит: “Мне приехать?“ Ей отвечают: “Нет, мы сейчас его отвозим в Кремлевку“. И когда ей позвонили, чтобы она приехала, папа был уже мертвый. И врач сказала: “Он все время спрашивал, что же Женя не идет, где же моя жена?“ Видно, они нарочно ее не пустили, видно, боялись, что он ей что-то скажет. Мама почувствовала в этом что-то нехорошее.

— А как она восприняла все это?

— Ужасно... Не могла спать... Хотя она тогда все до конца не поняла.

— Что собой представлял Киров?

— Очень веселый человек, прямолинейный, огневой, быстро загорался, говорил хорошо. Был какой-то праздник, сидели они все, и звонит “вертушка“. Сталин взял трубку и вдруг сделался белый, как бумага. Мы спрашиваем: “Что такое?“ А он говорит: “В Ленинграде убили Кирова“.

После этого в Ленинграде и Москве начались аресты, очень много народу тогда полетело. В Ленинграде полетело все ГПУ, в Москве тоже, и в других городах. “Ленинградское дело“ пошло в ход. Но я все-таки была еще маленькая. И вообще в нашей семье ничего лишнего не говорили. Не полагалось, особенно при детях. В школе тоже все боялись.

До нас что-то доходило, но не впрямую, не было такого, как вот сейчас...

Потом, в 1937 году, мы переехали на другую квартиру и устроили новоселье, к нам пришел Алеша Сванидзе со своей женой Марьей Анисимовной. (Он был директором банка государственного, а она певицей, первый муж ее был какой-то фабрикант, от него был сын Толечка.) У нас подъезды были рядом — 10 и 12. Мы отпраздновали новоселье, она накинула пальто на свое красивое бархатное платье, он застегнул пиджак, и они пошли к себе. Прошло часа два-три, и вдруг прибегает их сын Толя, с совершенно белым лицом, и говорит: “Евгения Александровна, вы знаете, что маму арестовали. Вот так пришли, взяли маму, взяли папу, Джоника (их младшего сына) взяла какая-то тетка, родственница, обыск был до утра, и я к вам пришел сказать, что квартиру опечатали, никого нет, их увезли в тюрьму“. Мы были убиты, папа — совершенно потрясен.

После смерти папы уже прошло какое-то время, и маме с оказией привезли письмо от Марьи Анисимовны. В нем было написано, что она находится в лагере, там ей очень плохо, и что она умирает... Когда у Сталина было хорошее настроение, мама ему это письмо дала. Он прочитал и сказал: “Женя, чтобы вы больше никогда этого не делали“. И все... Через много-много лет, когда вышел Джоник — он тоже сидел, в Казанской тюрьме, — он рассказал, что после этого письма его маму послали в такое место, что она там просто сразу умерла. А в газетах и книгах я читала, что, когда Алешу Сванидзе арестовали и сказали, чтобы он подписал, что он такой и такой, враг народа, он сказал: “Я этого подписывать не буду“. А Сталин узнал и сказал: “Подумаешь, какой гордый“... Алеша же был братом родным его первой жены и возился все время с его сыном — Яшей, воспитывал его. И Сталин приказал расстрелять его. Об этом мы узнали только в 1987 году. Сталин убирал всех интеллигентных, образованных людей, а Леша Сванидзе был очень образованным. Толя, сын жены Сванидзе от первого брака, погиб на фронте... Вот так вся семья погибла.

Теперь об Орджоникидзе. Вдруг мы узнали, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца. Он был симпатичный,

очень веселый, открытый, любил детей... Всех этих людей я видела только в гостях, я не знаю, какими они были на работе. Я и Блюхера видела на обеде у Сталина, он приехал с Дальнего Востока, а вскоре его тоже посадили и так же, как и всех, расстреляли.

И вот я узнала, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца, а потом мне мама по секрету сказала: "А ты знаешь, ведь он застрелился". Я испугалась и думаю, зачем она мне это сказала? Когда я попала в тюрьму, я поняла, что этого говорить нельзя, что это какая-то тайна, которая может меня погубить. И я молчала до тех пор, пока не вышла оттуда. А своему брату Сережке я это сказала перед самой своей сидкой. И когда меня посадили, он так боялся, что я об этом скажу... Но я, конечно, никому не сказала. Вот такие были страсти. Какие-то бесконечные секреты. Тот так умер, а потом узнаешь — эдак.

В 1938 году у нас почти весь дом был опечатан. Идешь по лестнице — сплошные опечатанные квартиры. Обыск — квартиру закрывали, и там уже никто не селился. Это было перед войной. Это у Трифонова описано, в "Доме на набережной". Как-то я прихожу из школы, мы там ставили какую-то самодеятельную пьесу. Я прихожу и говорю: "Мама, мне надо платье, костюм..." И вдруг я вижу — стоят Катя, мама, бабушка, все со слезами на глазах, бабушка меня обнял и говорит: "Кира, у нас случилось большое горе, папа умер..." Я прямо окаменела от ужаса. Это был 1938 год. Папе было сорок четыре. Я даже не могла плакать, а потом, когда стала причесываться, у меня на голове образовалась лысина, как пятак. Мы с мамой пошли к невропатологу. Он сказал: "Вы знаете, это на нервной почве, потому что она не заплакала, это пройдет". Потом, через некоторое время, это прошло.

— А как Павла Сергеевича хоронили?

— Папу хоронили очень торжественно. Гроб так же, как и Надежды Сергеевны, стоял в ГУМе. Там был специальный ритуальный зал для похорон. И он такой был красивый, он ведь только что приехал из Сочи, не болел, загорел, ресницы были такие большие, что доставали до щек, такой красивый человек. Все говорили: "Боже, такой молодой, такой



молодой“. Заключение было: “Разрыв сердца“... А маму обвинили потом, что она отравительница.

Вот так мы остались без папы. Мы у Сталина уже меньше бывали, жили у Микояна, мама осталась с тремя детьми.

— Так на что же вы жили?

— На пенсию, на Кремлевские обеды.

— А что такое Кремлевские обеды?

— Обед давали и ужин. Это началось еще при Ленине, когда все эти большевики были такие бедные, несчастные и голодные, — при ВЦИКе сделали бесплатные обеды для большевиков... Так и пошло, и дедушке, и бабушке досталось, и папа тоже имел эти обеды. Вот на это мы жили.

— Можно было на это жить?

— Ну что, жили, кушали... не знаю. Мама как-то выкручивалась, я никогда не чувствовала, что мы голодали. Даже во время войны мама все время ходила на рынок, что-то продавала, кроликов каких-то покупала, капусту кислую. Вот такая была настоящая оборотистая хозяйка... Так мы жили до войны, а вот когда началась война, мама решила пойти до Сталина и узнать, что же все-таки ей делать. Она попала на прием к Сталину в июле, два месяца уже шла война. Когда она к нему пришла, она спросила, сколько это будет продолжаться. Он ей сказал, что война будет длительная, но мы победим. Хотя тогда было очень страшное время. Он сказал: “Знаете, Женя, ваш Новгород бомбят (мама ведь новгородская). Я вам предлагаю поехать вместе с моими детьми в Сочи“. Мама сказала: “Я не хочу с вами, моя семья живет гораздо проще, мы поедem в Свердловск“. Он говорит: “Хорошо, тогда я вас соединю с одним генералом — папиным знакомым“.

И мы поехали в Свердловск. Тетю Катю взяли с собой, у нее девочка трехлетняя была, и она там погибла, от ожога. Когда мы приехали в Свердловск, я немного проучилась в театральном техникуме. А потом был призыв всех комсомольцев на работу, и я пошла работать на завод. Там делали самолеты. Слесаря из меня не вышло, и тогда меня взяли в ОТК, проверять шарикоподшипники. Так я проработала целый год. Как-то раз шла я на завод и вижу — две девушки смотрят на меня, и вдруг я их узнаю. Это были Вета Гамар-

ник, которая жила с нами на даче у Микоянов, и Мирра Уборевич. Они были здесь в детском доме для детей, у которых родители — “враги народа”. Мы расцеловались, и я их пригласила к нам в гости. Когда они пришли, мама их обладала и постаралась накормить повкуснее, а потом, когда меня посадили, следовательно мне поставил в вину, что я встретилась с детьми врагов народа, да еще в гости их пригласила, видно, меня мама плохо воспитала... Потом я узнала, что школа Малого театра уже вернулась из эвакуации, и полетела в Москву.

Мы прилетели с тетей Катей как раз на ноябрьские праздники. Такая красивая была Москва — солнечная-солнечная. Мы летим над Москвой, самолет летит низко, такая красота! Я ведь по Москве соскучилась, и хотя все было замаскировано, все-таки было солнечное настроение. Я начала учиться в Щепкинском театральном училище. В 1945 году я окончила школу Малого театра. И где-то в конце 1945-го — начале 46-го меня приняли в труппу Малого театра. Шурочка Щепкина, праправнучка Михаила Щепкина, решила погадать мне по руке, когда я поступила актрисой в Малый театр. Она посмотрела мои линии на руке и сказала: линия жизни у тебя длинная, но я вижу какие-то решетки. Как я их вспоминала в тюрьме... Успела сыграть кое-что. В “Горе от ума” я сыграла одну из княжон. В “Бедность не порок” сыграла подружку главной героини, а на третьем курсе, когда мы играли “Растеряеву улицу” знаменитого Г.Успенского, я играла в костюме Рыжовой, и, говорили, очень удачно. Вообще характерные роли мне всегда удавались. Вместе со мной учился Юра Ярцев, потом он стал директором Радио и ТВ. Посмотрев меня в роли Авдотьи в “Растеряевой улице”, он мне сказал: “Да это вылитая моя тетка из Саратова”. Лучшего комплимента он не мог мне сделать.

— Расскажите про атмосферу в вашем доме.

— Вообще-то у нас был матриархат и демократия. Мы знали, что папа кормил семью, и мы его очень любили и уважали, когда папа отдыхал, мы очень тихо вели себя.

Мама с папой были очень счастливой парой. Так и говорили: Евгения Александровна Аллилуева с ослепительным цветом лица и Павел Сергеевич с изумительным характе-

ром. К нам люди любили ходить. Мама была хлебосольная. Я ей всегда говорила: “Мама, вот ты всегда все отдаешь“. А она всегда говорила: “Будет день и будет пища“. Она никогда ничего не жалела.

— Она хорошо готовила?

— Изумительно. Она делала такие пироги, что если откроешь рот, то сломаешь челюсть, вот так подходили новгородские пироги. Потом изумительные крендели. Каждому на день рождения она делала свой крендель. И каждый устраивал свой праздник. Саша — медицины, а Сережа — физиков. У нас в семье были очень хорошие традиции.

— Как одевалась ваша мама?

— Во-первых, у нее был хороший вкус, хорошая фигура, но она всегда худела. Она плавала на 2—3 километра, чтобы быть худенькой. Думаешь, она стала худой? Не-ет! Она всегда была здоровой новгородской бабой. Когда она училась в гимназии, ей даже говорили: “Землянична, умой лицо, опять нарумянилась!“ Ее вообще звали “Роза новгородских полей“, потому что у нее была изумительная кожа, голубые глаза и светлые волосы. Она была такая русская красавица. А ей не нравилось, ей хотелось быть бледной бедной Лизой, но у нее ничего не получалось.

В 1937 году папу вызвал Сталин и сказал: “Павел, надо поехать в Париж, и чтобы никто там не остался. Я знаю, у вас такой характер, что вас все любят и все уважают“. Сталин знал, что если папа поедет, то никто не останется. Такой папа был добрый человек, что не могли ему зло сделать. Я не знаю, чем это объяснить.

— А что, бежали люди?

— Конечно, сколько оставалось! Михаил Чехов, например. В общем, Сталин сказал: я прошу вас быть политическим комиссаром и разъяснять, что к чему. Это были гастроли Ансамбля песни и пляски под руководством Александрова.

После разговора прошло несколько дней, мама была у Сталина в гостях. И вдруг она говорит: “Иосиф, я вас никогда ни о чем не просила, умираю, хочу съездить в Париж“. Он тут же вызвал Ежова и говорит: “Вот моя родственница рвется в Париж, устройте ей“. Тут же ей устроили безо вся-

ких хлопот визу, дали сто долларов, и мама уехала в Париж. Единственное, о чем я жалею, почему я с ней не попросилась.

И вот мама поехала на двенадцать дней. И потом она мне рассказывала: “Кира, я спала по четыре часа в день, все посмотрела“...

Там в то время была Всемирная выставка, и немецкий орел со свастикой был выше всех. И вдруг, когда эту Мухинскую пару поставили, она оказалась самой огромной, уже и орла не видно стало...

Таким образом мама там двенадцать дней прожила. Что я хотела еще сказать... Вот она пришла на концерт ансамбля. И пели они изумительно. “Калинку“, “Степь да степь кругом“... Белогвардейцы, которые пришли туда, падали на колени и рыдали, и говорили: “Что вы с нами делаете, мы вспоминаем свою Родину, оставайтесь, мы вам такую жизнь устроим, мы не можем без этих песен“. Но почему-то никто не остался. Потом все они поехали в Чехословакию, и никто, ни один человек, не остался и там. Потом приехал МХАТ с “Анной Карениной“, в главной роли А.Тарасова. И пошли все наши аристократки, княгини и графини на нее смотреть и сказали: “Господи, да это купчиха третьей гильдии!“ А нам-то казалось, что она была аристократка. Она была очаровательна.

— Сталин же Тарасову очень любил.

— Он вообще любил всех светленьких женщин.

Так мама побывала в Париже. А когда вернулась оттуда, всем привезла подарки: шляпку, сумку, причем все одинакового цвета — гарнитуры, а Сталину привезла очень хорошую трубку, он был очень доволен.

Как-то мама была у Сталина, и он спросил у жены Молотова: “Как ваше ТЖ?“, то есть парфюмерия. А Молотова ответила: “У нас такие духи, как французские, “Красная Москва“, “Красный мак“. Он говорит: “От вас всегда хорошо пахнет“. Молотова промолчала, а мама возьми тут и скажи: “Ну, конечно, Полина Семеновна душится только французскими“. Мама потом сокрушалась: “Ну кто меня тянул за язык это сказать!“

— Вы поддерживали отношения со Светланой?

— Да, со Светланой мы всегда дружили. У Васьки был сложный характер, но он очень уважал мою маму. А отца своего Василий любил, хотя Сталин относился к нему как-то индифферентно. Он плохо учился, у него всегда были какие-то скандалы, Сталину это не нравилось. Светлана училась хорошо, была очень скромной девочкой.

— А в кого она была рыженькая?

— В бабушку свою, Кэто, мать Сталина.

Когда началась война, Светлана уехала в Сочи, а там начали бомбить, стали подходить немцы, и их отправили в Куйбышев. И какое счастье, что мы с ними не поехали, потому что там было очень страшно. А мы сидели себе в Свердловске спокойно.

Я приехала в 1942 году и стала учиться в Москве, потом, в 1943 году, приехала мама с ребятами. Сережа поступил в школу, а Саша поступил в школу еще в Свердловске. Он был кудрявый, черненький, похож на цыганенка. Его ребята в школе дразнили: “Абрам — соленые уши”, — и били. В школе был антисемитизм. Он говорил: “Ребята, я русский”. Ему отвечали: “Какой ты русский”, — и били. Потом он научился драться и давал им, конечно, сдачи. Ну сначала он не понимал, за что его бьют.

После эвакуации мы жили в своей отдельной квартире, и вдруг все квартиры сделали коммуналками. Началось с нашей. Оказывается, Вася как-то сказал папе, что мы очень шикарно живем, и к нам подселили сначала какого-то замминистра резиновой промышленности, а потом генерала Угера с семьей, очень симпатичного человека. Это было в 1943 году. А когда в 1947 году пришли за мамой, вскоре взяли и его, и его жену.

Через двадцать пять дней посадили и меня, а после меня и всех маминых приятелей, сказали, что мы организовали какой-то заговор против Сталина, и мама всех евреев в Кремль привела, и такое там дело раздули! Мы были шпионами всех стран.

— Сначала маму взяли?

— Да, сначала взяли маму, это случилось 10 декабря 1947 года, я собиралась сниматься в кино, меня с одной девушкой познакомили, которая окончила ВГИК. Она должна

была делать “Предложение” Чехова. Мы репетировали дома, и тут раздается звонок, я открываю дверь. Стоят здоровые два дядьки. “Можно Евгению Александровну?” Я побежала и крикнула: “Мама, к тебе какие-то два гражданина”, — и пошла обратно в свою комнату. Вдруг через некоторое время я слышу — мама идет по коридору и говорит: “От тюрьмы и от сумы не отказывайся”. Я как это услышала, как выскочу, она меня быстро чмокнула и ушла. Когда она потом вернулась из тюрьмы, я у нее спросила, почему она так быстро ушла. Она мне ответила, что тогда она поняла, что ей конец, и решила выброситься с восьмого этажа, прямо в пролет, а то они там замучают. Она поняла, что это дело Берии. Но они ее схватили и увезли.

— А она была одета?

— В чем была, так схватили, и всё... Мне хоть что-то дали... Когда маму забрали, мы стали звонить Власику, а он говорит: “Сидите тихо”... Вот так мы и сидели тихо, пока и меня не взяли.

Через несколько дней после ареста мамы ко мне ночью стали стучаться и просят: “Возьмите Леночку”. Леночка была трехлетним ребенком наших соседей по квартире. А я никак спросонья не могу понять, в чем дело. Слышу, ребенок плачет. Я ее взяла к себе, положила в кровать, и она у меня заснула. Утром я выхожу в коридор, а дверь соседей уже опечатана, оказывается, их тоже взяли.

— Что вы тогда испытали?

— Ужас. Я же знала, что Берия маму ненавидит за то, что она о нем так плохо отзывалась. Я думала, ну, все, мама, конечно, оттуда живой не придет. Я почувствовала, что за мной тоже следят. Я ходила в Малый театр, репетировала, но состояние, конечно, было жуткое. И вот в один прекрасный день я читала “Войну и мир”, там как раз встреча Наташи и князя Андрея, и вдруг звонок. Я открываю дверь — я закрыла ее на цепочку, как будто меня это могло спасти!.. Я открываю, вижу двух здоровых мужиков, и с ними комендант, потому что это было ночью. Я говорю спокойно: “Сережа, по-моему, за мной пришли”. Они мне говорят: “Кира Павловна Аллилуева?” Я говорю: “Да”. “Одевайтесь, пожалуйста, возьмите теплые вещи, возьмите, если

у вас есть, 25 рублей на всякий случай“. Они мне говорят, я все делаю. И вдруг бабушка начала рыдать, меня перекрестила. Я говорю: “Бабушка, не унижайся перед ними“. Я не проронила ни слезинки, только всех поцеловала и гордо ушла.

Они меня посадили в “эмку“ и повезли. Я еду через Каменный мост и мысленно прощаюсь. И такой туман. Это было с 5 на 6 января 1948 года. Туман зимний, плохо все видно. Я еду и думаю: “Прощай, Кремль, Манеж...“ И подъезжаем мы к нашей любимой Лубяночке. Меня раздели, провели полную дезинфекцию, когда я оделась, все воняло карболкой, невозможно! Потом что-то записали, но не фотографировали, потом меня посадили в какую-то камеру без окон, без дверей. Чувствую — умираю, воздуха нет, света нет; я только помню, что я совершенно задыхаюсь. Я увидела, что там есть вода, намочила платок и приложила к сердцу. Стало немножечко полегче. Мне сказали: “Одеваться!“ — и куда-то повели. Потом меня познакомили с моим следователем. С Лубянки перевезли в Лефортово — страшная тюрьма. Туда меня везли уже в “воронке“. Ничего оттуда не видно. Везут, везут, но все-таки в щели видно, что день.

— А что вы испытывали?

— Страх. Это не шок, а такое состояние, как будто тебя раздели и выпустили, и ты не знаешь, как укрыться, вот такое состояние. Не стыда и страха, а какого-то панического ужаса. Причем все сняли, резинки сняли, булавки вырвали, с тебя все падает, это специально, чтобы тебя совершенно унижить. Как раньше рабов продавали, вот такое ощущение. Психически ты уже делаешься какой-то неуравновешенной. Когда меня привели к следователю, он меня спрашивает: “Есть какие-нибудь пожелания?“ Я говорю: “У меня больной желудок, может быть, вместо хлеба вы дадите мне сухари?“ Он говорит: “Пожалуйста! А сахара, как, тебе хватает?“ Я говорю: “Ну, добавьте еще два кусочка“. Он добавил. “А остальное как?“ — “Ну, кушаю, что дают“. Я только замуж вышла, три года прожили и — привет...

Потом вижу, меня куда-то везут, и я поняла — к какому-то большому начальству. Открывается дверь — и огром-

ный такой зал, кабинет. Я захожу, вижу, сидит много народу и какой-то большой начальник. Оказывается, это был Абакумов. Я говорю: “Здравствуйте!” — “Вы не на бал приехали, что вы здороваетесь!” Я говорю: “Ну как же, я же вошла”. — “Нечего с нами разговаривать”. Потом он говорит: “Что же вы наделали?” Я говорю, что не знаю, что я наделала, что я комсомолка. “Никакая вы не комсомолка, мы ваш билет уже сожгли”. А я говорю, что в Малом театре меня хотели избрать секретарем комсомольской организации. “Все это позади. Вы теперь враг народа, и всё! Ну и хватит”. И меня увели. Я думаю, слава Богу, что меня увели. Значит, ему просто захотелось посмотреть, какая племянница у Сталина.

— Как же они не боялись, все-таки родственники?

— Они боялись. Но они настолько привыкли к такому тону, что уже не могли перестроиться, им нравилось унижать. Следователи, конечно, были хитрые. Они мне не сказали, что Анна Сергеевна сидит. Я-то ведь знала, что мои дед и бабушка прятали Ленина и Сталина, рискуя жизнью своих детей, и Анны Сергеевны в том числе. А ей тоже пришли заговор против Сталина. Она оттуда нервнобольная вышла, со слуховыми галлюцинациями. Я говорю следовательно белое — получается черное, скажу два слова — он все сидит и пишет. Оказывается, они уже придумывали там что-то.

— И вы подписывали?

— Подпишешь, не подпишешь — какая разница? На меня, видимо, там тома были. Ну, не подпишешь, стали бы пытаться. Так мне казалось. Потом я все-таки сообразила и не стала писать Сталину, чтобы меня помиловали — это меня спасло. Потому что он все делал наоборот. И меня все время на это толкали: “Ну, напишите, он же ваш родственник!” Я говорила, что мне неудобно, сама думала, что мне просто от этого будет хуже.

И когда мне дали пять лет ссылки в Иваново, я подумала: “Спасибо, Господи!” Меня спрашивают: “Какое ваше последнее желание?” Я спрашиваю: “А там яблоки есть?” Наверно, подумали, что я ненормальная, ей про тюрьму, а она — яблоки!



Потом мне дали селедку и полкило хлеба и повезли. Посадили в вагон с решеткой, охранял меня молодой солдатик с ружьем, смотрит на меня и говорит: “Зоя Федорова, а, Зоя Федорова“. Я говорю: “Я не Зоя Федорова“, — а он: “Эх, Зоя Федорова, ну чего тебе не хватало?“... Видно, он ее никогда не видел, но слышал, что она тоже в тюрьме. Везли неделю. Ну, думаю, значит, меня куда-то не в Сибирь привезли. Привезли меня в Ивановскую область.

— Какая у вас была статья?

— 58/10. Это враг народа, шпион всех стран, контрреволюция, всё навалили. И вот я туда приезжаю, и меня встречает начальник тюрьмы, как Фернандель, такое лицо лошадиное. Он говорит: “Мы сейчас вам розовую камеру устроим, баньку, чистое бельишко дадим“. Я думаю: “Господи, куда я попала?“ Камера была, действительно, розовая, в коридорах тюрьмы дорожки домотканые, и обед какой-то сытный дали. Он мне говорит: “Вы уже не заключенная, а высланная, вы сейчас можете взять и уйти от нас“. Отвечаю, что у меня нет денег. Он говорит: “Пишите своим братьям“. И мне пришлось десять дней жить в ожидании денег в тюрьме. Я попросилась сама, ведь надо было хоть где-то переночевать, денег-то у меня не было, куда я пойду.

На следующий день они меня вызывают и спрашивают, кто я по профессии. Повесили передо мной карту Ивановской области.

Я говорю: “Я актриса“. — “Вот у нас, в Иваново, театр, в Шуе, еще где-то...“

— Они знали, кто вы?

— Знали, конечно, знали. Они мне сказали: “О, поссорились, чем это вы дяде не угодили?“ Я не распространялась на эту тему. Тут же мне сказали, что я уже не Аллилуева, чтобы я поменьше употребляла эту фамилию.

— А как же?

— Политковская. Это было иезуитство, когда сажали, то фамилию отнимали, был номер, понимаешь, номер, а не человек.

В Иваново я не захотела, в Кинешме работали многие из моих сокурсников по Щепке. Меня могли узнать и потом услать за это еще дальше.

Вдруг слышу около тюрьмы чудная музыка. Начальник тюрьмы говорит, что у них тут рядом театр, что я могу туда сходить, а вечером прийти и переночевать. Я выхожу, подхожу к афише. Там написано “Камерный театр”, и моя подруга — Подгурская. Я возвращаюсь и говорю начальнику тюрьмы об этом. Он мне отвечает: “Ну и переночуйте у своей подруги в гостинице”. Выхожу я из тюрьмы, а одета я была ужасно, теплая шотландская юбка, какая-то кофта. И Марьяшка — она же такая красавица — идет в голубой панамке, голубое платье, голубая сумочка. Я как крикну: “Марьяшка, Марьяшка, это я!” — “Ты что, убежала из тюрьмы?” — “Марьяша, да разве оттуда убежишь, посмотри, какие там стены!” Я ей говорю, что мне начальник тюрьмы позволил у нее ночевать. “Кира, тут везде паспортный режим, у тебя есть паспорт?” Я ей говорю: “Какой паспорт!” И больше мы с ней не виделись, на следующий день они, по-моему, уезжали.

Потом мне говорят — берите свои вещи, идите на вокзал. Я пошла, а там такая очередина, ведь это 1948 год, и я вернулась обратно в тюрьму, а меня не пускают. Я говорю: а что мне делать? “Сейчас вызовем начальника, он вам скажет, что делать”. Приходит начальник и говорит: “Придется писать, Кира Павловна, что вы проситесь на одну ночь, а завтра мы вас посадим на поезд, сами купим билет”. И вот я написала прошение начальнику тюрьмы: “Прошу мне разрешить переночевать в тюрьме одну ночь, так как я не могу купить билет”!

На следующий день мне купили билет. Приезжаю я в Шую, мне так страшно, на руках у меня только бумажка, высланная такая-то. Сидит там такой красивенький энкавэдэшник, я ему говорю, что я актриса и другой профессии у меня нет. Он говорит: “Сейчас я позвоню”. “У нас мест нет, — ему отвечают. — Мы можем взять ее реквизитором и заведующей”. Я говорю: “Согласна”. Он мне велел идти в гостиницу, где мне дадут номер; там была такая гостиница “Теза”, по названию реки. Прихожу в гостиницу, а мне страшно, вдруг меня погонят оттуда. Сидит там тетка, с толстым носом, в платке, я ей подаю свою бумажку, где написано высланная такая-то.

Она мне: “Миленькая, у меня муж тоже сидит, я тебе лучшую комнату дам, вот тут у меня свободная есть“. Я думаю, ну и везет же мне. И настолько мне стало легче после этого. И там я почувствовала первый раз, что я все-таки человек.

Пришла я в театр, меня приняли. Там я познакомилась с замечательной женщиной, Галиной Ниловной Дарской. Она была актрисой и помрежем. Там был такой маленький театр, что обязательно надо было что-то совмещать.

Галине Ниловне многие говорили: “Что вы дружите с этой высланной, вас тоже вышлют“, — а она не боялась, вот такие люди попадались.

— А что, дружить со ссыльными нельзя было?

— Да, людей тоже могли заподозрить, что они со мной заодно, это не рекомендовалось.

— А как к вам относились, когда вы работали в театре?

— По-разному. Некоторые себя очень дерзко вели и подчеркивали, что я ссыльная, но в основном это не было заметно. Я ведь была и реквизитором, и заведующей музыкальной частью, и пела в спектаклях. Но когда случалось что-то неладное, мне это все вспоминалось.

Вскоре пришлось уйти из гостиницы, потому что у меня мало денег было, и я решила снять угол в избе. Пришла, мне говорят: “Вот у нас тут такой сарайчик, а в сарайчике — лежанка“. А я смотрю — корыто. И я спала в этом корыте.

— Но у вас же не было паспорта, ничего не было, как же вы должны были жить?

— Работала в театре, жила в избе, в такой, что у меня даже волосы примерзали. Я платила очень дорого, и надо было дрова доставать. За гостиницу я платила пять рублей за номер. Но я получала очень мало денег и переехала к этой бабке. Конечно, было очень трудно.

— А что же вы ели?

— Я ела хлеб черный и комбижир, иногда на рынке покупала молоко, сметану, творог. В общем, больше всего хлеб и чай. Варенье. По-моему, из дыни тогда было самое дешевое варенье. И то дочка хозяйки у меня крала. Я подойду, посмотрю — меньше.

Через три года театр прогорел, и его закрыли. Спасибо маме, что дала мне возможность учиться музыке. Это спасло меня — стала работать учителем музыки в доме для умственно отсталых детей. Многим педагогам не понравилось, что я с детьми сдружилась, и они стали говорить: “Вы знаете, как они вас называют? Гиря Павловна Поллитровская-Полбутылкина!” А я говорю: “Так какие же они умственно отсталые, они очень даже остроумные!”

— В это время вы имели право переписываться?

— Да, я переписывалась. Но брат, он у меня физик-математик, писал мне так: “Здравствуй, Кира! Мы живем хорошо, бабушка умерла (или — бабушка болеет). Ну вот, больше писать нечего”.

— А где они жили?

— Все там же, в Доме правительства, откуда нас взяли. Сергей Павлович давал уроки, ему было девятнадцать, Саше было шестнадцать, он еще учился в школе.

— Бабушка не ходила, не просила за вас?

— Не знаю, может быть, и ходила, но толку-то чуть. Это считалось, что Сталин очень принципиальный. От Яши отказался, нас он посадил, потому что мы враги народа.

— А почему он от Яши отказался?

— Он считал, что Яша сам туда перебежал. А на самом деле было так: Яша потерял сознание, и когда подошли к нему с автоматами немцы, один наш солдат закричал: “Не убивайте, с нами сын Сталина!” Тогда Сталина за это все хвалили, говорили: “Вот какой Сталин принципиальный, он своего сына на Паулюса не поменял”.

Его родственники, видите ли, оказались плохими, он их посадил, потому что был принципиальный.

Светлана как-то сказала Сталину: “Что ж ты моих теток посадил, они же мне маму заменяли”. А он ей отвечает: “Будешь адвокатничать, и тебя посажу”. Вот как он ей ответил.

— Сталин знал, что вы все сидите?

— Безусловно. Без его ведома никто бы нас не тронул. И Берия тоже. Надо было его довести до такой кондиции, чтобы нас посадили.

После войны Сталин перенес несколько микроинсультов.

И здоровье его уже было не то. Говорят, что он даже несколько раз просил отставки.

— Наверное, это он просто играл, кокетничал?

— Может быть, может быть. Он был не очень здоровый человек, но очень трудоспособный. Он все время писал. Он считал, что он образованный, он же окончил семинарию, а потом они все считали, что их ссылка учила и тюрьма, что это тоже университеты. Только у них, у революционеров, видимо, другие были тюрьмы, не такие, как у нас.

В тюрьме самое страшное это то, что ты не знаешь, который час.

— А что, часы не полагались?

— Вообще ничего не полагалось, ни часы, ни очки, ни резинки. В камере был туалет, столик такой, на котором можно было кушать, кровать, привинченная к полу. Я помню, делала семь шагов от окна к двери и обратно. И когда туда попала, у меня было такое нервное состояние, что я всегда должна была знать который час. Меня посадили шестого, значит, на следующий день было седьмое. Я сделала из хлеба пять маленьких яичек и шестое большое. Тогда была пятидневка, а шестой день выходной. И так я замечала, что прошла пятидневка и наступил шестой день. Но благодаря этому календарю я знала число, и это меня поддерживало. Многие люди ведь там с ума сходили оттого, что теряли представление о времени.

— Сколько вы там сидели?

— Шесть месяцев в одиночке. И никаких слухов не доходило. Если идешь и кто-то навстречу, то тебя пихают в такой специальный стенной шкаф, чтобы ты никого не встречала. Потом часовой один другому щелкнет — значит можно идти, дорога свободна, и к следователю, на допрос.

— О чем они вас спрашивали?

— Они считали, что я всем могла рассказать, как умерла Надежда Сергеевна. Она ведь на себя руки наложила, а это был секрет. Но я никому ничего не рассказывала, а они провоцировали. И вообще мне ставили в вину, что я распространяла какие-то сплетни про семью.

А потом, когда мы все вышли, был процесс над маминим

следователем Абакумовым в Ленинграде, и те, кого он бил, все туда ездили.

— Как — бил?

— По голове, во время допроса. А потом их расстреляли. Многие из тех, кто работал в тюрьме, приходили посмотреть на меня — на родственницу Сталина. И мне кажется, они понимали, что не такие уж мы враги... Я думаю.

— Вы думаете, они понимали?

— Немногие, но понимали, потому что мы ничего сказать-то не могли. И что на нас вешали! Я уже говорила: что мы шпионы всех стран, что мама ввела в Кремль евреев, что мы создали заговор, чтобы снять Сталина, а другого кого-то посадить. В общем, смех один. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно.

— Как вы считали, что вас ждет?

— Ну, я думала, что мне чуть ли не расстрел...

— Боялись?

— Боялась. Даже больше не из-за себя, а потому что я не знала, что с мамой. Я шесть лет не знала, что с ней, все глаза выплакала.

— А как у вас складывались отношения с вашим первым мужем, где вы познакомились?

— В театре. Мы с ним играли вместе в “Бешеных деньгах” Островского — я горничную, а он слугу. Потом мы с Боречкой поженились, расписались. И вот какая была роковая вещь. Когда мы с ним пришли в загс расписаться, нас записали, что и кто, а потом сказали — придете через месяц. Мы приходим через месяц, а там ремонт. Куда-то перевели. Я говорю: “Ну, Боречка, будет у нас с тобой еще та супружеская жизнь”. Как будто в воду смотрела, потому что через два года меня посадили.

Мы очень хорошо жили. У него был легкий, уступчивый характер, он был очень добрый. Но когда меня посадили, ему сразу сказали: “У вас жена шпионка, вы ее плохо воспитывали”. А его родители сказали: “Расходись с ней”. И написали мне письмо, чтобы я не губила их единственного сына. А я им ответила, что я сразу ему сказала, как только он ко мне приехал в ссылку, что мы уже в разводе. Я ему сказала, чтобы он не портил себе карьеру. Он тогда учился в

дипломатическом корпусе. Потом он женился. Когда я вернулась, у них уже было двое детей. Но вскоре Боря развелся, стал за мной ходить: “Давай поженимся!” Но я подумала, что если Боря меня еще раз предаст...

— Вы считаете, что он вас все-таки предал?

— Нет, я не обвиняю его, такая жизнь была. Но когда я была в Шуе, он не приехал работать ко мне в театр, а я бы на его месте поехала.

— Вы часто влюблялись в жизни?

— Да, был такой грех.

— А когда это случилось в первый раз?

— О-о, я была еще маленькая. В четырнадцать лет я первый раз поцеловалась с мальчиком. Я была очень влюбчивая, в бабушку, та тоже была очень влюбчивая.

— По вас было видно, когда влюблялись?

— Видно сразу. Хорошела, настроение хорошее, на рояле играю. Хоть мы пережили много, но характер у меня веселый.

Помню, мы жили на даче у Микоянов, и туда переехали Шапошниковы, и был там Игорь Шапошников, он и сейчас жив, и большой начальник. Он преподает в академии, здесь, в Москве. Его мама была очень милой женщиной, она очень любила мою маму и не любила Сталина, и она откровенно говорила: “Я его не люблю”. Не боялась. Были такие люди. Не все ему “ура” кричали. Она говорила: “Я вашего родственника не люблю”.

— Ее не посадили?

— Нет. Значит, не судьба. Наоборот, Сталин к Шапошникову очень хорошо относился.

— А как было на даче?

— Ну, дача была очень хорошая, с хорошими условиями, еда была тоже хорошая. Мы там катались на моторных лодках, тогда они только что появились, на мотоциклах. Хорошо было.

Был у нас такой случай. Как-то в воскресенье Микоян играл с мамой в теннис. А я никогда не ездила на лошади. И вот мне говорят: “Мы сейчас выведем лошадь Ворошилова”. Она когда-то участвовала в парадах, а сейчас она смиренная, мол, не бойся. Я села, а там был мальчишка один, он ударил

по крупу лошади, лошадь взвилась и понесла меня. Я держусь за гриву и кричу: “Мама! Я сейчас спрыгну!” А там кругом асфальт. Мама мне: “Не смей прыгать, убьешься!” Потом лошадь набегалась, я наоралась, и она в конце концов остановилась. Но я дала по роже этому парню, помню, я его хорошо избила. Больше я на лошадь не садилась.

— На чем вы ездили на дачу?

— На машине папиной. У нас был очень милый водитель, мы все его очень любили. Мама его всегда кормила. А домработница у нас была такая, что нам говорили: “Женя, зачем вам домработница, ведь вы все за нее делаете?” Вот так мы и жили, катались на лодках, на байдарках, я вообще спортивная была.

— Вы со Светланой учились в одной школе?

— Нет. Она училась в какой-то образцово-показательной. А я училась в обыкновенной. Я была озорница и хохотушка, и меня часто просто выгоняли. Я смешила всех, все хохотали, и урок срывался. “Аллилуева, завтра придете с родителями!” Я приходила радостная: “Мама, а вас завтра вызывают в школу!” Папа говорил: “Я не пойду срамиться, иди ты”. Мама отвечала: “Ну что ж, придется мне”. Со мной вместе учился сын Фрунзе, Димочка, он потом погиб на фронте, был летчиком. Он тоже был очень озорной. И его родителей тоже вызывали. Он воспитывался у Ворошилова, потому что мама у него умерла и папа тоже умер, от операции. Говорили, что ему нарочно сделали операцию... Ну, там думали, вроде делать операцию или не делать, потом у него началось кровотечение, и он умер на операционном столе, но это я узнала много лет спустя.

Со Светланой я была в очень хороших отношениях, я ее жалела. Потому что Василий все время показывал ей, что он старше. Он был моего возраста, а она на семь лет моложе. Василий умер, кажется, в 1962 году.

— Смерть Сталина на нем как-то отразилась?

— Смерть — не знаю, но я знаю, что Хрущев его посадил и он сидел в том же Лефортове, что и мы. Он спьяну что-то подписал, и его летчики, над которыми он был начальником, проворовались. Это было какое-то уголовное дело. Потом он уехал, кажется в Казань, там он заболел, у не-



го было плохо с печенью, медсестра-сиделка женила его на себе, заставила его своих детей сразу усыновить, и все наследство получили эти дети, а его дети ничего не получили. Умер он в Казани. У него был цирроз печени, потому что он очень пил и не то ел.

— Он был похож на отца?

— Нет, похож он был больше на Надежду Сергеевну. Хотя он был рыжеватый, глаза у него были карие.

— Он был противным ребенком?

— Ну, я этого не могу сказать, в детстве мы с ним дружили, потом он меня побаивался. Один раз даже была между нами драка. Он не хотел куда-то пускать Светлану, а я заступилась. Нас разняли бабушка с бабушкой и, по-моему, даже Сталин. Такая я была всегда свободолюбивая. А потом вот что: при мне он никогда не ругался и грубо не вел себя. Он вел себя со мной дипломатично. Побоялся он меня, хотя я была не клязница. Какое-то уважение было. У нас с Василием были хорошие отношения, он всегда меня к себе приглашал, но всегда до того, как придут балерины или артисты. Я совершенно не интересовалась богемой, пока не попала сама в театр. У Василия однажды я и познакомилась с Бернесом, аккомпанировала ему. Он пел "Шаланды, полные кефали", "Темная ночь"... Потом я познакомилась с Геловани, который играл Сталина. Я Сталина знала в жизни, и он не очень был на него похож. Но его гримировали. И вообще у этого актера оказалась очень трагическая судьба. Он сыграл Сталина, и ему больше ничего не давали играть. И вот он всю жизнь его и играл. Для него это была трагедия. Вот таким был Сталин. Он всем приносил несчастье.

— Кира Павловна, почему вы так жалели Светлану?

— Хорошая была девочка, с хорошим характером, хорошо училась.

— Она хорошенькая была?

— Она была изумительная толстушка с зелеными глазками, такие прекрасные медно-рыжие две косички.

— Они все были рыжие?

— Да, в его мать. Говорят, что она была мингрелка. Сванидзе тоже были рыжие.

Светлана была зеленоглазая, прекрасный цвет лица, но

вся в веснушках. У нее была хорошая спортивная фигурка, одевалась хорошо, со вкусом, очень музыкальная была. Она немножко играла, танцевала и пела. Все-таки грузины ведь очень музыкальные.

— Кира Павловна, может, ваш характер, такая вот способность к искусству и помогли вам выжить?

— А как же, когда я в тюрьме сидела, нельзя было закрывать глаза, даже если ты днем легла. Я все фильмы вспоминала, “Большой вальс“ прокручивала, “Девушку моей мечты“ и остальные, которые помнила. Там давали три книжки на две недели. Я разбивала книгу на части, читала, потом делала паузу по десять минут, считала до шестидесяти на пальцах; потом опять читала. И таким образом я тянула эти книги.

— А какие книги вы там читали?

— Ой, там такие были книги, и Писемский, и Печерский, и вообще были хорошие книги. А мама рассказывала, что во Владимировке была библиотека, она только этим и спасалась. Она читала на французском Мопассана, на английском Шелли, Байрона. Если там не думать, если там себе интеллект чем-то не занимать, то можно сойти с ума. Вот Анна Сергеевна там заболела, потому что у нее нервная система уже была надломленная, ведь перед этим посадили ее мужа, Реденса Станислава Францевича. Он был помощником Дзержинского с 1918 года. Довольно высоко поднялся. Они потом уехали в Казахстан, и, когда ехали обратно, его по дороге взяли. Это был 1939 год. Уже не боялись, что он родственник Сталина.

Когда я поступила на Шаболовку, на телевидение, в 1957 году, я познакомилась с одной милой девушкой, она была начальником фильмохранилища. Она меня спросила: “А ваша фамилия Аллилуева? А вы знаете, мой папа был заместителем Реденса“. Я говорю, что его расстреляли. А она: “Вы знаете, его не расстреляли. Папа писал, что они где-то в Северном Казахстане живут“. Может быть, он там и остался, в Северном Казахстане. Мы этого ничего не знали. Я помню, прибежала к маме и рассказываю. А она: “Ты только Анне Сергеевне не говори, а то она совсем свихнется“.

Вообще над аллилуевской семьей висел какой-то дамоклов меч.

— Семья стала несчастной из-за того, что соприкоснулась со Сталиным?

— Наверное... Он был коварным человеком, неглупым, но очень коварным.

Мама рассказывала, что когда он задумывал убрать какого-то человека, то становился с ним особенно ласков, подливал вина, угощал, а потом этот человек погибал. Может, ему надо было сделать вид, что он тут ни при чем, и у человека оставалось о нем хорошее впечатление. И многие люди, когда их расстреливали, кричали: “Да здравствует товарищ Сталин!” Они считали, что он не знает об этом. Вот такое было страшное время.

Мы, наверное, тогда были наивными, во все верили.

— Расскажите про дни рождения мамы.

— Мама родилась в один день со Сталиным. Раньше мы праздновали ее день рождения дома, а потом родители ездили к Сталину и праздновали вместе с ним. 21 декабря был тост сначала за маму, а потом уж за Иосифа Виссарионовича. Вот такое было семейное торжество.

Мне часто задавали вопрос: “А вы его боялись?” А чего мне было его бояться? Во-первых, я была маленькая, а во-вторых, он меня ничем не пугал.

— Говорят, что у него была шизофрения, какая-то мания преследования?

— Ну, откуда я могла это понять. Если мои родители чувствовали что-то, разве они мне бы сказали... А Светлана... Светлана столько пережила. Потом уехала в Америку, мы же не знаем, что там было. Она там прожила страшно одинокую жизнь. Я вот тебе рассказываю, ты в ужас приходишь. А если все пережить самой, то можно рехнуться.

— Кира Павловна, а в ссылке, в Шуе вы знали, что с мамой, Анной Сергеевной?

— Ничего не знала. Когда Сережа приехал, он рассказал, что Анна Сергеевна тоже сидит. Но никто не знал, где находится мама, и Сережа не знал, и я, пока меня не посадили, ходила, узнавала, передачи носила. Сказали: десять лет без права переписки. Это мог быть и расстрел. И мама

потом рассказывала, что их могли запросто расстрелять. Они с Анной Сергеевной сидели во Владимировке, но друг друга не видели. Когда Сталин умер и Берия распорядился их доставить обратно на Лубянку, мама поняла, что он хочет с нами расправиться. Но не успел, его самого расстреляли. Когда мне сказали, что маму и Анну Сергеевну освободили, я бросилась на Лубянку. Оказалось, они полтора года там сидели.

Когда меня выпустили, я с братом ездила в Шую за паспортом. Едем обратно мимо Лубянки, а я говорю: “Как мне тяжело проезжать мимо этой Лубянки”. Я как будто чувствовала, что мама там. И в такси Сережа вдруг мне говорит: “А ты знаешь, Берию-то расстреляли”. И тут уж я вздохнула полной грудью.

В Шую я провела пять с половиной лет. С 48-го года, с января, по лето 53-го.

— Как вы узнали, что Сталин умер?

— Стояла возле радио в своей избе и вдруг слышу правительственное сообщение, и говорят, что Сталину плохо, а потом, когда сказали, что он умер, я заплакала и подумала: “Боже мой, теперь будет Берия”. Я поняла, что нам всем крышка. Если бы так было, то он бы нас всех просто убил. Берия был авантюристом и садистом и вообще темной личностью. Он был жутко аморальным человеком. Ведь говорят, что была целая школа, где девочки его обслуживали. Это же уму непостижимо.

— У него была красивая жена?

— Очень. Она была красавица. Вот она была мингрелка, рыжая. И сын совсем на него не похож, тоже очень красивый и приятный. Он потом женился на Марфе, внучке Горького, тоже была очень красивая девушка.

— А семья Берии не пострадала?

— Нет, вроде им изменили одну букву в фамилии, с ними поступили очень гуманно. Сын был тогда маленьким, а жена тоже от него много страдала.

— А правду говорят, что по Москве ездили машины: искали красивых женщин и поставляли их Берии?

— Да. У меня подружка так попалась. Берия ее увидел из машины, она очень красивая была...

— Если бы Сталин был жив, сколько бы вы еще находились в ссылке?

— Ну, это неизвестно... У меня был такой паспорт, где мне запрещалось жить во всех столицах союзных республик. Но я в январе 53-го года — Сталин был еще жив — приехала в Москву, и мне сказали, что я даже не имею права переночевать в городе. А я переночевала у своей тетки. У нее был сын лет пяти-шести, и мы с ним пошли на елку в Колонный зал. Это было такое удовольствие после ссылки! Елка была изумительная, так было весело, всякие игрушки давали детям, подарки... А потом я уехала обратно. У меня же были каникулы, я работала в школе. Я приехала и доработала до лета, а летом была амнистия всех воров и жуликов и кончилась моя ссылка. Приезжаю я опять с этим волчьим билетом в Москву. Меня нигде не прописывают и говорят: “Принесите паспорта братьев!” И опять не прописывают. И я опять уехала в Шую. Вдруг Сережка мне пишет: “Кира, приезжай!” Оказывается, уже посадили Берию, и законы стали другие. Потом меня прописали, разрешили ночевать, а потом и жить. И уже с июля 1953 года я приехала совсем.

Когда я сидела в Лефортове и меня привозили на Лубянку, мне дали прочитать, кто на меня писал. И вот я читаю фамилию своей приятельницы, которая в институте всегда ко мне лезла в дружбу. И когда я прочитала, что она говорит, что я такая и сякая, я, конечно, ужасно рассердилась. И когда приехала в Москву, я решила — пойду к ней и выясню, что же такое случилось, почему она так на меня начала наговаривать.

Я прихожу и говорю: “Валя, мне надо с тобой поговорить”. Она говорит: “Пожалуйста”. И я ей говорю, что увидела ее фамилию среди тех, кто на меня писал. Она мне говорит: “Ой, Кира, я сейчас тебе все расскажу, ты все поймешь и меня простишь”. Это было в 43—44-м годах, мы учились в институте и занимались танцами в училище Большого театра... Она заметила однажды, что за ней очень медленно едет какая-то машина. Раз машина остановилась, вышел какой-то чин вроде полковника и говорит: “Девушка, я вас хочу пригласить вкусно поесть, отдохнуть”. А она жила в общежитии, там были ужасные условия, да еще во время

войны. И когда ей так сказали, она, конечно, на это купилась. И вот в один прекрасный день она села в машину, ее привезли в какой-то особняк. Там никого нет, ей говорят: “Вот если хотите, примите ванну, поешьте, попейте“. Она приняла ванну, поела, попила. “А сейчас вы можете полежать там и поспать“. Кровать была очень красивая и очень красивая рубашка. (Когда она мне это рассказывала, я думала, Боже мой, какая смелая! Вот так вот прийти в незнакомый дом, мало ли что со мной могут сделать.) Она легла и стала читать. Вдруг открылась дверь, и она увидела человека в пенсне. И она, конечно, поняла, кто это. Он так к ней сел, стал говорить, какая она красивая, спрашивать, как ее зовут, и сам двигается все ближе и ближе. Он сказал, ну, ладно, спи спокойно, если ты не хочешь, я насиловать тебя не буду, и ушел. Может, здесь она наврала... Но после этого, поскольку у нее отец был “враг народа“, ее, наверное, склонили доносить. Поскольку к нашей фамилии уже присматривались, они, наверное, взяли на вооружение эту мою подружку, и она докладывала им, где я, с кем я...

Когда посадили маму, я бросилась к ее приятельницам, но они и говорить не хотели, боялись, что их тоже посадят, буквально в спину меня выгоняли. Я потом уже перестала ходить. А потом их все равно всех пересажали. Они чувствовали тогда, что за ними тоже придут.

Вот такое было у меня в жизни. С этой “подругой“ я, конечно же, перестала дружить, перестала к ней ходить. Она только звонила и поздравляла маму с днем рождения.

Когда я приехала после ссылки домой, я стала узнавать, где мама. Но нам говорили, что она в лагерях, и больше ничего.

— А почему ее на самом деле не отправили в лагеря?

— Чтобы скрыть фамилию. Они не хотели, чтобы об этом знали. Когда меня посадили, про меня в Малом театре говорили, что я разбилась и попала в больницу. И все думали, что я в больнице, только через полгода узнали, что — сижу. Вот так все было шито-крыто.

А с мамой были более суровы. Может быть, так настроили Сталина. Мама была очень правдолюбивая, она очень много Сталину рассказывала. И может быть, это сыграло

роль в том, что ее захотели убрать. Ведь мама не любила Берию и говорила об этом Сталину. Мама привыкла, что ее уважали, и она совершенно не выносила эти восточные штучки. Когда мама вернулась, она сказала: “Да, Берия мне хорошо отомстил”. И один раз, еще до ее ареста, был такой случай. На улице Кирова был закрытый магазин, и нас туда прикрепили. И вот один раз мама идет с продуктами, и вдруг на полном ходу на нее несется машина. Ее чудом какая-то женщина спасла и сказала: “Я знаю, кто это был”, — но имени мама не сказала. А когда просто убрать не вышло, решили придумать заговор против Сталина, против всех. Мама всегда довольно резко выступала, она думала, что может говорить все, что думает.

Сталин часто терял чувство реальности не только в политике, но даже в быту. Вот он как-то сказал маме: “Светлана просит денег, а мы жили на гривенник”. Мама говорит: “Это вы жили, Иосиф, вы просто не понимаете, на каком вы свете”. А он говорит: “Как я не понимаю?” — “А потому что сейчас совершенно другие цены”.

Он был очень удивлен. Понятия у него были отсталые, восточного человека, все-таки не европейского. Если бы он увидел кого-то в шортах, он, наверное, умер бы.

Мама сидела сначала в Лефортове, потом на Лубянке, потом ее увезли в тюрьму во Владимир, там она шесть с половиной лет и просидела, ну, немножко, может быть, меньше. Иногда ее вызывал начальник и спрашивал о самочувствии, давал почитать нейтральные новости в газете. Она даже не знала, что Сталин умер. Когда она вышла, она говорила, что все-таки Сталин ее освободил. Мы говорим: “Мама, ты что — дура совсем, он же давно умер”. Она очень удивилась.

Когда мама сидела во Владимире, она как-то увидела в окошко Зою Федорову.

Говорят, что нужно в тюрьме выдержать три года, а потом можно выдержать долго. А мама решила умереть.

— Ее били?

— Нет, нас никого не били, только грозили, они все-таки боялись. И вот на прогулке мама нагибалась, брала как будто невзначай камешек и проглатывала его, чтобы уме-

реть. Ей казались очень страшными эти три года. Однажды ей какой-то поляк простучал — она уже довольно хорошо изучила тюремную азбуку Морзе, — чтобы она обязательно изучала языки и еще изучила какую-нибудь профессию. И мама изучила там профессию скотовода, овцевода и что-то еще. Потому что она поняла, что, если останется в живых, ее сошлют куда-то очень далеко. И это ее спасло. Она умела доить коров, косить, колоть дрова, ей это не было страшно. Мама была химиком, и она понимала, что эта профессия ей в ссылке едва ли будет нужна. Она брала подшивать рубашки людям, которые сидят, потому что она с ума сходила от того, что ей ничего не давали делать.

Хотя там была хорошая библиотека, но сколько же можно читать... Три года она чувствовала, что хочет умереть, а после трех лет появляется желание жить. Наперекор всему — это такая сила человека, что в любых условиях, наперекор всему. Тюрьма была страшная — Владимирский централ. Я видела ее.

Когда я сидела в Лефортове, у нас все дни и ночи напролет горел свет, это тоже портило нервную систему. Дома мы с мамой всегда просили не зажигать резкий свет. В общем, мы долго-долго привыкали к нормальной жизни...

2 апреля 1954 года мне позвонили из НКВД: “Вы можете приехать за мамой и тетей?” Я говорю, а вы меня не разыгрываете с 1 апреля? Мне отвечают: “Что вы, такую жестокость себе позволить?! Я за вами заеду в 12 часов”. Я как заору: “Ребята, я сейчас поеду за мамой и за тетей, обзвоните всех!”

Я так была потрясена этим событием, что надела шотландскую юбку и что-то лиловое сверху. И когда я приехала на Лубянку и вышла мама, то первое, что она мне сказала: “Более безвкусно ты не могла одеться?” Она ведь была такая модница в молодости.

— А как она выглядела?

— Она была румяной. Но это был такой неестественный румянец.

— Постарела?

— Я бы не сказала, она как-то порыхлела, сгорбилась и, как мне показалось, разучилась говорить, как-то заикалась.



Я за ними приехала в 12 часов, а вернулись мы только вечером. Ждали Серова. Наконец вызвали меня в кабинет. И человек, такого небольшого росточка, говорит: “Кира Павловна, ваша тетя — Анна Сергеевна Аллилуева — нервно заболела. Вы ее возьмете или не возьмете?” Я отвечаю: “Я не знаю, что скажут дети, но я ее возьму”. Я ее очень любила. У меня даже не могло быть мысли, что я ее не возьму. “Вы дадите поручительство, что вы ее берете, она все-таки больной человек”. Я говорю: “Да, конечно”, — подписала, и все. И потом привели маму и тетю. И мы пошли. А там вниз ведет такая лестница, как труба, и все слышно. Мама говорит: “Нюрочка, а ты знаешь, что Берию посадили и расстреляли”, — и так громко, что вся Лубянка узнала, что Берию посадили и расстреляли. Потом мы приехали домой. Пришла Светлана, двоюродные братья пришли, все знакомые пришли.

— Анна Сергеевна была похожа на вашего папу?

— Да, только у папы была мужская красота, а у нее женская, на Надежду Сергеевну она была похожа меньше. Вообще, у всех Аллилуевых были изумительные глаза, как на иконах. Такие пронзительные, большие, грустные глаза.

Я сначала не заметила, что с Анной Сергеевной что-то неладно, а потом прошло время, сидишь у телевизора, и она начинает разговаривать сама с собой. Я очень часто к ней заходила. И она все время разговаривала с Ворошиловым. Наверное, ей было обидно, что он ее не защитил. И начинала говорить, говорить.

Потом один раз мы справляли мамин день рождения. Ей было шестьдесят лет. Было довольно много народу. И вдруг такие звонки, сумасшедшие. Мама открывает дверь, стоит Анна Сергеевна и говорит: “У меня для тебя никакого подарка нет, но я тебе принесла две буханки черного хлеба”.

Анна Сергеевна была очень добрая, она могла все отдать. Мама у меня была добрая, а уж Анна Сергеевна вообще, у нее прямо был сдвиг какой-то на почве этой...

— Как вас встретила Светлана, когда вы вышли?

— Когда я вернулась, она сама не пришла. Она послала няню, причем не домой — няня меня вызвала на улицу. Мы с няней разговаривали. (Она была с трех недель у Светланы

и заменила ей мать, из Воронежской губернии, настоящая русская женщина.) Она мне говорит: “Светочка так переживает, она стесняется, может быть, ты к нам придешь?” Я говорю: “Господи, почему же мне не прийти!” Пошла.

Потом Светлана уже приходила к нам и даже помогла деньгами, потому что маму арестовали с конфискацией всего имущества. Она меня вызвала и говорит: “Кира, вот я получила денѣги, я хочу вам помочь, я знаю, что у вас нет ничего“. А Саша в то время тоже женился. И она дала по две тысячи. И первое, что мы купили, это Сашкиной дочке Женечке коляску, хорошую, немецкую, она стоила пятьсот рублей. А потом ребята потихонечку мне давали денѣги, потому что я стирала и готовила, ходила в прачечную... Я четыре года и не работала. Царев меня не взял в Малый театр, хотя не имел права не взять. И я пошла проверяться в Театр Станиславского. В то время там был художественным руководителем Яншин. Я пришла и читала “Северную сказку“, я ее очень хорошо читала.

— Приняли?

— Нет. Мне сказали, вот если бы вы были героиня, у нас таких харáктерных, как вы, как собак нерезаных.

Как-то раз мне позвонила приятельница и спросила, почему я не работаю. Я отвечаю: “Куда я пойду с моим театральным образованием?” Она мне говорит: “У нас сейчас начинается фестиваль, и нам на телевидении нужны помрежи. Пойдешь?” Я ответила, что с удовольствием.

Художественным руководителем был Тихомиров. Он меня вызвал и говорит: “О, вы знаете, на что вы идете? Быть может, вам придется ехать за актерами в какую-нибудь тьму-таракань“. Я ему говорю: “А вы знаете, я только что была в тюрьме и ссылке, и мне это хоть бы что!” И первое, куда я поехала, это на Мосфильм — за кандалами, потому что мы снимали какой-то спектакль про декабристов.

Так я работала, сначала в литературно-драматической редакции, потом в кинопрограмме, а потом уже в музыкальной редакции — там я ассистентом была, потом режиссером стала, и уже на пенсию я оттуда пошла. Так что все эти “Огоньки“, “Музыкальные киоски“, “Джаз вчера и сегодня“, все это я делала. Я очень любила свою рабо-

ту, свое дело и получила за это пенсию аж в 82 рубля 75 копеек.

Я вообще была такая энтузиастка. Одной из первых пришла в Останкино, когда там еще и пола не было, везде дыры, ничего не доделано. Как мы там не простудились и не облучились, не знаю. Была четвертая программа. Передачи изумительные. “Джаз вчера и сегодня”, “Иллюзион”, в общем, для эстетов. Потом пришел Лапин, сказал — нечего делать для эстетов, и закрыл четвертую программу.

— Как вы восприняли историю Светланы, ее бегство?

— Мы были просто потрясены. У нее был какой-то срыв, когда она удрала... Как-то, поссорившись с мамой, она перестала к нам ходить. И мне кажется, это повлияло на ее решение. Она осталась совершенно одна. А вскоре, по-моему в “Известиях”, было объявление о том, что она крестилась. Она познакомилась с каким-то священником, тогда это было совершенно не принято. Она была партийная.

— Чем она вообще занималась?

— Она окончила исторический, а потом сказала Сталину: “Вот я окончила исторический для тебя, а теперь для себя пойду в литературный”. Она окончила аспирантуру Литературного института им. Горького, отделение мировой литературы. И там защитила диссертацию. А в газете тогда написали: “Светлана Иосифовна Сталина защищает диссертацию”. Набежало огромное количество людей! А она так тихо говорит, что никто почти ничего не слышал. Братья мои ходили и тоже ничего не слышали.

— А где она работала?

— Занималась переводами, по-моему, при этом же институте. Когда Хрущев стал разоблачать Сталина, это все происходило у нее на глазах. Она говорила, что должна была принимать участие в этом, голосовать против него, и это на нее ужасно подействовало. “Он мой отец, а меня никто не щадил”, — как-то сказала она.

— Это правда, что Каплера из-за нее посадили?

— Да, он стал за ней ухаживать, а Сталин сказал: прекратить, и сослал его. А тот из ссылки самовольно приехал в Москву, и его снова наказали — послали еще дальше.

— Она его любила?

— Вроде он ей нравился, я не знаю. Он, видимо, любил женщин, был очень оригинальный, начитанный. Она тоже была умной девушкой и всем интересовалась.

Когда его выслали второй раз, они уже надолго расстались, и в 1944 году она вышла замуж за Морозова Гришу, родила мальчика, но потом, когда Каплер вернулся, они случайно встретились на каком-то фестивале, и, видимо, опять у них началось...

В 1965 году я вышла замуж второй раз, за Марка Борисовича Мирского. Маркуше очень хотелось познакомиться со Светланой. Но, как назло, мама с ней разругалась. И вот как-то раз я была в Доме правительства, в магазине, и вдруг вижу — Светлана. Ну, думаю, пускай мама с ней ругается, а я к ней подойду. Я подошла к ней, поздоровалась и говорю: “Я хочу тебе сказать, что я вышла замуж“. Она: “Ой, Кира, я тебя поздравляю! А кто он?“ — “Архитектор“. — “Архитекторы замечательные люди!“ И мы с ней помирились. Правда, после этого я ее больше не видела.

Я знала, что она замужем за каким-то индусом. Он был очень больной и вскоре умер. Она пошла к Косыгину и попросила пустить ее в Индию, чтоб исполнить свой долг — развеять прах своего мужа над рекой. Он не разрешил. Светлана его обругала, и тогда он сказал ей: “Ладно, поезжайте“. Она никого не боялась, ее все боялись. Она поехала в Индию, высыпала пепел в Ганг и потом пошла к Индире Ганди и говорит: “Я у вас тут хочу остаться жить“. Та сказала, что должна посоветоваться.

А представитель нашего посольства в Индии сказал, что ей нужно ехать домой. Светлана взяла свой паспорт, собрала чемоданчик и стала стучаться в американское посольство. А ее не пускают. Потом впустили и стали звонить куда-то — то ли президенту США, то ли в ЦРУ, не знаю, — и говорить, что дочка Сталина хочет уехать в Америку. Там дали добро, и ее увезли в Цюрих, в Швейцарию. Прятали в каком-то женском монастыре, чтобы найти не могли. Потом увезли в Рим. Оттуда она прилетела в Нью-Йорк, вышла из самолета, ее уже встречали, и сказала фразу, теперь знаменитую: “Здравствуйте все“.

...Мне мой муж потом сказал: “Как жалко, что она с ва-

ми поругалась, что, если бы она не поругалась, наверное, этого бы не случилось“. Но это неизвестно. Видимо, она просто в этой стране уже жить не могла. Быть может, видела, что из каждого, кто стоит у власти, начинают делать культ.

— Это что, национальная русская черта?

— Я думаю, что мы были долго лишены свободы. И это наложило на нас отпечаток.

Нам присуще какое-то дурацкое долготерпение. Нас отучили самостоятельно мыслить и решать, нам все время кажется, что это очень большая ответственность. Но я все-таки верю, что что-то в скором будущем изменится к лучшему, иначе жить просто невозможно...

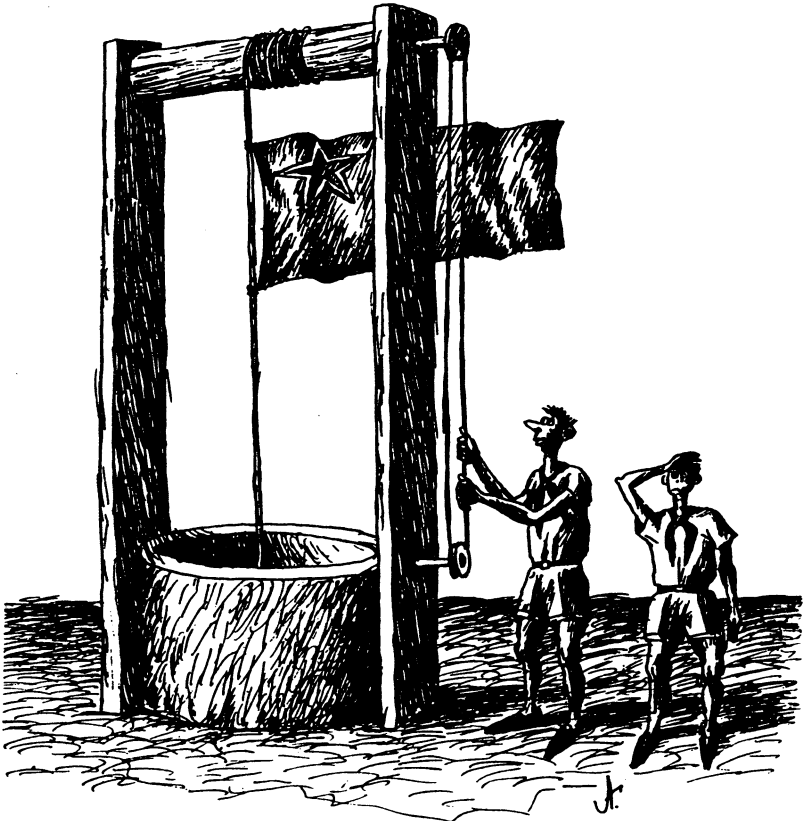


Рисунок Аркадия Гурского

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ

# ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

*Когда-нибудь (может быть, скоро — все-таки конец века!) какому-нибудь (пусть даже смахивающему слегка на Хлестакова) Высшему Ревизору понадобится для инвентаризации (тоже, конечно, высшей) некий пример души русского человека, жившего во второй половине этого самого, кончающегося, двадцатого. И вызовет он к себе душу христианина и алкоголика, гения, люмпена, интеллигента Венедикта Ерофеева. И предъявит для ревизии не з р а ч е л е н н а я душа Венички, наряду с великой поэмой “Москва—Петушки” и прочими замечательными сочинениями, тысячи страниц “Записных книжек”. И увидит Высший Ревизор, что русский человек, в своем наиболее полном развитии, если даже и до полусмерти пьет, то работает — до смерти... И еще увидит, что “можно одновременно и понимать толк в выпивке, и любить сложную музыку, и интересоваться делами Намибии”, И много чего другого вбирать в себя. Можно работать изо дня в день, за пропуском самых черных, безнадежных, когда — “никто не спасет”, работать в тоске по недостижимой гармонии, ловить мир в диапазоне от фарса до трагедии, сталкивая их друг с другом и тем самым отважно преодолевая абсурд бытия (о котором большинство из нас знает и которого большинство из нас знает и которого большинство же — боится). И выйдет душа Венички от Великого Ревизора со справкой: “Свободен”. Вот так.*

Виктория ШОХИНА

## 1972 ГОД

По свидетельству Андре Жида “Ев <ангелие> волновало и мучило язычника Уайльда”.

\*

Оскар хвалит русских за “жалость” их литературы. И он сам — по выходе из Редингской тюрьмы — “в тюрьму я вошел с каменным сердцем, думая только о наслаждении, теперь же мое сердце окончательно надломилось...”

И дальше:

“в мое сердце вступила жалость, и я понял теперь, что жалость есть самая великая, самая прекрасная вещь из всех существующих на свете”.

\*

Ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего.

\*

Горы Гелвуйские! Да не будет на вас отныне ни меда ни росы!  
(Саул).

\*

от гуцульства к бендеровщине

\*

дамочка, плачевная во всех отношениях.

\*

подлец ты конченный, больше ты никто, высшей марки. Или: и завтра ты будешь иметь бледный вид с голубым отливом.

\*

Саул молится: “Боже, зачем ты обременяешь меня вожделениями?” (Андре Жид).

\*

он же: “Довольно, уста мои!”

\*

у Андре Жида в “Плохо скованном Прометее”: “Беспричинный поступок — он отличает человека от животных. Человек — животное, способное на беспричинный поступок”.

\*

“Я был никто, теперь я — некто”.

\*

“Ибо, где отсутствуют принципы, там утверждается темперамент” (там же, у Жида).

\*

Какой-то шотландец-ученый рекомендует для укрепления голоса в ды х а т ь р о с у ц в е т о в .

\*

Так начинают. Года в два  
От мамки рвутся в тьму мелодий.  
Так провожают пароходы —  
Совсем не так, как поезда.

\*

плоская не как Кизлярские пастбища, а как фабричная доска показателей.

\*

“И сам летишь, и все летит” (о нынешней русской птицеводстве).

\*

“Кого ебет чужое горе?”

\*

Как пчела медоносная — от каждого цветка понемногу. Хром, как Гордон Байрон; как Василий Чапаев, не знает языков; не моет ног годами, как Антоний Падуанский.



\*

Ну, разве можно так терзаться! Не терзайся!

\*

*“Ему должно расти, а мне умяться”.*

\*

Вот как. Из пьесы “Саул” Жида: Слуга говорит: “Он помешался! Видишь ли, я охотно допускаю, что можно всю ночь напролет пить вино; или же молиться, если у вас на сердце неизбывная тяжесть; или, наконец, смотреть на небо, чтобы узнать какая будет завтра погода... Но все три дела разом! Он помешался”.

\*

*“Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов”.*

\*

эта пагуба, это глумление

\*

Поспешишь — блядей насмешишь.

\*

Надо погодить называть месяц август месяцем растрав и изнеможения, хотя сегодня уже 3-е. Дождись поднятий.

\*

Я буду вас пестовать, а вы меня — лелеять.

\*

Оставьте мою душу в покое.

\*

“У Израиля находится больше вопросов, нежели у Него ответов” (“Саул” Жида).

\*

Наш Фишер вашего Спасского и т.д. Наши по луне ходили, а ваши... У нас на душу населения и т.д. Правда, у нас негров вешают, но ведь и т.д.

\*

Мое сердце не гов<орит> этой музыке “нет“, но и да оно не говорит. Мое сердце пожимает плечом, когда слушает ее.

\*

У него бездна ответов и он удивлялся: почему так мало вопрошаем? почему ленивы и нелюбопытны и суетны?

\*

большой и пламенный, как привет.

\*

Царица, Саулу: “Пагубный царь Саул! Будь отныне пагубой для самого себя!“

\*

Услышал о странных сапсанах, которые нападали на всех мотоциклистов и тюкали их в голову, пока те не сваливали в кювет. Оказывается, какой-то мотоциклист когда-то разорил гнездо сапсанов.

\*

Видеть сны необходимо мне вот для чего: для упражнения и удостоверения в моральных принципах и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В конце концов горе — внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Толстой или Федор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживал острее и глубже, чем иной свои основательные. И т.д.

\*

Опять Добролюбов и К<sup>о</sup>. Слушая песню на слова барона Розенгейма “Степь за Волгу ушла“ и т.д. Они-то, собаки, смогли бы написать хоть строку, от которой бы у русского замер дух?

\*

Боратынский:  
“Я наблюдал людское племя  
И, наблюдая, восскорбил“.

\*

Шофер СМУ Росвязьстрой рассказывает при всеобщих восторгах коллег: “Мой лозунг — пей все что горит и еби все что дышит“.

\*

Я слишком многим жертвую для того. Как сказали бы эллины, я приношу гекатомбу.

\*

У меня тоже комплекс Эдипа, но совсем другой. Т.е. я сознательно ослепил себя.

\*

Энона — нимфа, верная подруга Париса во время его пребывания в Идейском лесу. Т.е. Парис ушел из Идейского леса, и Энона тут же перестала быть верной подругой Париса.

\*

У Честертона. О нервных, легко смущающихся субъектах. “Собаки ненавидят нервных людей оттого, что собака сама нервничает в присутствии такого человека. И потом — собака, чутьем, бывает задета, когда ее не любят“.

\*

Повсюду в Ногинском, Ореховском и пр. районах, на всех предприятиях висят соблазнительные у входа: “Желаем хорошо потрудиться“, а при выходе: “Спасибо за труд. Желаем вам отличного отдыха“.

\*

Все о том же смягчении нравов. На предприятия<ях> не пишут “Соблюдайте правила техники безопасности“, а пишут: “Папы и мамы! Будьте осторожны! Вас дома ждут дети“.

\*

вегетативная твоя душа, растительная то есть.

\*

Я это уже понял давно, с тех пор как она связалась с этим дайцем.

\*

Для чего надо было грекам натираться подсолнечным маслом! Они его называли “елеем”.

\*

Несовершенство наших душевных процессов: ср. как отлично работает наш кишечный тракт. А здесь — застой, тошнота без выташнивания, неспособность вовремя освободиться от того, что накопилось нечистого и т.д.

\*

еще и уже, “еще“ не умеет и “уже“ не умеет и т.д.

\*

Ну зачем им, сволочам, пить? Они без того постоянно качаются, ходят боком, движутся не так, как надо, говорят вздор и не стыдятся ничего. Самоувер <енны> и безошибочны.

\*

И, что там ни говори, даже самая хорошая ошалелость требует сейчас хорошего рационального руководства (рац <ионального>, т.е. во вкусе Фомы).

\*

Коллекционировать те способности, которые отличают человека от всей фауны: 1) способност <ь> смеяться, 2) пить спиртные напитки, 3) совершать беспричинные поступки, 4) поступать наперекор своей выгоде, 5) решиться поднять на себя руки.

\*

Ну так что ж, что пляшет? И царь-пророк Саул плясал перед Самуилом.

\*

Хорошо как лекарство, но не как пища.

\*

Граф Толстой о книге Паскаля: “он показ <ывает> людям, что люди без религии — или животные или сумасшедшие, тыкает их носом в их научность, безобразие и безумие...”

\*

К вопросу о таланте. Эллинское “талант” это примерно 1400 рублей по валюте XIX века.

\*

У меня в душе, как на острове Свободы: не бывает праздничных дней.

\*

нынче же будешь со мной в раю

\*

Как говорил Фома, “я впал в несовершенство”.

\*

они прейдут, а мы пребудем

\*

давясь от слез

\*

С Р. Она говорит: нельзя выносить сор из избы: иностранец не поймет. Говорю: в доме повешенных не говорят о веревке, в других домах говорят. Вот и я.

\*

Эллины были тверже в этом отношении. Агамемнон возвращается (через 10 лет) со своею Кассандрою и застаёт Клитемнестру с Эгисфом. Никто не думает убить Агамемнона за блядки, его убивают не за блядки. А Клитемнестра подсудна со всех сторон.

\*

Степень бабьего достоинства измерять количеством тех, от чьих объятий они уклонились.

\*

“Ты не холоден и не горяч, ты только тепловат; не могу тебя терпеть, выплуну тебя из уст моих“.

\*

“В девяти случаях из десяти человек, меняющий фамилию, — прохвост“.

\*

Теперь уже говорят не “четыре часа две минуты“, а говорят “три 62“.

\*

так, чтобы твою ценность измеряли в каратах

\*

В старых открытках: “Люби шутя, но не шути, любя“.

\*

Она уж закончена, но ее н а д о и с п о л н и т ь.

\*

“собака в момент величайшей злобы не лает, а рычит“ (Г.Честертон).

\*

Мы отдохнем. Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах.

\*

Говоря райкомовским языком, она всемерно способствовала мне.

\*

Их всех убил палач Самсон, значит, он один и виноват.

\*

Из приговоров севильской инквизиции (16 в.): Хуан де Монтис, за то что дважды состоял в браке, — 100 ударов розгами и десять лет на галерах.

\*

все равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли стойке...

\*

Бозэций: “Народная молва суетна, ибо лишена способности различать”.

\*

Я как Борис Годунов. Глад и мор и гнев народный и смуты, и терзания. Являются плюгавые, чернявые и энергичные Василии Шуйские, являются и плетут интриги. Являются юные Лжедмитрии. А я — только стискиваю голову, мечусь между Владимиром и Талдомом с вечным “Уф, тяжело! дай дух переведу!”

\*

предсмертную тоску Пушкина (“Ах, какая тоска!”, он говорил, что от нее он страдает больше, чем от боли) — приписали воспалению брюшной полости.

\*

Последнее, что ел Пушкин в этой жизни, была морошка. “Перед самой смертью ему захотелось морошки”. Нат <али> кормила его с рук.

\*

“шустрая, как вода в унитазе”

\*

“практический и скептический XIX век”.

\*

“Только что отнятый от суки щенок требует особого внимания и заботы”.

\*

несовращеннолетний возраст

\*

Каждая минута моя отравлена, неизвестно чем, каждый мой час горек.

\*

По свидетельству Вяземского, Пушкин, особенно в 30-е годы, “имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был опрокинут красотой многих молитв”.

\*

За несколько часов до смерти, не мог<ущий> перен<ести> боль в животе, Пушкин хочет застрелиться, Данзас отобрал у него пистолет, который Пушкин уже спрятал под подушкой.

\*

Последний наказ Наталье: “Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, и потом выходи замуж, но не за шалопая”.

\*

Нат<али>, на коленях перед постелью только что умершего: “Пушкин, Пушкин, ты жив?!”

\*

Спаниель — собака с крепким сухим телосложением. “Голова у него легкая и сухая, с плавным переходом от лба к морде”.

\*

Фокстерьер — собака смелая, злобная и легко возбудимая.

\*

Яхрома, порт семи морей.

\*

Любимый герой Анджелы Дэвис — Вас.Ив.Чапаев.

\*

Меня засосала глубокая трясина.  
Кондуктор, нажми на тормоза.



\*

кремлевские обс-куранты.

\*

С Натальей Трауберг, весь день 2/Х. Ипохондрический моно-тематизм.

\*

как дым и пар, как тень исчезающая

\*

“велемудрый и достопоклоняемый отче“.

\*

еврейская фамилия Пропеллер. Ср. Шиханович.

\*

Из формулы церковного отлучения и проклятия (XIII — XVI в.)

“...Да постигнет его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в городе и дороге. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, в питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени головы до подошвы ног...”

Как я гашу теперь эти светильники, так да погаснет свет его очей. Да осиротеют его дети, да овдовеет его жена. Да будет так, да будет так! Аминь“.

можно прибавить: да будет проклят: в лесах и на горах, в гостях и дома, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью.

\*

она такая брюнетка, что даже удивительно.

\*

“девушка, истощенная несбыточными мечтами“.

“Вы всю ночь мне грезились“.

\*

и ее оскверненное чрево

\*

Дураки, они свою столицу Христианию переименовали в Осло.

\*

Ты родилась под знаком Солнцедара.

\*

Но бархатистостью своих лядвей  
Она и это, впрочем, искупала.

\*

Спорт Б.С., многоборца: прыгает выше собственной головы, убегает от самого себя, борется с соблазнами, гимнаст: ходит по острию ножа меж двух бездн, поднимает душевные тяжести рывком и жимом, играет со смертью с выигрышем для себя etc.

\*

Вольная борьба — с соблазнами.  
Классическая борьба — с предрассудками.

\*

Гребет на своей одиночке — против течения.

\*

Увы мне! Увы!

\*

Узбекистони и сельдерей (2/Х).

\*

с нервическим кокетством

\*

Три лучших гишпанских города: Мадера, Малага и Херес.

\*

СМУ ПТУС. Оказывается есть и люди порядка Хеладзе, сказавшего полгода тому: “Ерофеев в н е всякой дисциплины”.

Оказывается, от Гейне начинается понятие “сверхнатурализм”, т.е. понятие, включающее в себя все кроме реализма.

\*

французская народная песня “Ах, как же я простужен!”

\*

существо, призванное прорицать и заклинать.

\*

Сент-Бев и Мюссе то и дело ходят в публичные дома “в поисках забвения”.

\*

Тягомотина и банальности, хуже нет. Аполлинер, вся поэзия и все письма <...>.

\*

И всего-то рупь-двадцать прошу у тебя. Иль нож ты мне в сердце вонзишь, иль рай мне откроешь.

\*

привет тебе от всех блядей Одессы.

\*

Корриду иначе называют тавромахией.  
Тереро и бык.

\*

Игра в короля — принца — засерю — подчищалу.

\*

Какой славы ты хочешь? Боевой или трудовой славы?

\*

Перенос физических признаков вовнутрь: “душа болит“, глубокое, острое et cet. По причине неизученности и вторичности...

\*

Андрей Платонов в “По небу полуночи“ обо всех этих фаш <истах>: У них недостало ни скромности, ни благородства, ни привязанности к людям — так пусть же они спят мертвыми“.

\*

Французский католик Анри де Монтерлан о половой любви:  
“Это власть, оккупация чужой души”.

\*

две кошечки во дворе, их зовут Алгебра и Гармония.

\*

Как сказал Данте Алигьери, пусть взглянет в ее глаза тот, кто не боится вздохов.

\*

О поборниках смешанной, универсальной религии говор<ит>  
Г.К.<Честертон>: “Она будет хуже, чем любая религия сама по себе, даже чем индийская секта душителей”.

\*

О христианстве еще спорят, дурно ли оно, хорошо ли. А вот о духовом оркестре спорить нечего: здесь чистая духовность и т.д.

\*

Вот как Данте различает малодушие и великодушие: “Человѣк великодушный всегда в сердце своем сам себя возвеличивает. И наоборот — человек малодушный всегда считает себя ничтожнее, чем он есть на самом деле” (“Пир”).

\*

спала по утрам, а по вечерам формировалась как женщина.

\*

и вся их, разграфленная по пунктам, профессиональная этика.

\*

Опять Иегова в Ветхом Завете: “Но поскольку ты тепл — изблюю тебя из уст моих”.

\*

охальник и баламут

\*

Боэций презирал народную молву и народную мудрость на том основании, что она лишена способности различать.

\*

слава богу, лишен Ordnung und Zucht — порядка и дисциплины.

\*

второсортность

\*

Я влезал на нее как невольник.

\*

У вас вот лампочка. А у меня, может, сердце перегорело, и то я ничего не говорю.

\*

но ведь ты-то! ты! человек “тончайшего сердца!”

\*

“Водоемы страны должны быть чистыми”.

\*

она меня обуяла, я обуреваем ею.

\*

Ценить в человеке его готовность к свинству.

\*

Два молодых человека, встревоженные, хотели повернуться ко мне спиной, но их разнесло ветром.

\*

греховно был распростерт

\*

и это так же глупо, как... как уходить добровольцем на фронт.

\*

Беседы с при<пе>вом:

— Не хотела солнцедри

— Нет, я солнцедар (...)

Или

— Э, не бери себе в голову

— Все муде колеса.

\*

У них харкотина взамен души, и вместо мозгов — блевота.

\*

меня выковоряла она на свет, как козявку из носу.

\*

Я иду в места больших маневров, я подкрадываюсь к мишени и становлюсь у нее, в меня лупят все орудия семи стран варшавского пакта — а все мимо.

\*

Музыка — средство от немоты. Может быть вся наша немота от неумения писать музыку.

\*

Обязательно вставить соревнование, кто кого перепьет.

\*

Итак, самому бестолковом <у> из всех русских и т.д.

\*

Теперь все равно какой дует ветер — и т.д. А северный — это тот, что дует на север, или тот, что дует с севера?

\*

Мертвым можно завидовать во всем кроме “сраму” и т.д.

\*

Девушки должны собирать цветы, ибо это вырабатывает в них навык низко нагибаться.

\*

Мне противен мой дом, и вход и выход из него.

\*

В цикл: туман один поднебесный.

\*

Здесь проделаем дырочку в стене — я обожаю сквозняки.  
Здесь — веточку флер-д-оранжа и букет асмоделей.  
Сюда — вобъем крюк в потолок. Для фламандских люстр.

\*

А вот генерал де Голль жил скромнее — и до старости сохранил силу. В 85 лет он произвел на свет внука — до чего еще свеж был генерал.

\*

щемило слева и справа от сердца.

\*

Что ж, и мне тоже свойственно бывает томиться по прошло-м <у>, по тем временам, например, когда еще твердь не отделилась от хляби, а только тьма изначальная.

\*

Все лучшее во мне говорило мне: ...  
А все худшее возражало на это так: ...

\*

Но человек он был мглистый и шаткий, его обвинили в... и Ф.Э. лично защекотал его в своем рабочем кабинете.

\*

Сынок утонул в ведре, потом дочь — последняя дочь — расшиблась насмерть, упав с веника. Мама не могла перенести этих двух потерь сразу — и через три недели родила третьего.

Третий был странным существом. Он молчал... и только на третьем году жизни заплакал.

\*

Мерзавочка! И с таким торсом.

\*

Ты должна вздыматься, как пламя.

Она, как утренний туман, обволокла меня — и заколыхалась, как утренний туман.

\*

Могу ли я сказать, что ты послана мне с высоты небес? Да, я могу это сказать, я еще много что могу о тебе сказать, но не скажу.

\*

Ты пролилась на меня с облаков.

\*

Ты лишила меня вдоха и выдоха.

\*

Меня околдовать трудно, я чарам не поддаюсь.

Случай во Владимире: я <наш> уже до такой степени, что у меня часы пошли в об<ратную сторону>.

\*

Мой сын снимает майку через ноги и трусы через голову.

\*

С веткой в ушах, с парализованными ногами, я вошел в этот дом. Меня встретили оплеухой.

\*

Одна дымящая головня упала рядом со мной — я плюнул на нее, я высморкался в нее — она вспыхнула и разлетелась в небе тысячью искр.

\*

Пламенный хитон натяну я на вас! День гнева воссиял! Где моя паяльная лампа?

\*

И еще раз о том, что тяжелое похмелье обучает гуманности, т.е. неспособность ударить во всех отношениях, и неспособность ответить на удар.



\*

этот мозгоебатель Гамлет... <не> доносить свои башмаки.

\*

И вот мы уснули вместе с моей мечтой. Вначале уснула моя мечта, я — следом за ней.

\*

Сначала людям, потом блядам, потом матросам.

\*

Цели в жизни нет. Все в жизни лишь средство, как сказал В.Брюсов, стихотворец.

\*

Мы начали-то ехать неоттуда, потому и как <у> Новеллы <Матвеевой> “О как долго, долго едем, как трудна и так далее”.

\*

Просыпаюсь: змея лежит рядом и обнимает. И спрашивает: А он бы не удивился, если бы взамен меня кто-нибудь другой?

\*

А потом она уехала. Я не могу об этом говорить, у меня спазмы.

\*

Надо быть искушенным во всех грехах, чтобы отвратиться от них от всех. Маленькая ложь и привычка к ней необходима как средство против той, гигантской лжи... (см. прививка оспы etc.)

\*

Мы с каждым днем все хуже. И каждый, и все человечество с каждым днем все хуже. И поэтому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, т.е. тот, кому с каждым днем все хуже и хуже.

\*

Человек не самолюбив и суеверен. Он уважает все болезни, кроме тех, которые он сознательно в себя внес.

\*

рубашка на груди так была распахнута, что видны были ноги.

\*

Перемешать В. и К. как водку с кефиром. К-й запивать В., потому что иначе сблюешь.

\*

Но все-таки почти еженедельно я подозревал, что ты есть и что вдруг да не заб<удешь>.

\*

Мы все так опаскудились мозгами и опаршивели душой, что нам 13-летняя привязанность кажется феноменом. Мы правда, живем в мире техники и скоростей, ну, что ж, пропусти технику, иначе действительность собьет, протиснись сквозь все эти такси и иди куда тебе надо.

\*

Человек, идущий за малой нуждой, все-таки ценнее машины, летящей для доклада в СЭВ.

\*

И опять: могу ли я понимать это так, что ты пролита на меня с облаков?

\*

“прочти и порви” совместить с “прочти и передай другому” т.е. верх интимности с верхом всеобщности.

\*

Ну, что прибавила техника! Она просто отвлекает от дела. Т.е. пере<секая> улицу, надо сначала смотреть налево, потом направо, etc.

\*

не дают опустить свою же голову на свои же плечи.

\*

Постоянно о знаках Зодиака. “Черед <овались>... и т.д.” И как знаки Зодиака, чередовались восторг <и>. Невразумительные письменна, как знаки Зодиака.

\*

О необходимости вина, т.е. от многого было б избавление, если бы, допустим, в апреле 17 г. Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик.

\*

Т.е. задача в том, чтоб пьяным перестать пить, а их заставить.

\*

Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедию с фарсом, музыку со сверхпрозаизмом, и так чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду.

\*

простодушие с желчью

\*

И опять. Зачем надсаживаешься? Не надсаживайся. (Надрывы, надсады) Не терзайся. Etc.

\*

С Пентагона до Кремля, с небес до земли, с головы до ног — все изменено.

\*

Как Родион. Все бегают по лестнице вверх и вниз <и слышно>: “Эй, держи!” etc. А тут одно — как бы тебя не заметили.

\*

В конце прошлого века Ф.Достоевского на западе еще так мало понимали, что, например, во Франции в переводах исключалась как балласт “Легенда о Великом инквизиторе”.

\*

от Достоевского у экзистенциалистов концепция абсурдности бытия и трагизма человеческого существования.

\*

Даже Зигмунд Фрейд (20-е годы). Исследование его “Достоевский и отцеубийство”.

\*

“Идея личной ответственности каждого взамен идеи безличной безответственности всех”.

\*

В фильме Феллини “Сладкая жизнь”, на пресс-конференции кинозвезды Сильвии. Ее спрашивают, что она надевает на ночь? пижаму или ночную сорочку? “Ни то, ни другое, — отвечает Сильвия, — только две капли французских духов”.

\*

“Лиза в городе жила,  
Но невинною была“  
(Н.Карамзин).

\*

Их терминология на этот случай: разобщенность, изолированность, обреченность, забытость, брошенность.

\*

загнанность, завербованность, п р о д а н н о с т ь

\*

не самоирония, а самоглумление, самоподтрунивание

\*

а о внутренностях героев сейчас говорят так: раздвоенность, разбросанность, расколотость, расщепленность, раздавленность, разбитость

\*

о них говорят коротко: в странах Бенилюкса

\*

Ну, пусть они меня признают. Но ведь это все равно, что Кубу пока признали только Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго.

\*

“в этой погоне за миражами, потребности забыться и уйти от обыденности“ к чему-нибудь, хоть блядкам etc., — будничность, еще более облезлая и тошнотворная.

\*

Анатолий, кончай фраериться!

\*

Для Бори С. мир — маленький комок, подступивший к горлу и застрявший в нем.

\*

Итальянский неореализм против всех идей, концепций, тезисов, проблем и доктрин.

\*

“Простим угрюмство разве это?“ (Блок).

\*

“Что-то с памятью моей стало“, как сказал Роберт Рождественский.

\*

Кончай издеваться,  
Давай раздеваться.

\*

Влад.Влад.Набоков. <...>

О “Приглашении на казнь“ — кошмар существования маленького человека, окруженного чудовищными фантомами современного мира.

О нем: обилие “остраненных“ приемов, литературного снобизма, литературных мистификаций. О влиянии Ф.Кафки и А.Пруста.

\*

пастельность и цельность  
выбончик с надрывчиком

\*

Вечер 13/Х. Канун Покрова. Хоровое пение с солирующей Л. “Во субботу, в день ненастный” и “Ой, да ты, калинушка”. Прелестно.

\*

загадочная, т.е. вышедшая за гада.

\*

По Шопенгауэру: бессмысленна всякая деятельность (кроме деятельности мыслителя. <?> философски доказать эту бессмысленность).

## 1973 ГОД

“Протоколы сионских мудрецов”.

\*

От гавайских гитар до гаванских сигар, от сиамских близнецов до сионских мудрецов.

\*

И что такое вообще йоги и что это за властвование их над своим организмом? Они могут только поставить себе клизму и то так изощренно, что она им не помогает.

\*

Неважно, на кого сколько отпущено строк, это случайность. У Пушкина в “Суровом Данте” на сурового Данта — 1 строка, по одной на Петрарку, Шекспира и Камюэнса, по три на певца Любви и барона Дельвига — и целых четыре Уильяму Вордсворту.

\*

Мари Шарль Фердинад Вальсен Эстергази — вот как звали того французского офицера, который выдал германскому генштабу секреты. А не Альфред Дрейфус. Вечно вы все валите на евреев.

\*

Универсиада в столице. Праздник силы, красоты и грации.

\*

“Нет смысла уповать на какие-нибудь медикаментозные средства“. диагностировать и госпитализировать.

\*

Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки.

\*

Поль Валери: “Из истории можно извлечь лишь склонность к шовинизму. Никаких уроков извлечь нельзя“.

\*

В ирландских сагах: “Три недостатка было у Кухулина: то, что он был слишком молод, то, что он был слишком смел, и то, что он был слишком прекрасен“.

\*

коллежский советник Грибоедов, отставной лейб-гвардии рот-мистр Петр Чаадаев.

\*

“этой бедной России, заблудившейся на земле“.

\*

Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. “Что есть польза?“ — спросил бы прокуратор Понтий Пилат.

\*

жизнь — *vita canina* — собачья

\*

Клеопатра VII — 69—30 г.г.

Мария-Антуанетта — 1755—1793 г. } 38

\*

И почему Василиса должна уходить к Иванушке, если ей и с Кашеем хорошо.

\*

В будущем году спрыснуть 150-летие великого наводнения в Петербурге — 7 ноября 1824 г.

\*

Чаадаев по поводу этого наводнения и по всем подобным поводам: “первое наше правило должно быть не избегать беды, а не заслуживать ее”.

\*

Русская пословица: “За чужой щекой зуб не болит”.

\*

У Солоухина: “Капитан, покусывая трубку, проходил, сухой и непреложный” (из “Мать-мачехи”).

\*

геронтократия  
там же: “Напьемся ноздря в ноздю”.

\*

Вот, еще один вид непредвиденности и смерти. Оса в бутылке красного вина — укус в горло и смерть от удушья.

\*

Вот вам Мао: “Война необходима, etc. Если даже половина государства будет уничтожена, то еще останется половина, зато империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм. А за полвека население опять вырастет, даже больше, чем наполовину”

(на совещании в Москве коммунистических и рабочих партий, 1957 г.).

\*

все остальное — нервическое.



\*

в самом плачевном смысле этих слов

\*

“Я с детства не любил вокзал,  
Я с детства виллу рисовал“.

\*

“Стала пухнуть прекрасная Елена“. (Песни западных славян.)

\*

Могут приобретать, как говорят лингвисты, модальные оттенки.

\*

Нерешитель <ность>, смятение, трусость — и сопутствующие им повышенная концентрация адреналина в крови. Кто из них первичен и кто кого вызывает, дуализм явлений, и все такое.

\*

“И улыбка познания светилась  
На счастливом лице дурака“.

\*

Группировка “трогательно-почвенных“: Кутузов, Левашев, Пономаренко, Попов. (Есенин “Над окошком месяц“)

\*

Два вояжа через Оку: 23/VIII и 25/VIII. На исходе лета.

\*

Вяземский, узнав о душевной болезни Батюшкова (33 года недуга): “Все мы рождены под каким-то бедственным созвездием“.

\*

Все от того, каким сахаром связаны основания этих нуклеиновых кислот: рибозой или дезоксирибозой. Рибонуклеиновая кислота или дезоксирибонуклеиновая кислота.

\*

Начало 41 г. На имя фюрера несколько писем от видных священников, осуждавших “антигуманную практику” истребления душевнобольных.

\*

И — после писем — на совещании нацистской верхушки было решено временно приостановить Операцию (истребление душевнобольных). “Фюрер активно готовился к нападению на Россию, и ему нужна была поддержка церкви”.

\*

Фашисты, постоянно: “не заниматься беспочвенным теоретизированием”, “быть ближе к реальной жизни”.

\*

Тогда Чаадаева упрекали в двух слабостях: унынии и нетерпении.

\*

Как Карамзин о своих ревматизмах, Чаадаев о своей гипохондри.

\*

“Нести неверующую Россию на своих плечах”, — как выразился митрополит Антоний Блюм.

\*

“Покажи свой лик небесный”, — как говорил Имадеддин Насими.

\*

Я ортодокс, Бог обделил меня, ни одной странности.

\*

четверых убил, шестерых изнасиловал, короче, вел себя неприужденно.

\*

\*

Распираемый (который день) — в Москву. <...> ... наконец, Царицыно.

\*

“Когда мне невмочь пересилить беду“ и “Позарастали стежки-дорожки“.

\*

25,26,27,28,29/ VIII. Ничто не поможет.

\*

В британском энциклопедическом словаре: “Как zakalyalas stal“ — “история успеха молодого калеки“.

\*

“Мне скушно обыкновенное, а по сравнению с Христом все обыкновенно“ (Василий Розанов).

\*

умственная и эстетическая аскеза

\*

Споры русских и евреев теперь, кто повинен в коммунистической революции, Бобчинский и Добчинский. Ср <авнить>.

\*

все светло, и только жребий темен.

\*

“От черной похоти хиреет ум“ (1 строка из одного шекспировских сонетов).

\*

продолжить список этих красивых неблаговидностей: перлюстрация писем.

\*

пышущий нездоровьем

✱

Владимир Евгеньевич Максимов.

✱

А.Платон <ов> “Чевенгур“, “Котлован“.

✱

“разложение системы моральных ценностей“ и “вакуум идеалов“.

✱

Пушкин, с отвращением: “Русский бунт, бессмысленный и беспощадный“.

Чаадаев: “покорный энтузиазм толпы“.

✱

ш м о к о д я в к а  
ш а р о м ы г а

✱

Анненский: “Не оттого, что от нее светло,  
А оттого, что с ней не надо света“.

✱

Омрачает, берedit и расширяет сердце всякая тяжелая токкатность. Вот и сегодня, 28/IX, слушал финал 7-ой сонаты Прокофьева.

✱

Богородица Семи скорбей, по количеству мечей, пронзающих ее сердце на изображениях.

✱

противостояние двух болванов.

✱

“Большой скачок“ в Китае. Едят траву в Пекине и обливают мочой трупы на площади Тяньаньминь. “Несколько лет упорного труда — десять тысяч лет счастья“ (Мао).

✱

Так: “Голова завита, да не делом занята“.

✱

Мао в беседе со Сноу: “мне лично нравится международная напряженность“.

✱

“Всяк пляшет, да не как скоморох“ (русская народная).

✱

в сторону с “надлежащих путей“.

✱

Начальник московской жандармерии о Петре Чаадаеве “Образ жизни его весьма скромн, страстей не имеет“.

✱

Булат Окуджава, “Глоток свободы“.  
Гладилин, “Евангелие от Робеспьера“.

✱

Кто же они: бунтари или конформисты?

✱

де ф л о р а ц и о н е р

✱

Прок: вещи в себе, наваждения, сарказмы, мимолетности.

✱

“Кто дознает, какую кручиною  
Надрывается сердце твое?“ (“Меж высоких хлебов“).

✱

у Минаева: “В ресторане ел суп сидя я, суп был сладок, как субсидия“.

\*

о С. 4/IX. Вялый демонизм, унылое сумасбродство, бесшабашность, сотканная из зевот.

\*

“В других государствах иначе делается и лучше делается”.

\*

не первосортная, а второй сорт Б.

\*

У Данилевского: цели народов разновременны и разноместны. “Ибо что же такое интерес всего человечества? Кем сознаваем он, кроме одного Бога, которому, следовательно, и принадлежит ведение его дел?” (Данилевский, “Россия и Европа”).

\*

“презренное и пустое вещелюбие”

\*

сделал два глотка и умер в страшных конвульсиях.

\*

выбирать между европеизацией и русификацией.

\*

В кругу: русофилов, змогов, сексуальных мистиков, сатанистов и строгих католиков.

\*

Воинственные мечты на Сретенке.

\*

Наклонность к творчеству с розовых лет: рисовал мочою картины, прорезая желтым белый снег.

\*

не будучи человеком героического склада.

\*

Н.Страхов в 70-х г.г.: “Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видели“.

\*

Есенин, утонул в 1925 г.

\*

Все узнаю с запозданием. Вот и о смерти Сальваторе Альенде Госсенс — спустя три дня, 13 сентября, въехав после тих <их> новоселий в исторический район.

\*

Бертольд Брехт: нет ничего комичнее смертельной серьезности.  
Бертольд Брехт: Юмор — это чувство дистанции.

\*

“Тишина лечит душу“, сказал Розанов.

\*

“на глазах изумленного человечества“.

\*

о С. “какой клепильник разума угас!“

\*

Антисемит бы сказал: “Почему в песне “Вот мчится тройка“ нехристь староста-татарин, — допустили бы мы такое о жидах?“

\*

Мигель де Унамуно: только видения дон Кихота обладают истинным бытием. Все остальное в романе — иллюзорно.

\*

“Маленькая точка света, которая блестит во мне, может быть, блестит из Росси <и> ... христианская вера снова появляется в интеллигенции. Для меня это знамение. В этом ошалелом мире, где

все в конце концов смешивается, мне кажется, что сам Бог сопротивляется и говорит нам: “Я здесь. Не страшитесь”.

\*

Об эмпиризме и грубых сравнениях: пробовать иметь собственное эмпирическое мнение обо всем, включая бледную поганку, испробовать ее, etc.

\*

не бойко, а ЛИХО — ЛИХО

\*

“А подруга изуверки — верка-верка“ (Г.Сапгир).

\*

“Мистификатор“ и трюкачист Сальвадор Дали.

\*

“Мы лишаем свою интимную жизнь трепетных красок“.

\*

Ерофеев, больше всего известен как толстосум.

\*

18/IX отмечаю шестьсотлетие со дня рождения великого сына Азербайджана поэта Имадеддина Насими, “виночерпия на пиршестве земном“.

\*

Ликвидация душевнобольных на территории Германского рейха. Это объявленная в сентябре 1939 г. “программа избавления от бесполезных людей“.

\*

Джезеппе ди Лампедуза, леопард, хищник.

\*

Александра Коллонтай и Голда Мейерсон (Меир после перемен гражданства) — Голда посол вновь созданного государства в СССР.



\*

древнееврейский иврит и современный идиш.

\*

змеееды, то есть герпетологи.

\*

Ленин в Шушенском. Просторная изба 120 м<sup>2</sup>. Пособие для ссыльного (от царя) — 8 руб. (фунт хлеба — 1 коп.). Теща и девочка Паша для хозяйства (1-я) и прислуги (2-я). Писание, гоно-рары, присылка книг.

\*

“А Луначарского сечь за футуризм“ (Ленин).

\*

“В момент страшного испытания Церковь Христова парализована немощью“ (1939 — 1945 г.г.)

\*

Сплетение обстоятельств, солнечное сплетение обстоятельств. То есть 28/IX, 29/IX, 30/IX.

\*

Ни один композитор не наложил на себя руки.

\*

Важно еще, чтобы преступление считалось преступлением в момент его совершения, а не в период судебного разбирательства и приговора.

\*

Человек должен быть как вода, говорили древние китайцы: в круглом сосуде — круглым и так далее. Попалась преграда — остановись. И теки все вниз, вниз, никуда больше.

\*

истощим и неисчерпаем

\*

Эти античные (опять) занимались только гомосексуализмом, а если и любили баб, то только безруких (Ника Самофракийская), безголовых (Венера) i.e. наоборот.

\*

“и через 15 лет расконвоировали“

\*

композиторы-евреи из числа великих: Феликс Мендельсон, Бартольди и Валерий Тухманов.

\*

идеи с чужого плеча

\*

жена на двоих, вино на троих, на одного колыбель и могила (у Высоцкого).

\*

Брать билеты в транспорте, сморкаться только в общественных уборных etc..

\*

Опрос рабочих завода Рено по поводу их литературных симпатий. “Авангардистских выкрутас“ они не любят. Два любимых большинством произведений “Железная пята“ Джека Лондона и “Как закалялась сталь“ Ник.Островского.

\*

Как Иван Тургенев, пригласил на обед Чернышевского и Добролюбова, а сам не явился.

\*

Ни один композитор мира не покончил с собой и не умер насильственной смертью.

\*

Святейший синод при Николае I учреждает новую епархию, глава которой носил титул епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

\*

“Добрый день быть может вечер узнать конечно не могу привет от чистого сердечка передать тебе спешу здравствуй мама с приветом к тебе твой сын Федя“.

\*

брюхоногие и головоногие моллюски.

\*

Решением иранского правительства, в 1952 г. над могилою Саади сооружен мавзолей.

\*

Розанов в начале века: “загаженность литературы, ее оголтело-радикальный характер“.

\*

Розанов: “Русь молчалива и застенчива, и говорить почти что не умеет. Вот на этом просторе и разгулялся русский болтун“.

\*

“Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских“.

\*

Гитлер сдает в печать свою “Mein Kampf“. Обнаружено на 800-х страницах 2500 разного рода ошибок (больше всего — орфографических).

\*

Генрих Григорьевич Ягода.

\*

Чехов “У меня в душе, может быть, тоже есть свой жанр“.

\*

Первая заповедь отношений к вам: незаинтересованность.

\*

Я по свету немало хаживал, Марк Лисянский, Исаак Дунаевский.

\*

Вы нас благословляли, когда воевали мы, теперь и мы: будь благословен, Израиль.

\*

“Как рисунок бесстыдства  
На стене писсуара“

(Жак Превер).

\*

Литгазета шутит: “Надо узнать, по каким дисциплинам ребенок отстает. Это и есть его призвание“.

\*

“Бог мудрее человека“

(В.Розанов).

\*

Антониони. “Философия недолговечности и хрупкости любви“.

\*

моя хлопотливая и суматошная должность тунеядца  
они со всех сторон обложили меня своими контрибуциями

\*

“продал себя за рюмочку похвалы“ (Розанов).

\*

“Сердитые молодые люди“, в том числе старички уже Джон Уйэн (спеши вниз) и Джон Осборн (оглянься во гневе).

\*

“завещание на Сионе“

\*

“умеренного, но устойчивого благополучия“

\*

“порочный режим, но прочный“

\*

Меня, прежде чем посадить, надо выкопать.

\*

Оттуда: как первую раму, как слово из песни.

\*

У Седаковой в прозе, дворничиха: “Мертвые — они умрут, а живые по ним убивайся!“

\*

Скатертями — все твои дороги.

\*

У Данилевского: об “общественном мнении Европы, которое признаем своим судьей, перед решением которого трепещем, милость которого заискиваем“

(“Россия и Европа“).

\*

у Блока в “Фаине“:

“Темный жребий вам назначен, люди!“

\*

со — преступность

\*

“любезна поступь“ у Богдановича

\*

писать так, во-первых, чтобы было противно читать, — и чтобы каждая строка отдавала самозванством.

\*

фантомы и химеры

\*

Великолепные экземпляры. С 8 до 5 — и въебывают, с перерывом на подъебки с 12-и до 13-и, потом с 5 до 7 /сгинуть/, с 7-и до 10-и взьебки, потом etc.

\*

Прокл: “Всякая душа непреходяща и неуничтожима“.

\*

без пролития желчи

\*

То есть заблудившись, найти что-нибудь более значительное, чем следуя проторенным путем, идти в направлении обратном общепринятому, — Колумб и его Новая Индия.

\*

Сухово-Кобылин, всю жизнь под следствием по делу убийства своей любовницы Луизы Симон-Демант.

\*

Не выпьем. Не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать.

\*

сочетать неприятное с бесполезным

\*

“никогда бы не унился до такой тривиальности“

\*

Отщепенство У.В., во всей Бирме только народность шаны носят брюки. Только в Гоби китайцы не любят моченых мышей и тухлых яиц.

\*

Горький о Розанове: "Недюжинный мыслитель, но далекий и чуждый народу".

\*

1940 г. Игорь Северянин приветствует вступление Прибалтики в "шестнадцатиреспубличный Союз".

\*

1918 г. В стихах Игоря Северянина о Ленине:  
"Его бессмертная заслуга  
Есть окончание войны,  
Его приветствовать как друга  
Людей вы искренно должны".

\*

В туалете на пл.Ногина:  
"Давно известно и не ново,  
что только здесь свобода слова. Да здравствует пл.Сах <аро-  
ва>!" "О'Кей!"

\*

Розанов: "Когда "болит душа", тут не до язычества. Скажите, кому с "болеющей душой" было хотя бы какое-нибудь дело до язычества?"

\*

От Фета к символистам. "Господство звукового принципа над собственно семантическим заданием".

\*

"Молодые девушки у лидийцев все занимаются развратом, зарабатывая себе приданое" (Геродот).

\*

Бунин: "ошеломленная, все на одном сосредоточенная душа".

\*

О принципе добровольности, американский публицист Норт: “Я предпочел бы видеть весь мир пьяным добровольно, чем одного человека трезвым насильно”.

\*

Согревшись у костра, разож <женного> комсомольским билетом, пляшут á la венгерская оперетта: “На свете парня лучше нет, чем и т.д.”.

\*

Прекрасно у Розанова: эти Герцены и Михайловские, и Некрасов — почему они, всю жизнь говорившие, что буржуа должны отдать рабочим фабрики и заводы — почему Герцен деньгой не помог Белинскому? Почему из-за долга в 1700 рублей покончил с собой Глеб Успенский, хотя богачи Некрасов и Михайловский уверяли, что любят его, и давно любили.

Вот вам пролетарские доктрины и пролетарская идеология.

\*

“тоталитарная структура кремлевского режима“ (по радио).

\*

“Все величественное мне было постоянно чуждо. Я не любил и не уважал его“ (Вас.Розанов).

\*

“Не все цинично на Руси“ (Вас.Розанов).

\*

Христа (как следует) знали 12 человек, при 3 с половиной миллионах жителей земли, сейчас Его знают 12 тысяч при 3,5 миллиардах. То же самое.

\*

В этом мире я только подкидыш.

\*

“от умов более едких, подвижных и мелких“ (Розанов).



\*

Это предохраняет от морщин вокруг рта.

\*

Завтра написать Курту Вальдхайму о том, что я признаю независимую республику Гвинею-Бисау.

\*

Карамзин изобрел только букву "ё". Х, П и Ж изобрели Кирилл и Мефодий.

\*

Господь дал мне отдохнуть, генерал-аншеф ему отпуск дал (Матфей Блантер).

\*

Его замысел был умножать, а не делить, вычитать, а не прибавлять — в противовес Его.

\*

Задача у Аверченко: два теленка пробегают в час 8 верст. Спрашивается: сколько телят пробегут за час одну версту?

\*

“таким крайним бесстыдством, такой способностью к неистовству“ (французский роман).

\*

проза документальная и проза орнаментальная. И живопись геральдическая.

\*

Ни Индонезия, ни Чили  
Нас ничему не научили.

\*

И вот, я спросил его шепотом, чтобы никого не потревожить (да и кого было тревожить, мы же были одни). Так вот, я чтобы никого не потревожить, спросил его шепотом (etc.).

\*

“неисчерпаемый лиризм“, как у Алексея Фатьянова.

\*

Характеристика Н.Г.Чернышевского в Саратовской семинарии:  
“Способностей отличных, прилежания ревностного“.

\*

Что невесел? Иль не радует житье?

\*

В Талдоме /ночь/: “лучше быть стройным тунеядцем, чем горбатым ударником“.

\*

Все делается по бабьему наущению: бедняга Макбет, дезертир Антоний, вор Адам, все трезвенники мира.

\*

а мою, мол, точку зрения, оставили в стороне как неосновательную.

\*

был принят в СПб университет “по разряду общей словесности“.

\*

Лиза Чайкина, заведующая избой-читальней.

\*

Октябрь. Каждый день — накопление чудовищных горечей без всяких видимых причин.

\*

Из всей латыни знать только “NB“ и “Sic“.

\*

“Путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны“.

\*

Люди, не убивайте друг друга, ибо это доставляет мне огорчение.

\*

“Я назову тебя проблядью“, как сказал Виктор Боков. “Часто сижу я и думаю. Как мне тебя называть“.

\*

издержки детопроизводства

\*

Расслабьтесь и потрясите кистями (по радио).

\*

Не о меновой стоимости надо говорить, а о рыночной, биржевой цене.

\*

“один эффект аннулируется следующим за ним эффектом, более скандальным“.

\*

“роль сыграл феномен сюрприза“

\*

Илья Гл <азунов>, ловкач, хитрец, утилитарист, дока.

\*

“То о трупы, трупы, трупы  
Спотыкаются копыта“

(Вяч.Иванов).

\*

спячка — течка — случка

\*

депортировать, то есть снять с нее штаны.

\*

у нее все руки в ногтях

\*

“Я любил графиню больше,  
Чем позволено пажу“  
(Ф.Сологуб).

\*

“пессимисты, мокрые от слез“  
(Ю.Галансков).

\*

Знаменитый альтист Расжиревич.

\*

“Мать! Когда я возмужаю, я переверну вверх дном весь Египет“  
(Камбиз, сын Кира).

\*

Один день всего побыл императором Российской империи Михаил Александрович, брат Николая II, отрешенный в его пользу 2 марта 1917. На следующий день отрешен (3 марта) и Михаил.

\*

в чимхистку

\*

но “с разной степенью остервенелости“

\*

И милее всего. Неисчерпаемая череда пасквильных фельетонов Буренина, на всех, от Надсона до бальмонтовских рабочих стихов 1905-го года.

\*

фамилии: Пассажилов и Инвалидов.

\*

“Православие в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу“ (Розанов).

\*  
мытарства и передряги

\*  
“и некий недуг, поразивший его детородные части“ (Геродот).

\*  
о спартанском царе Клеомене: “общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие“ (у Геродота).

\*  
Московские евреи Пляцковский и Фрадкин: “Увезу тебя я в тундру“.

\*  
Выбить этот козырь из их бессовестных рук, то есть сделать наше здравоохранение платным. По любому поводу.

\*  
Как аллилуйи делятся на аллилуи просто и сугубые аллилуи.

\*  
“прогрессирующий сатанизм“

\*  
Геродот: “ты будешь недолговечен“.

\*  
“зачинатель преступных деяний“

\*  
“послужит для них началом бесчисленных бедствий или безмерного счастья“

\*  
Я смело могу занимать произраильскую позицию, Кувейт и Бахрейн не обрекут меня на нефтяной голод, — зачем мне нефть?

\*

“самые курчавые волосы на свете” (Геродот).

\*

“Они свободны, но не во всех отношениях” (Геродот).

\*

У Г.П.Федотова определение понятия “русская интеллигенция”.

“Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей”.

\*

Деревья гибнут без суда и следствия.

\*

стремительное превращение сопляка в старого хрена

\*

Прекрасные египетские фараоны. По свидетельству Геродота: “После Мена было 330 царей. Ни один из них не совершил никаких деяний и не покрыл себя славой. Они ничего не совершили”.

\*

“Алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм его при полном сгорании дает 7,18 калорий” (д-р Гертнер).

\*

Обстановка и мебель. Чугунная ограда, сосновая кровать, пара электрических стульев, скамья подсудимых.

\*

Испанский сапог. Столыпинский галстук. Смирительная рубашка. Терновый венок.

\*

По Геродоту: персы прежде всего ставят себя самих, ближние народы вызывают у них нехорошие чувства. А людей и народы, живущие далее всего от них, они считают самыми негодными. То же и внутри города.

\*

“удрученные долгим блужданием“ (Геродот).

\*

В этом году Голде Меир стукнуло 75 лет. 1898 г.

\*

Но ему-то надо привлечь 2-3-8 сердец, а мне-то надо 20-30-10 сердец. Вот отсюда разница.

\*

Когда камыш только шумит, гнутся деревья.

\*

Замечаю в канун 56-ой годовщины: я умею кривить морду только слева направо, справа налево не получается.

\*

Умница Геродот: “Поступок Аргоса еще не самый постыдный“.

\*

Кудри вьются, кудри вьются,  
Кудри вьются у блядей,  
У порядочных людей  
Денег нет на бигудей.

\*

Какой-то британец: “Рыцарство — удел бедняков“.

\*

Словом, разрушали города.

\*

“О благовониях сказано достаточно“ (Геродот).

\*

“Гадюки водятся на земле повсюду“ (кн. 3, 109, Геродот).

\*

“В мирное время сыновья погребают отцов, а на войне отцы — сыновей“ (Крез у Геродота).

\*

“Я видел этот лабиринт: он выше всякого описания“ (Геродот).

\*

Геродот говорит: надо чтить чужие обычаи. И спустя двести страниц: “Закапывать жертвы в землю живыми — персидский обычай“.

\*

“жеманные и элегантные вертопрахи“

\*

Мао: Пусть они здравоохраняются сами.

\*

“При наличии еврейской диаспоры“

\*

“Небо не любит гордецов“

\*

Стихи поэтов Бангладеш. Отсутствие мелкой монеты не может служить извинением безбилетного проезда.

\*

Деньги — это то, у чего только два лица: или их нет, или их совсем нет.

\*

И опять: да нет, это просто от дыма.

\*

Карамзин: “тут нет ничего непрекрасного“.

\*

“пустая многозначительность“ (у Честертона).



\*

излюбленная фраза Цицерона в катилин <ских> речах: “отребье человечества”.

\*

Магазины на ул.Пушкина. Соболя и колбасы. Вино, фрукты и диапозитивы.

\*

И.Панаев: “человек, отягощенный галантерейностями”.

\*

“Буря возмущения среди трудящихся Англии”: консерваторы ввели трехдневную рабочую неделю.

\*

и ограниченность и нормативность

\*

Сковорода: “Здравствуй, вожденная истина!”

\*

Ср. их тяж <есть> и безвыходность, и мою, дурац <кую> .  
У них завтра зарпл <ата> — а сегодня нечего жрать.  
А у меня ленин <градская> блокада.

\*

радикалы — экстремисты — максималисты — ультра.

\*

Пресловутый Амальрик: “Россия — страна без веры, без традиций, без культуры и умения работать”.

\*

“Букет Абхазии” — в народе это называется подхватить одновременно триппер, сифилис и мандавошек.

\*

современники называли Альбера Великого “всеобъемлющим доктором”.

\*

Людвиг Бёрне: секрет сделаться писателем для умного и сердечного человека — прост: стоит присесть к столу и выложить на бумагу свою душу.

\*

Популяризаторы отрицают <ельных> доктрин.

\*

Не заб<ыть>: и декларация Прав чел<овека> ходит в Самиздате.

\*

Та же параллель мы с Л. спускаемся по метрополитену; я узнаю контролера (он — каждый день видящий), а я узнаю. И они докучают богу, как докучают контролеру. А Он нас знает, и мы его знаем, и вся Его надежда на нас.

\*

Т.е. виною молчания еще и пост<оянное> отсутствие одиночества: стены закрытых кабин муж<ских> туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых — ни строчки.

\*

гарнизонным языком и походкою

\*

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

\*

Вся неделя проходит под знаком уныния и насморчности. (20/XII).

\*

Возрожд<ение> со вселения 20/XII в Болшево.

\*

Впервые за весь 73 год — я весь день сов<сем> один. Болшево. И долго не могу уснуть, от избытков впечатлений.

\*

Авторитарные семьи (т.е. с преобладанием одного из членов) и эгалитарные семьи.

\*

Оскар Уайльд: в Лондоне никогда не бывает туманов, лондонские туманы выдуманы Тернером.

\*

Не хочу ходить по одной половице.

\*

Вадим Т., титан пустобрехства, корифей бестолковости.

\*

И я постоянно эскортирован.

\*

соитие страстотерпца с великомученицей

\*

“Португалия, эта золушка Европы“.

\*

Васко да Гама, “адмирал индийских морей“

\*

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их стороны.

\*

Еще французские афоризмы. Мирабо: “Препятствия нам кажутся слишком большими, потому что мы стоим перед ними на коленях“.

\*

Ото всего этого несет непоправимостью.

\*

У него зато душа грамотная, душа — с высшим образованием.

\*

Не забывать о главном: трогательность.

\*

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько станаховских движений.

\*

Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести — нехорошо и греховно.

\*

И в самом деле (где-то у Шварца): если бы Франц Моор пришел в театр смотреть “Разбойников“, он болел бы за Карла Моора.

\*

Ключевский: “дарвинизированные умы“.

\*

И опять нефтяные эмбарго.

\*

“Да здравствует Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума!“ (М.Горький, “Правда“, 1935).

\*

Восстановлю эту параллель пьющих и непьющих:

Христос — Магомет

Дантон — Робеспьер

Геринг — Адольф

Есенин — Маяковский

\*

У Ключевского: “Говорят, собаки перестают лаять, когда видят человека, плачущего над могилой“.

\*

Оказ<ывается>, по экзист<енциалистам>, заброшенность надо понимать широко (и как: человек “заброшен“ в этот мир, неведомо зачем).

\*

Из числа неожиданностей, научно давно подтвержденных, нпрм: подсол<нечное> масло калорийнее сливочного, а древесный уголь калорийнее каменного.

\*

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

\*

женщина неограниченных возможностей

\*

бесстыдство помыслов

\*

“непригодна для молодых субъектов“

\*

“ангел ты мой поднебесный“

\*

О влиянии Эрнста Кречмера на совр<еменную> криминалистику и характерологию. Кречмер и его классификация конституционных свойств ч<еловека>: пикнический тип, астенический, атлетический и диспластический.

\*

Щеки<sup>1</sup> видать со спины, губы срамные, но лоб — сократов, но глаза — анютины.

\*

24—25/XII. Сочельник и Рождество. Болшево — и со-вер<шенно> один...

---

*Публикация Г.П.Ерофеевой. Сохранена пунктуация и орфография Венедикта Ерофеева.*

ВАДИМ ДЕЛОНЕ

ПОРТРЕТЫ

В КОЛЮЧЕЙ

РАМЕ

*13 июля 1983 года в пригороде Парижа, в эмиграции умер Вадим Делоне — один из семи, что вышли на Красную Площадь в августе 1968 года с плакатом: “За вашу и нашу свободу”. Этот лозунг я видел еще раз совсем недавно — на январском мининге на Манежной площади. Видимо, за последние десятилетия он никак не может постареть и остается вечно юным, в отличие от нас всех, уже смутно припоминающих те времена. Более того, популярность его все возрастает, если судить по количеству людей, выходящих на демонстрации. Значит, жива и та семерка, жив и Вадим. А лагеря, о которых он писал, как бы мы ни старались не смотреть в ту сторону, до сих пор маячат где-то неподалеку.*

Владимир БЕРЕЖКОВ

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Друзья звонят из Москвы и спрашивают, как жизнь. Я отвечаю лагерной поговоркой: “Только первые пять лет худо... а дальше — все тяжелее и тяжелее“. Ведь по сути дела, эмиграция — это такое же бессрочное отчуждение людей от их подлинной жизни, от их прошлого, как и тюремное заключение. Правда, харч получше, коридоры длиною в авиарейсы, да можешь выбирать сокамерников по собственному усмотрению. В первый день моего приезда в Париж французские приятели возили меня по всему городу и потом спросили: “Что вам понравилось больше всего?“ Я указал здание на берегу Сены. Спутники мои рассмеялись: “У вас, видимо, ностальгия по тюрьмам, это — Консьержери!“

Да... Консьержери, сначала — Мария-Антуанетта, потом — Робеспьер...

“Но вы же вернулись на землю своих предков, господин Делоне, почему вы так переживаете? И что вы чувствовали, когда вас выпускали на свободу?“

Ответить на этот вопрос односложно я никак не мог... Я чувствовал ужас от того, что добровольно поднимаюсь по трапу самолета в то время, как тысячи моих соотечественников маются по тюрьмам или ожидают арестов, а другие отдали бы все на свете за любезно предоставленную мне возможность вырваться из страны победившего социализма.

Я испытывал унижение оттого, что после мрака штрафных лагерей КГБ все же удалось поставить меня на колени, но уже перед воротами Лефортовской тюрьмы, когда арестовали мою жену.

Меня охватило отчаяние оттого, что многих своих родных и друзей я, быть может, никогда не увижу.

И я всегда знал, что потеря звуков родного языка для поэта равносильна потере слуха для композитора...

Но объяснить это моим спутникам было трудно.

— Лучше, господа, вернемся к истории, — предложил я, — подлинная история всегда страшнее того, что можно о ней выдумать.

Моим далеким предком был комендант Бастилии. За верность присяге королю ему отрубили голову в порыве “народного гнева“

и торжественно носили ее на пиках восставших по улицам Парижа. Племянник коменданта, мой прямой предок по мужской линии, был известным врачом и служил при личной гвардии Наполеона. Был ранен под Бородино, взят в плен, во Францию не вернулся, так как женился по любви на русской небогатой дворянке Тухачевской. Жил на свою частную врачебную практику. Кстати, знаменитый советский маршал Тухачевский, которого называли “красным Бонапартом“, из того же рода. Он был одним из кадровых офицеров русской армии, перешедших на сторону большевиков. Маршал Тухачевский был расстрелян по личному приказу товарища Сталина в тридцать седьмом году и вполне благополучно реабилитирован в пятьдесят шестом. Возможно, его убили в той же Лефортовской тюрьме, в которой я сидел в конце шестидесятих годов.

Но моя семья, семья Делоне, никакого отношения к большевистскому перевороту не имела. В двадцать третьем году, когда отчаявшиеся обездоленные люди, измученные кровавым советским террором, бежали из России, моему деду, тогда совсем молодому, но уже известному ученому, предложили профессорскую степень в Париже. От выезда он отказался, хотя прекрасно понимал, чем рискует. Он считал, что его долг остаться в России. Даже в эпоху массовых расстрелов и пыток он осмеливался обращаться к властям с прошениями об арестованных родных и друзьях. К тому времени за математические труды он получил академическое звание, но ни в сталинские, ни в наши годы это никому не гарантировало безопасности. До последних дней жизни он продолжал увлеченно работать со своими учениками — многие из них стали знаменитыми математиками, — совершал горные восхождения, на которые мало кто решался даже в юности.

В семидесятом году, когда деду было восемьдесят лет, ему доставили особую радость — встретиться со своим внуком в бараке для свиданий уголовной сибирской зоны. Свидания разрешались раз в год на трое суток только с близкими родственниками. Через три часа я упросил деда улететь назад в Москву, так как понял — для него невыносимо видеть меня в этой обстановке и сознавать, что ничем не может мне помочь.

Итак, мой дед пределов России не покидал.

В волне послереволюционной эмиграции в Париже оказалась его кузина (Делоне по материнской линии), поэтесса и художни-



ца, дар которой высоко ценил Александр Блок и многие из тех, кто составлял цвет русской культуры “Серебряного века”. Во Франции она известна под именем матери Марии, православной монахини в миру. Сначала она помогала бесприютным и больным русским эмигрантам. Ей удалось собрать средства и снять дом, в котором эти люди могли жить и питаться, благодаря ее отчаянным усилиям; соседний гараж был перестроен в русскую церковь, многие иконы писались самой матерью Марией. Когда немцы вошли в Париж, в том же доме на рю дю Лурмель мать Мария прятала евреев, доставала для них поддельные документы, помогала бежать в неоккупированные районы, принимала активное участие в Соппротивлении. В сорок третьем году по доносу в этот дом нагрянуло гестапо. Не застав матери Марии, они забрали ее 22-летнего сына как заложника и обещали отпустить его, если мать Мария сама явится в их штаб. На следующий день она была арестована. Сына не освободили. Мать Мария погибла в лагере Равенсбрук, ее сын — в Бухенвальде.

Как раз в связи с матерью Марией и произошло первое мое столкновение с представителями КГБ от литературы. Мне было восемнадцать лет, шел шестьдесят шестой год. Я учился в институте и даже работал внештатным сотрудником “Литературной газеты”. Меня вызвали на продолжительную беседу и объявили: во-первых, у меня плохие друзья — Буковский, Галансков и другие. Во-вторых, зная, что я родственник матери Марии, предложили мне командировку в Париж (о чем мало кто мог мечтать даже из верноподданных советских писателей) с тем, чтобы я собрал материалы и написал книгу о ее жизни. Но при этом прозрачно намекнули: я непременно должен объяснить мотивы антифашистской деятельности матери Марии не ее глубокой христианской верой, а сочувствием коммунистической идеологии.

Я был несколько удивлен, почему именно ко мне обратились с такой просьбой. “Видите ли, — разъяснили мне, — мы посылаем за границу сотни сотрудников, но каждый из них готов продать родину за пару джинсов. Вы же не из той категории людей”.

— Россию я, верно, не продам, — ответил я, — но только понятия о Родине и чести у нас с вами совершенно разные.

— Ну смотрите, Делоне, в скором времени вы поедете совсем в другую сторону.

В декабре 1966 года я был отправлен на несколько недель в

психбольницу за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозаиков и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и др. Я провел в стенах Лефортовской тюрьмы 10 месяцев. Осенью 1967 г. я уехал из Москвы в Новосибирский Академгородок и стараниями друзей-ученых был зачислен в Новосибирский университет.

В дни суда над Галансковым и Гинзбургом на стенах зданий Новосибирского Академгородка, за тысячи километров от Москвы, появились лозунги: **“ЧЕСТНОСТЬ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ”**, **“СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАВНО ФАШИСТСКОМУ”**. Надо ли объяснять, какая расправа полагается за такие лозунги — не менее трех лет лагерей. Но в постоянно патрулируемом КГБ закрытом Академгородке виновных так и не нашли.

В этот сказочный период власти не могли запретить бесчисленные вечера, на которых читались неподцензурные стихи, выступали барды. Тогда в первый и последний раз перед такой широкой аудиторией на своей родине свободно пел Александр Галич. Над клубом Академгородка красовался двусмысленный лозунг: **“Поэты! Вас ждет Сибирь!”**

Причина, по которой власти дозволили столь невероятную для Советского Союза демократию, была одна — временное замешательство.

Ночами мы не отходили от приемников, слушали первые сообщения западного радио о Пражской Весне — все жили только этим. Заявление Дубчека о частичной отмене цензуры, демонстрации в Праге с требованиями морального осуждения и изгнания с государственных постов тех, кто замешан в расправах над невинными. Эти сообщения радовали, объединяли нас. И многим казалось, что стена между нами и свободой медленно рушится.

Но власти постепенно приходили в себя. И первой, как всегда, выступила наша “самая честная в мире” советская пресса и запестрила разоблачениями. Газета “Вечерний Новосибирск” удостоила меня целым разворотом под названием “В кривом зеркале”. Имелось в виду, что стихи мои — кривое зеркало, искажающее славную советскую действительность. Один из моих друзей, актер, с большим пафосом читал этот опус. Особое удовольствие всем доставила фраза: “Он не видит ни звезд, ни солнца, ни глаз

любимой“. Но была в этой статейке одна неприятная угроза: “Странно, что этому зарвавшемуся антисоветчику оказывают поддержку некоторые крупные академики“. И вот мне пришлось явиться в ректорат университета и просить меня исключить — я решил проявить лояльность, чтобы не заставлять людей страдать из-за меня, чтобы они могли избежать неминуемых репрессий. Я попрощался с многочисленными новосибирскими друзьями и в июне вылетел в Москву.

В столице спорили только об одном — введут или не введут танки в Прагу. Все понимали, что, если Советский Союз окажет “братскую помощь“, всем надеждам придет конец. Если посмеют расправиться с целой страной, притом чужой, то уж со своими вольнодумцами расправятся и подавно...

И все же надеялись, что не посмеют, побоятся общественного мнения Запада. Что чехам удалось прорвать кордоны лжи, и не смогут советские власти давить танками свободу на глазах у всего мира... Я не разделял этого оптимизма. Десять месяцев допросов в центральной тюрьме КГБ показали мне, что мало изменений в нашем отечестве со времен “вождя народов“.

Я знал, что режим страны победившего социализма не может допустить ни личной свободы для своих граждан, ни развала своего незыблемого Варшавского блока. Да и чешские руководители позднее, на знаменитом совещании в Чиерие над Тиссой как-то уж слишком заискивали перед Брежневым, клялись в верности идеалам коммунизма, в то время как советская пресса уже начала клеймить их на все лады.

В дни этого совещания я жил на даче и как-то забрел в соседний дом отдыха. Группа чешских юношей и девушек, приехавших по путевкам, смущенно стояла в сторонке. Прочие отдыхающие отводили глаза — дирекция дома отдыха и вездесущие люди из КГБ предупредили всех: к чехам не подходить, будете с ними общаться, сообщим по месту работы. Я бросился к чехам. Они чуть не плакали, что кто-то с ними общается.

А над Тиссой все клялись в нерушимой преданности...

21 августа утром я узнал, что советские танки вошли в Прагу. Невыносимым было состояние унижения, бессилия, отчаяния и стыда за свою страну.

На многих дачах горели костры. Жгли не сухие листья — жгли самиздат, ожидая обысков...

25 августа с моими друзьями я вышел на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии и снова был арестован. На этот раз я был приговорен к трем годам уголовных лагерей. В своем последнем слове на суде я сказал, в частности, следующее:

“Не стану повторять все, что сказал мой адвокат. Я с самого начала заявил, что считаю предъявленное мне обвинение несостоятельным. Мое мнение не изменилось и после того, как я выслушал показания свидетелей и речь прокурора...

Я не стану долго объяснять, почему тексты лозунгов не являются ни заведомо ложными, ни порочащими. Текст лозунга, который я держал в руках — “За вашу и нашу свободу“, — выражает мое глубокое личное убеждение...

Здесь, в зале суда, прокурор обратился ко мне с вопросом: “Какой свободы вы требуете? Свободы клеветать? Свободы устраивать сборища?“ Нет, мне не нужна “свобода клеветать“.

Я понимаю этот лозунг так: от нашей свободы зависит не только демократия в нашей стране, но и свобода развития другого государства, и свобода граждан другой страны...

Принимая решение по дороге на Красную площадь, я знал, что не совершу незаконных действий, но понимал, был уверен, что против меня будет возбуждено уголовное дело. И то, что я был ранее осужден, не могло побудить меня отказаться от протеста...

Я понимал, что **ЗА ПЯТЬ МИНУТ СВОБОДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ Я МОГУ РАСПЛАТИТЬСЯ ГОДАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ...**“

*“Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, — спешил я подумать себе в утешение, — кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, о которых, которые о т а л и с ь там, за острогом“. Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем — Боже мой! — если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!“*

Ф. Достоевский “Записки из мертвого дома“.

\* \* \*

Дверь камеры открылась со знакомым скрипом. На пороге появилась фигура полковника Петренко. Я поднялся, исполняя инструкцию приветствовать начальство стоя. “Скоро узнаете, Делоне, лагерь — не Лефортовская тюрьма, там с вами на “будьте любезны“ разговаривать не будут. Быстро сломают. И запомните раз и навсегда — мы никогда не позволим вам говорить то, что вы думаете... Все-таки я вас не понимаю. Всего 19 лет, а уже второй раз за решеткой. Способный парень, ни в чем не нуждались, жили бы, как все люди. Не любите вы сами себя, что ли?”

Я вовсе не считал, что не люблю себя. Я прекрасно знал, что люблю себя даже слишком сильно, и единственное мое утешение: ведь сказано в Евангелии — “Люби ближнего, как самого себя“.

Нет, если бы я себя не любил, разве сжималось бы горло от стыда, когда читал я в газете “Правда“ об “единодушной поддержке всем советским народом“ мер по оказанию помощи Чехословакии. Нет, я слишком любил себя, чтобы смириться с этим. Мне вспомнился Достоевский, “Братья Карамазовы“, как Иван Карамазов говорит, что он готов полюбить все человечество, но только абстрактное человечество. Что готов даже на подвиг, на какие угодно муки, но вот конкретного ближнего он никак полюбить не может и для какого-нибудь пьяного и хитрого мужичонки даже пальцем не пошевелит. Да и для самого себя тоже. Сколько их, пренебрегавших ближними ради абстрактной идеи — от Нерона до Дантона, от Ивана Карамазова и Верховенского до Ленина и Сталина.

“И все-таки я не понимаю, — продолжал Петренко, — ваш дед — известный математик, академик, отец — физик, на коммунизм работают всю жизнь, на нас. А вы против — как же так?“ Да, думал я, в том-то и суть, что молча все мы на вас работаем, на танки, которые в Праге, на тех, кто тридцать лет назад пытал в тех стенах, где сейчас ведут со мной задушевные беседы, отправляя в концлагерь.

Нет уж, увольте меня от вашего коммунизма. “Я возвращаю вам билет“ в это светлое будущее. Выдайте мне вместо советского паспорта, “серпастого и молоткастого“, которым так гордился поэт Маяковский и его последователи, выдайте мне копию ПРИ-

ГОВОРА ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Я мало верю, что в скором времени смогу предъявить его вам как обвинение. Но это моя индульгенция перед собой, перед ближними, перед Прагой.

Я с грустью думал о том, что покидаю стены тюрьмы. Лефортово, тишина которого многих сводила с ума, теперь казалась мне чуть ли не последним пристанищем, последней возможностью побыть с самим собой наедине. Ведь впереди этап в Сибирь.

Заскрипели, залязгали двери, захлопнулась крохотная клетушка уже знакомого воронка, в которой даже закурить невозможно — так стиснут ты качающимися, наплывающими на тебя в дорожной тряске железными стенами. И снова изнурительный шмон перед входом в пересылку Красная Пресня. Собирая растерзанные вещички в боксике предварительных камер, я прислушивался к многоголосой перекличке. Тревога и ожидание пути в неизвестное, пути, с которого можно и не вернуться, будоражит людей, взвинчивает их до предела. Из всех боксиков, по всему гулкому переходу неслись истошные крики, брань, песни. Голоса перекрывали друг друга и терялись, вопрошали, не дожидаясь ответа, и отвечали никому и всем сразу. И вдруг в этом хаосе криков я узнал знакомый голос Володи Дремлюги, моего подельника. Радость, обуявшая нас обоих, была неопишуемой, как будто не два месяца, а десятки лет прошли со времени нашей последней встречи в зале суда на скамье подсудимых. “Вадик, — кричал Дремлюга, надрывая свой и без того зычный голос, — Вадик, я дву-жильный, я все выдержу, я из работяг, с детства скитаюсь, я не пропаду, глотку им всем перегрызу, ты же знаешь, кому угодно лапши на уши навешаю. В случае чего в побег уйду, все равно вырвусь из этого социалистического концлагеря. А тебя ведь затравить могут, я им за тебя никогда не прощу. Ты же поэт, они над тобой издеваться будут. Эх, только бы в одну зону попасть, вместе...” — “Милый Дремлюга, — думал я, — где уж там в одну зону. Лагерей по России не счесть...” Дремлюга понял мое молчание. “Вадик, почитай стихи на прощание!” — крикнул он. Я начал читать отрывки из своей Лефортовской баллады:

.....  
Чем дышишь ты, моя душа,  
Когда остатки сна ночами

Скребут шагами сторожа,  
Как по стеклу скребут гвоздями?

Там за решеткой, на заре,  
Там, за разделом хлебных паек,  
На белокаменной зиме  
Раскинул иней ряд мозаик.

Людей припомним не со злом,  
Душа, сочувствий мне не требуй,  
Пусть путь мой крив, как рук излом,  
В немой тоске воздетых к небу.

Но вдруг, душа, в моей казне  
Не хватит сил — привычка к шири,  
И дни, отпущенные мне,  
Одним движеньем растрянжирю?

А если я с ума сойду —  
Совсем, как сходят без уловки,  
На полном поезда ходу,  
Не дожидаясь остановки?

.....

Я вижу профиль Гумилева,  
Ах, подпоручик, ваша честь,  
Вы отчеканивали слово,  
Как шаг, когда вы шли на смерть.

Вас не представили к награде,  
К простому третьему кресту,  
На Новодевичьем в ограде,  
И даже скромно на миру.

И где могила Мандельштама,  
Метель в Сучане не шепнет,  
Здесь не Михайловского драма —  
Куда похлеще переплет.

На глубину строки наветы...  
За голубую кровь стихов  
В дорогу, синюю от ветра,  
Этапом мимо городов.

И он строфы не переправит...  
И умирая, понял вновь,  
Что волкодавов стая травит  
Не только тех, в ком волка кровь...

Потом Галича, потом еще чьи-то, читал, надрываясь, с таким восторгом, как не читал никогда прежде и потом. Мандельштама я все откладывал, берег напоследок. Я знал, что в этих самых боксиках этой самой пересылки тридцать лет назад за свои бессмертные стихи погибал Осип Мандельштам. Я вспомнить хотел эти несколько строк и дать им рождение второе.

Гомон в камерах улегся. Пересылка затихла. В гулком коридоре стихи были отчетливо слышны:

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца —  
Там припомнят кремлевского горца.

Двери боксика распахнулись. Сизый от ярости капитан даже не кричал, а как-то всхлипывал, захлебываясь слюной: “Сука, антисоветчик, фашист! В наручниках мы тебя обломаем!” Двое здоровенных надзирателей деловито тюкали меня головой об стену. Изящные браслеты американского производства сомкнулись на выгнутых за спиной руках. Щемящая боль покатилась по позвоночнику. Меня пинками поволокли к боксу особого назначения. В другую сторону волокли Дремлюгу. Последнее, что я слышал, — его отчаянный крик: “Гады, коммунисты хуевы, не трогайте Делоне, не смейте, всю пересылку на ноги подниму!”

Не знаю, когда я очнулся и каким образом вообще пришел в себя. Я только понял, что стою на коленях, упершись лицом в цемент. Примерно около получаса я пытался подняться, но это вызвало страшную режущую боль. Я давно слышал про американские браслеты, что каждое движение приводит к тому, что цепочка на наручниках защелкивается еще на одно деление. Торжество автоматике! Заключение пытается самого себя. Не нужно применять силу и утруждать надзирателей. Но я все же продолжал пытаться себя, пытаться с одной только целью — подняться на ноги. За моими упражнениями наблюдали с двух сторон, через два глазка,



один из которых наподобие перископа был вмонтирован в стену толщиной около трех метров. Глазки открывались, и в них появлялось “недремлющее око“. Я все-таки встал и уперся лбом в стену. Дверь открылась, и появился уже знакомый мне капитан. Он все еще не мог успокоиться — такое сильное впечатление, очевидно, произвела на него моя поэзия. Он дышал мне в нос винным перегаром и тыкал в лицо горячей папиросой. “Щенок, чехов вздумал защищать, там наши парни гибнут, а ты в адвокаты полез“. — “Не надобно войска вводить, когда не просят“, — выдавил я. “Ах, войска вводить не надо, гад, мы, если б не эти американцы, и по Германии бы прошлись и подальше, а ты, значит, против. Ничего, скоро порядок наведем, всех вас сгноим. А тебе, запомни, из лагеря не выйти, не поможет тебе “Голос Америки“, кровью харкать будешь, сволочь интеллигентская. Я бы сам в чехов стрелял, да вот таких, как ты, вредителей, охранять приходится“. На этом его красноречие иссякло. Я то приходил в себя, то снова исчезал в какой-то липкой пелене. Дверь снова скрипнула, и я приготовился к новому докладу о международном положении и моей предательской роли в нем. Но на пороге стоял пожилой надзиратель. Опасливо озираясь, он втиснул мне в разбитые губы уже закуренную сигарету. “Покури, покури, сынок, эка они на тебя накинулись. Тут все офицерье, как прочитали в газетах про вашу демонстрацию, никак успокоиться не могут, только и злорадничают, к нам, мол, придут, голубчики, никто Красной Пресни не минует, а капитан этот за пьянку из армии списан и во всем интеллигенцию винит, а что они ему сделали, ума не приложу. Я бы давно с этой работы подлой ушел, да из деревни я, инвалид, а в Москве только на такой службе прописку получить можно. Все сытнее, чем в колхозе, и комнатенка казенная“. Он все говорил и говорил, поднося к губам и давая затянуться своей сигаретой, как будто вливал в горло больному глоток холодной воды. В общую камеру меня втащили уже к ночи. Первые ехидные фразы, которыми обычно встречают новичка, быстро утихли, когда блатные пригляделись. Сквозь туман я слышал голоса. “Чего это с ним, начальник? Доходяга, что ли? За что это его?“ Чьи-то руки подняли меня и уложили на нары. Спал я, очевидно, долго и, когда проснулся, понял, что моего пробуждения ждали с любопытством. “Сколько же они тебя в браслетах продержали, землячок?“ — “Не знаю, часов шесть, наверное“. — “Шесть! Суки по-

ганы! Не положняк! Медицинская норма полчаса! Ты же мог подохнуть. Это обрыв крови, и позвоночник ломает самозатягивающаяся змейка. А за что это ты сидишь, за какую политику?“ Руки у меня не двигались, но сознание возвращалось. Я вдруг понял, почему ко мне относятся с таким искренним почтением. Я был на всю камеру единственным обладателем шевелюры. Из всех следственных тюрем не бреют головы только в Лефортово. Если бы я вошел в камеру в смокинге, я вряд ли произвел бы большее впечатление. “Так что за политика такая?“ — выспрашивали меня. “Да понимаешь, земляк, за чехов заступился, устроил кипеш на Красной площади“. Камера загудела. Газеты в пересыльной тюрьме полагались ежедневно, и все, конечно, прочли два потрясающих по своей загадочности фельетона “В расчете на сенсацию“ и “По заслугам“. И вдруг один из “героев“ лежит с ними на нарах. Поднялся невероятный гвалт. Обо мне почти забыли. Выяснили свое отношение к происшедшему и причины, которые побудили меня на такую политику. Спорили между собой вплоть до драки и бесконечной ругани. Наконец, иссякнув, обратились ко мне: “Земляк, не томи душу. Мы вот все спорим, сколько вы у американцев денег получили? Мы думаем, так что если тысяч за полста, то дело доброе, мы бы тоже пошли“. Я не обиделся даже, а как-то растерялся. Все пытался доказать, что ничего не получил ни от каких американцев, а выступал, чтоб каждый жил, как хочет. Блатные понимающе кивали. “Ну да, политик, что там говорить, мы знаем, везде осторожность нужна. Вот и в наручниках, видать, из тебя ничего не выпытали...“ Интерес ко мне был явно утерян, и основной разговор сводился к бесчисленным спорам о том, за какую сумму можно пойти на срок. Молчание мое вызвало почтение, а возбуждение камеры не знало границ. На второй день голову мою и мошонку побрили, приведя меня к виду, предписанному инструкциями,

\* \* \*

В начале лета освобождался Егор. По дороге к жилой зоне, глядя в дырку, пробитую через обшивку железного кузова рефрижератора на ожидавшую его свободу, Егор попросил меня: “Слушай, напиши ты мне стихи, только не блатные, а такие, чтобы как романс. Для девчонки моей, рассказывал я тебе, как ее поса-

дили. Любил я ее. Сам знаешь, из лагеря в лагерь письма запрещены, ну теперь выйду на волю, напишу. Ты уж сочини, только так, чтобы она не заподозрила, будто не я написал, попроще...“ Не в первый раз я оказывался в роли Сирано де Бержерака. К вечеру была готова стилизованная баллада. Потом ее положили на музыку и исполняли под гитару на неподцензурных сходках нашей зоны:

. . . . .  
 Я срок тянул без радостей земных,  
 Где гнет сучня, борзея год от года,  
 И по костям товарищей своих  
 Досрочно выползает на свободу.

Я срок тянул, нелегкий пятерик,  
 Но обо мне никто сказать не может,  
 Чтоб я хоть раз кому-то шестерил,  
 Чтоб я кого-то вкинул или вложил.

Теперь года печали за спиной,  
 Но все-таки, любимая, ты знаешь,  
 Мне бы хотелось встретиться с тобой,  
 Но ты пока что путь мой продолжаешь.

И жизнь твоя идет по лагерям,  
 Я знаю, как там холодно и жутко,  
 Не верю, что судьба подарит нам  
 Одну хотя бы светлую минутку.

Ты успокоишь ласками мой пыл,  
 Обнимешь чуть дрожащими руками,  
 Ведь я такой, любимая, как был,  
 Я с ног не сбит тюрьмой и лагерями...

Как беглый каторжник, стою перед тобой,  
 Глаза твои — живой мираж спасенья,  
 А белый снег летит над головой,  
 Реальность придавая сновиденьям.

Скрипит метель в глуши пустых ночей,  
 Хрипит барак, тревожно засыпая,  
 И бьется солнце за колючкой лагерей,  
 Как пойманная рыбка золотая.

Вот выкликает лагерный конвой  
Фамилию мою и год рожденья,  
И я стою с побритой головой  
Под медленною пыткой униженья.

В один день с Егором досрочно освобождался москвич Миронов по прозвищу Кишка. Даже среди активистов этот достойный член штаба СВП считался негодяем. На всей двухтысячной зоне не было ни одного человека, на которого бы этот Миронов не донес. Ни один лагерный надзиратель не мог сравниться с ним с мастерстве унюхать незаконное чаепитие или провоз из рабочей зоны купленных у вольных сигарет. С утра до ночи этот здоровенный опухший детина, от которого всегда разило отрыжкой даровой добавочной каши, носился по зоне как угорелый. Даже дотошных офицеров иногда утомляло его неистовое рвение. Активисты из сибирских вели себя посдержаннее и доносили не на всех. Хотя и доблестная Тюменская область величиной чуть не с Западную Европу, но пути-дороги ее обитателей пересекаются часто, человек там не может исчезнуть и раствориться. Активисты из сибирских прекрасно знали, что после досрочного освобождения рано или поздно попадутся на глаза. В тех краях темнеет быстро, и на воле нет автоматчиков на вышках и стукачей в каждом бараке. Активисты из сибирских опасались расправы. Миронов ее не боялся. В Москве легко исчезнуть. Миронов надеялся на скорую реабилитацию перед государством всеобщей справедливости. Он отбывал срок за то, что, будучи начальником ударного комсомольского отряда, обсчитывал работяг. Конечно, все комсомольские вожаки так и поступают, но Кишка по своей неумной жадности превысил пределы дозволенного грабежа. Теперь условно-досрочное освобождение гарантировало ему не только московскую прописку, но и возвращение на прежнее место работы.

До вокзала, во избежание инцидентов, его должен был сопровождать один из младших офицеров охраны. Через пару дней по зоне поползли злорадные слухи: с Мироновым все же посчитались дорогой. Подробностей никто не знал. Блатные и мужики, пацаны и доходяги — все без исключения строили гипотезы, не скрывая радости. В один из вечеров ко мне в барак забежал посланец Со-

ловья. “Политик, — прошептал он, — Леха ждет тебя, разговор серьезный”.

Соловей был не по обыкновению мрачен.

“Беда случилась — только что из Тюменской тюрьмы мне передали — Егор под расстрелом сидит, всего один день по свободе погулял. Не судьба, значит, а какой парень... Он-то Кишку эту, Миронова, и вспорол”.

“Как же так, Леха, — мне все не верилось, — его же охраняли, не может быть...”

“Охраняли... теперь его земля охраняет, гада этого. Вот как дело было. Приехал Миронов с офицером на вокзал. В зоне-то он чая в рот не брал, все праведника корчил, а тут отпраздновать решил. Всех, мол, обманул — на зоне кумовское сало днем и ночью жрал и по половине срока освободился. Ну и стали они с офицером в вокзальном ресторане опрокидывать. Дальше — больше. Премий у него от начальства за отличную работу немало накопилось, хотя он, паскуда, на работу никогда не появлялся, а все больше в штабе СВП да у кума торчал. Отправку свою в Москву Миронов отложил, и стали они из ресторана в ресторан переползать. И в одном кабаке вынесло их на Егора, но спьяну не заметили. А тут еще офицер спохватился, что пора ему быть на зоне, и оставил Миронова без присмотра. Тот покуралесил еще немного и поплелся на вокзал. Дорогой его Егор и остановил. Ты же знаешь, как он может душу отвести, да еще на таком дерьме, из-за которого у скольких пацанов менты полжизни отняли. Миронов сначала на помощь звал, а когда понял, что офицера рядом нет, — стал по старой привычке запугивать: бей, мол, я тебя все вложу, я в больничке отлежусь, а тебя точно в зону пристрою. Ну Егор и не выдержал. Первый день всего по свободе гулял. Вспорол он эту Кишку, все равно, мол, пропадать, так уж с музыкой. Когда чухнулись менты, подозрение на него пало, и сняли его несколько дней назад с какого-то поезда. Доказать вроде бы ничего толком не могут. Но Егор с дружкой был, и тот вроде пытался Егора от мокрого дела уберечь и бросился на него, чтобы помешать. Егор его случайно и порезал чуть-чуть. Его тоже посадили, он молчит, но Егору теперь придется в сознанку идти, чтоб дружка по делу не потащили. Вот беда какая! А может, и не Егор вовсе, а тот, другой, грех на душу принял, а Егор просто дело на себя решил взять — кто его знает. Он тебе просил передать извинен-

ния, что стихи, которые ты написал для девчонки его, он отправить не успел, при обыске менты отняли. Он очень за тебя беспокоится, потому как и переписать не успел. Все так твоей рукой и осталось: на память Егору и подпись. Дело серьезное, как бы тебе призыва к террору не приклеили“. — “Да что ты, Леха, какой там призыв, никакого там призыва нету“. — “Что тебе объяснять, политик, они все могут. Эх, не дошли стихи до Егоровой подружки и теперь, верно, никогда не дойдут. Понимаешь, никогда...“

\* \* \*

Лето того года, когда ушел от нас Егор — не то на смерть, не то на Бог знает какой лагерный срок, — было вообще черным летом и летом душным. В Сибири, где десять месяцев — зима, остальное — лето, неожиданно наступает несусветная жара, и расплавленный воздух несет и бросает на хрупкие человеческие тела мириады летучих гнусов. Быстрые и мутные воды реки Тура казались всем спасением, правда, спасением весьма сомнительным, поскольку на этих водах качались поплавки с вышками, а на вышках — охранники. И не просто охранники, а охранники азиатские, потому как в конвойные войска набирают обычно туркмен, таджиков или казахов. Расчет простой и, с государственной точки зрения, весьма мудрый. Все эти азиаты, а по лагерным выражениям “чучмеки“ или “чурки“, не без основания считают себя нациями поработченными и, полагая, что в лагере сидят в основном русские (что, впрочем, не совсем правда), то есть поработители, готовы хоть как-то отыграться и по каждому поводу или без повода хватаются за автомат. Есть, очевидно, не менее весомая причина, способствующая столь странному, на первый взгляд, подбору состава охраны лагерей...

— Ахмет! — кричу я одному из конвойных.

— Не подходи, стрелять буду! Указ — не положено!

— Ахмет, я же все равно подойду.

И медленно двигаюсь на дуло автомата.

— Эх, бедовый ты, политик! Что тебе, закурить надо?

— Нет, своих хватает. Поговорить хочу.

— Ну, говори, — несколько нерешительно отвечает он, но автомат из рук не выпускает.

— Слушай, Ахмет, — начинаю я издалека, — почему ты

всех нас, заключенных, так ненавидишь? Вот если кто к зоне приблизится, чтоб нам сигарет или чаю передать, сразу же в воздух стреляешь? Почему? Тебе же в армии тоже не сладко, чуть получше нашего, так чего ж ты так звереешь?

— Потому и такой, что в армию меня из деревни сюда загнали, взяли и силком привезли. У нас в деревне свои обычаи, не нужна мне ваша армия, вы все русские, и ты тоже.

— Ахмет, — говорю я, — но я же не коммунист, да и они вон все, за исключением активистов, — не коммунисты. Ты хоть Коран-то знаешь?

— А ты знаешь?

Я привожу первую попавшуюся цитату.

— Вот что, — помолчав, говорит Ахмет, сраженный Кораном, — может, ты, политик, и нерусский вовсе, и не коммунист, но стрелять все равно буду — устав есть.

Я поворачиваюсь и медленно отхожу...

Нет, есть другая причина. Азиаты азиатами, а ровно так же ответит какой-нибудь Ваня из Вологодской области... Чем примитивней человек, тем благоговейней его отношение к оружию, тем с большим наслаждением он пользуется им...

Блатные, пораженные моей лихостью, то есть бесстрашным разговором с конвоиром, стараются обратить все в шутку:

— Ну что, политик, посты обошел?

— Обошел, — говорю.

— Ну и как, стрелять будут, если купаться полезем?

— Будут, — отвечаю я.

— Ну, а ты-то купаться будешь?

— Буду. Во-первых, стрельба напоминает мне фейерверк, во-вторых, душевых начальство для нас не предусмотрело, в-третьих, по сведениям советской прессы, на Кот Д'Азюр еще больше нефти, чем в этой поганой речке.

— Постой, постой, политик, — встревает кто-то из блатных, — ты говори, да не заговаривайся, что еще за "кот д'азюр"?

— А это, — говорю, — курортное побережье Франции, географию надо знать, в школе учились или вас в мешке из тайги привезли?

— Ладно, ты грамотный шибко, короче, купаться будем или нет?

— Конечно, потому как жарко, это хоть ясно?

Мы скидываем лагерные робы и медленно идем к воде, которая несет на себе щебень, нефть и какую-то тухлятину, неизвестно откуда взявшуюся, и ныряем.

— Стрелять буду! Назад! — кричит зычным голосом конвоир, охранник наших душ и тел, тот, что качается на вышке, на поплавке.

— Стреляй, гад! — неожиданно орет кто-то из лихих пловцов. — Стреляй, гад, все мы там будем, и ты тоже!

И он стреляет. Нет, не в воздух, а по воде... Я не думаю, чтобы он целился специально, но трое из нас вышли из воды с кровавыми царапинами. Но что царапины, так и так чуть не каждый день несколько наших возвращались в лагерные бараки искалеченными после этой "исправительной" работы. Нас ждало худшее.

Пока мы одевались, стараясь вовремя прикрыть кровоточащие раны, к нам уже спешили офицеры лагерной службы, переполошившиеся от звуков стрельбы. Мы знали, что в лучшем случае нам грозит карцер за минуту прохлады, а в худшем — добавят по три года лагерей на рыло за "попытку к побегу". Мы принялись изображать трудовой энтузиазм и великую озабоченность досрочной загрузкой шпал в вагоны. Офицеры неумолимо приближались.

— Ну дак кто купался? — спросил капитан, и воцарилась такая тишина, какая бывает только после отгремевшего обвала.

— Я спрашиваю, кто плавал, — повторил капитан, не спеша раскуривая "Беломор".

И тут произошло нечто невероятное. Произошло то, чего никто, а тем более я, не ожидал. На сцену вышел Архипыч — мужик, работяга, никакого отношения к доблестному заплыву не имевший. Архипыч и среди мужиков считался человеком вредным, несмотря на свою сноровистость и работоспособность. К какому делу его ни приставь, он все исхитрялся делать лучше и быстрее других, и каждый свой успех норовил продемонстрировать начальству. За это его особенно не любили. У меня с Архипычем были отношения сложные и запутанные. Архипыч был одним из тех, кто после работы толпился в моем бараке с просьбой написать жалобу. Ибо считалось, что я — "политик" и, стало быть, писать умею. Из всех осаждавших меня клиентов Архипыч отличался въедливостью и настойчивостью, присущей верным



ленинцам и марксистам, которые, даже по двадцать пять лет отсидев, все доказывают, что идеологи были правы, но их не так поняли. Архипыч, забегаая в барак и расталкивая прочих просителей, неизменно заявлял, что дело его — первостепенной и даже государственной важности и что, дескать, “писатель” об этом знает. Добравшись до моей лагерной койки, он, всегда торопясь и оглядываясь, разворачивал замызганную тряпицу с невесь где добытым кусочком сала. От сала я решительно отказывался не потому вовсе, что был сыт (сало в лагере — деликатес) или хотел держать фасон перед окружающими, а по той причине, что, попав за колючую проволоку, понял одну несложную истину: надо в себе подавлять чувство голода. Если не сможешь себя пере-силить, значит — пропал. Сколько раз на моих глазах не то что за кусок сала, за лишнюю пайку хлеба продавали друзей, становились педерастами, доносили и даже убивали... Но была и другая причина моего стоицизма: я прекрасно знал — как хорошо я ни напишу эту жалобу, и куда я ее ни напишу, — все это без толку. Архипыч считал, что я разыгрываю из себя пессимиста просто от нежелания писать, сало быстро прятал в замусоренный махоркой карман телогрейки и приступал к изложению сути дела. Говорил витиевато и запутанно, в той манере, в какой люди из народа говорят всегда, ежели желают показать, что они тоже не лыком шиты и грамоте обучены. Из всего, что излагал Архипыч, было ясно только одно — засадили его за трактор на пять лет. Но что с этим трактором случилось, я так до конца понять не мог. Не то Архипычу для колхозного трактора нужны были какие-то детали, не то детали нужны были кому-то другому, и Архипыч их продал, но обвинили его в хищении государственной собственности.

— Ты им так и напиши, политик, — говорил мне Архипыч, — ничего я у них не похищал. Что у них было, то и осталось.

— Напишу, — отвечал я, — только толку что. Все равно читать не будут.

— А ты напиши, — настаивал Архипыч, — начальству оно видней.

— Как же, — усмехался я, — начальству твоему видней, где пожирней кусок урвать, а не то, как ты здесь маешься.

— А ты бы все же написал, — уговаривал Архипыч.

И я писал во все инстанции вплоть до Генерального прокурора, писал, что трактор есть трактор и что за его починку сажать человека на пять лет не следует, а Архипыч сидел и доносил начальству, кто работает, а кто не работает. И на меня доносил, когда я отлеживался в штабелях, шалея от головной боли. Самое странное, что не был он даже “активистом”, не носил красной повязки, а доносил просто из чувства справедливости. И вдруг, как я уже говорил, Архипыч вышел на сцену.

— Так кто же купался, а? — еще раз спросил капитан, покуривая “Беломор” и глядя в упор на меня.

— А никто не купался, — неожиданно бухнул Архипыч и даже как-то вывернулся вперед, как будто его ветром понесло.

— То есть как никто? — изумился капитан. От Архипыча он такого заявления никак не ожидал.

— Да так, гражданин начальник, — зачистил Архипыч, — это мы с мужичками тут портянки стирали.

— Какие портянки! — взревел капитан. — Что ты мне голову морочишь, какие портянки, когда конвой стрелял!

— Обыкновенные, — трясаясь всем телом, но как-то яснея голосом, докладывал Архипыч, — обмотки наши, тряпки, которые под сапогами, их и стирали, а конвой стрелять начал. Потому они азиаты косоглазые, чучмеки, им померещилось.

— Померещилось, — растянул капитан слово, как тянут шаг на параде, — а отчего у политика и других вон головы мокрые.

— А это они водой намочили, — услужливо пояснил Архипыч, — а то солнышко-то пекёт.

Солнце и вправду пекло. Капитан глянул на небо, сплюнул, проговорил обычное “всех сгною”, повернулся и пошел к вахте.

После съема вопреки обыкновению в рефрижератор набивались, оживленно шутя и толкая друг друга.

— Ну что, политик, — орали блатные, — как тебе наш “Кот да зюр“?

— Ничего, — говорю, — купаться можно, только щепок наглотался.

— Щепки — не пули, — весело отвечали мне, — быстро переваришь. Что щепки, что каша наша, которой каждый день кормят, — один прок, ну покряхтишь немного в клозете.

\* \* \*

Конвой угрюмо молчал. Места распределялись на основании негласных лагерных привилегий. На передних сиденьях и по бокам располагались блатные и большесрочники (я тоже имел право на выбор места, как лагерная знаменитость, но этим правом никогда не пользовался).

Не то чтобы на передних скамьях и с краю сидеть было удобней или меньше трясло. Причина столь странного, но раз и навсегда заведенного распределения мест была совсем иной: с боковых или передних сидений можно было хоть краем глаза взглянуть на недоступную свободу. Вообще-то говоря, по правилам взглянуть было нельзя, ибо рефрижератор — это огромный стальной короб, законопаченный со всех сторон, в каких обычно возят мясо или рыбу, лишь задняя площадка открыта, а на ней, отделенные от ээка решеткой, восседали неизменные два автоматчика с овчаркой. Конвоиры, прежде чем запустить нас в рефрижератор, подвергали всех тщательному обыску. Но это не помогало: как только рефрижератор двигался с места в направлении к жилой зоне, то есть через весь город, начиналась отчаянная борьба за взгляд на свободу. Невесть откуда появлялись гвозди, какие-то штыри, но я думаю, что, и не окажись всего этого, — дырку в железном корпусе прогрызли бы зубами. Конвой орал и грозил, собаки лаяли, а иступленная работа продолжалась до тех пор, пока не удавалось пробить в обшивке несколько отверстий.

— Эй, политик, ты что там все мыслишь, Маркса своего разоблачаешь. А мы уж вон перископ соорудили, как в подводной лодке. Иди, глянь, что там вольняшки без нас делают, — посмеивались блатные.

Каждый раз, когда рефрижератор подъезжал к зоне и начинался новый пересчет эсков, прежде чем запустить их в ворота, начальство, осмотрев борта нашего комфортабельного автобуса, приходило в неопишемую ярость. Нас вновь обыскивали, грозили, орал. Ежедневно специально для этого выделенная бригада сварщиков задраивала наглухо все дырки, и ежедневно все начиналось сначала. Начальство было в полном бессилии. Посадить всех в карцер нельзя: во-первых, карцеров не хватит, во-вторых, кто тогда будет работать на этой проклятой пойме. Оставалось только прорыть туннель, длинней того, что под Монбланом. Даже зачин-

щиков никогда не удавалось найти — на все вопросы не только мужики, но и активисты угрюмо отмалчивались. Всеобщий ажиотаж вокруг идеи “прорубить окно” был настолько велик, что никто доносить не осмеливался, да и самым верным начальству активистам тоже хотелось хоть разок, да взглянуть — что там, на свободе. Блатные называли эту операцию “ловить сеансы”. Если рефрижератор притормаживал и на тротуаре возникала молодая женщина, начиналась основная часть игры. Кто-нибудь из блатных, оказавшийся в этот момент у “окна”, весьма деликатно, не употребляя даже “для связки слов” блатных выражений, начинал упрашивать: “Рыжая, слышишь, рыжая, мы тут все в коробке этой чертовой по пять лет живой бабы не видели, приподыми юбку, тебе одно движенье, а я, может, потом целый год твои ножки по ночам вспоминать буду! Покажи себя, имей совесть!” Поначалу мне казалось странным, что каждая вторая соглашалась, и я приписывал это обстоятельство известной истине о широте русской души, но потом, подумав, понял, что именно у каждой второй из этих недоступных нам красавиц кто-нибудь из родни да сидит, или муж, или друг, или брат, ну а если и не сидит никто, то, глядишь, вот-вот да и посадят. Ибо от тюрьмы да от сумы, следуя мудрой пословице, у нас никто не зарекается. Поэтому прекрасные незнакомки хорошо понимали нас. И шли навстречу разговорам ухажеров, скрытых от их взора железной обшивкой.

Так или иначе, этот странный, рвущий душу стриптиз происходил почти каждый раз, когда машина с заключенными приостанавливала свой неумолимый бег. Все затихали.

— Политик, иди глянь на нашу, на сибирячку! Или брезгуешь? Да что там у тебя в Москве — одни балерины, что ли, были. Вот ведь и жены нет, даже раз в полгода на свидании не побалуешься, иди взгляни! — зазывал кто-нибудь из блатных.

В горле у меня першило, я обычно отшучивался, но иногда, чтобы не обидеть солагерника, пожертвовавшего для меня столь дорогой минутой сеанса, подходил и приныкал глазами к “окну”.

Меня удивляло, что когда сеанс кончался, то есть рефрижератор двигался дальше, никто даже из самых циничных блатных не позволял себе отпустить скабрзное замечание или просто посмеяться. Кто-нибудь всегда на прощание изо всех сил кричал: “Прощай, рыжая! Век не забуду, спасибо!” или “Красотка, напиши мне пару строк и хоть маленькое фото пришли, ну хоть такое, как

на паспорт! Может, не пожалеешь, что на марку потратишь! Я — такой-то, исправительная колония 2“. Письма довольно часто приходили. И тогда ко мне в очередь после работы снова выстраивались клиенты, но уже не жалобщики из мужиков, а блатные с просьбой написать “заочнице“ пограмотней да покрасивей...

Правда, не так уж часто выпадали возможности сеанса. Рефрижератор редко останавливался не только по той причине, что дороги наши, а уж в особенности сибирские, не очень-то обременены частным транспортом, и потому заторов бывает мало, но и по той причине, что шоферам наших особых машин было приказано не обращать внимания на правила уличного движения, а в случае чего движение это и вовсе перекрывали. Так возят в нашей стране только членов правительства и заключенных, причем и тех и других под строжайшей охраной до зубов вооруженных лиц. Это обстоятельство наглядно подтверждает известный тезис КПСС — “Народ и партия едины“.

Помимо того, что машина наша останавливалась редко, была и другая проблема с “окнами“: на какие бы ухищрения ни шли мои ежедневные попутчики, но пробить больше трех дырок-глазков никогда не удавалось. Потому так дорожили местами у борта. Я думаю, что ни один самый уважаемый концерт в мире не рождал столько споров и обид. Доходило порой и до кровавых драк за право сидеть на лучшем месте и видеть первым. Вмешивался и конвой, однако только в тех случаях, когда девушка решалась в ответ на благодарности или комплименты крикнуть что-нибудь сочувственное или просто называла свое имя. Тут очередной автоматчик, исполняющий устав, неизменно ревел: “С заключенными в разговоры вступать запрещено! Назад! Молчать!“ Но тут поднималась волна народного гнева: “Сволочь ментовская, фашист, жалко тебе, гаду! Сиди молчи! Вон за тебя собака твоя гавкает! Завидно! Да тебе, менту тухлому, ни одна баба не даст, слюну глотай!“ Конвойный вскакивал и направлял дуло автомата в бушующую за сеткой орущую массу людей. Девушка в ужасе застывала на тротуаре, кто-нибудь, пытаясь перекричать остальных, старался ее успокоить: “Эй, рыжая, подруга, за нас не беспокойся, всех не перестреляет. Я такую шваль, как он, сотнями одним бушлатом на водопой гонял!“

Рефрижератор трогался... до следующей встречи с мимолетным видением любви...

Когда же девушка просто выполняла просьбу о стриптизе и в разговор не вдавалась, конвоиры благоразумно помалкивали не только потому, что знали — с заключенными в такой момент лучше не заедаться, а еще и потому, что, собственно, и самим посмотреть хотелось. Много раз я наблюдал, как конвой пытался воспользоваться нашим приемом и кто-нибудь из погонников начинал заигрывать с проходящими девушками, но желаемого эффекта это никогда, ни единого раза не приносило, как ни старались наши охранники. Не знаю, как в других местах, но в Сибири кокетничать с ментами считается признаком дурного тона. После каждой такой попытки блатные сдержанно посмеивались: “Ну что, начальник, как сеанс? Ты думаешь — надел погоны, и выше Яшки Косого, кум королю! Погоны-то они, сам видишь, не везде помогают!”

Я не думал тогда, что попаду в Париж и, сидя в Альказаре или других кабаре, глядя сквозь стакан шампанского на залитую светом эстраду, буду каждый раз вспоминать маленький глазок в железном фургоне, рыжую девушку, поминутно и пугливо оглядывающуюся по сторонам и задирающую все выше и выше свою незамысловатую юбку... Я не знал тогда, что в парижском кабаре будут душить меня спазмы от этих воспоминаний...

\* \* \*

В день нашего доблестного заплыва нам вообще везло. Шоферы всех четырех рефрижераторов, возивших ежедневно взад-вперед, от одной колючей проволоки до другой, триста душ заключенных, были до необыкновения пьяны, то есть пьяны-то они были всегда, но на сей раз, прежде чем усадить водителей за баранки, конвоиры долго обливали их водой из ведер. Так, впрочем, бывало всякий раз, когда шоферы из вольных за приличную мзду решались провезти в рабочую зону водку для кого-то из заключенных, случайно разжившегося деньгами. Помимо мзды за небезопасную заслугу, шоферы приглашались и к распитию. На сей раз их, очевидно, угостили от души, и капитан, грозившийся всех нас сгноить, тщетно просил кого-нибудь из солдат конвоя заменить шоферов. То ли потому, что капитана этого даже свои не любили, то ли и солдаты пригубили дармовой водки, но дело явно не клеилось. Капитан, конечно, и глазом бы не моргнул, если бы все мы разбились, но отдельной машины у него не было, и по уставу он

должен был ехать в кабине головного рефрижератора. А лежать в одной братской могиле с нами ему никак не светило.

Наконец, с грехом пополам тронулись и через некоторое время остановились в самом что ни на есть удобном для нас месте — на перекрестке главных улиц славной орденоносной Тюмени. Капитан бежал где-то впереди, расчищая путь, орал на шоферов, что всех их засадит и что будут они не в кабине, а с нами вместе в железном коробе ездить, но машины что-то не двигались. Дырки в обшивке были, конечно, уже пробиты, и завсегдатаи царских лож покровительственно пропускали вперед мужиков в честь дня всеобщей солидарности и благодарения судьбе за удачный конец заплыва. Вдруг кто-то из блатных отпихнул очередного зрителя галерки от глазка и крикнул мне:

— Эй, политик, скорей сюда, скорей, прошу тебя! Это же та самая, рыжая!

— Какая рыжая? — не понял я.

— Да та самая, из-за которой мы две недели назад чуть решетку не разнесли и не схавали с потрохами это пугало вместе с автоматом и овчаркой его поганой! Ей-богу — она, политик! Вон и рукой машет, как будто специально здесь нас ждала. Да вон и Гешка в прошлый раз ее видел. Гешка, скорей сюда! Рыжая! — кричал он, не дожидаясь, пока мы проберемся к нему. — Рыжая, ну устрой еще раз сеанс, прошу тебя! Смотри-ка, политик, вроде как стесняется, а в прошлый раз не стеснялась, что за чудеса в решетке! Может, ты с ней поговоришь, политик, она тебя послушает, ты сумеешь.

— Поди глянь, политик, — неожиданно произнес Гешка, — правда ж интересно, та или не та?

— А ты что? — спросил я.

— Да устал от плавания, и малость эти сволочи поцарапали, когда стреляли.

Я подошел к пробитому отверстию, сложил руки рупором и, напрягая все голосовые связки, как можно четче продекламировал самого себя:

Как беглый каторжник стою перед тобой,  
Глаза твои — живой мираж спасенья...

Рефрижератор затих, конвой не подавал признаков жизни. Девочка вела себя и вправду несколько странно. Она сначала вся

вытянулась вперед, как будто пыталась поймать брошенный ей букет цветов, потом как-то особенно гордо отбросила пальцами рыжую прядь, расстегнула блузку и стала подымать юбку. Прохожие оборачивались, но возмущения не выражали, поскольку разъяснять, что в таких рефрижераторах возят заключенных, нужно только западным корреспондентам. Жителям Тюмени это объяснять не надо...

— Так что, та или не та, политик? — безучастно спросил Гешка.

— Та самая, — ответил я.

Усилия капитана, наконец, принесли какой-то результат, и машины тронулись с места. Никто не мог успокоиться.

— Слушай, политик, чего она здесь ждала, а? — перебивая друг друга, галдели блатные. — Ведь она же наперед не знала, что ты ей стихи начнешь читать, а в прошлый раз никакого концерта, кроме хая, который на конвой подняли, вроде бы не было. Может, влюбилась в кого? Да в кого тут влюбишься! Во-первых, всем сидеть незнамо сколько, во-вторых, она же никого из нас не видела. Что она видела! Только короб этот чертов и видела! Может, у нее сидит кто из своих, и она думает, что его с нами возят? — строились новые догадки. — Да нет, что вы хреновину гордите, — снова обрывал кто-то, — она бы тогда крикнула, спросила: мой, дескать, такой-то, с вами или нет?

— Может, боится?

— Ха-ха, боится, ничего она не боится, в прошлый раз вона как себя вела, а на этот раз сколько времени сеанс показывала! А спросить, по-твоему, боится!

— Ну, на этот раз ее политик доконал, — смеялся очередной голос, — ловко это ты, политик, стих выдумал, такого в газетах не найдешь.

— А мираж, это что? Самолет такой, что ли?

— Сам ты дурней паровоза. Мираж — это в пустыне.

— Что в пустыне?

— Ну, когда в пустыне пить хочется. Правильно, политик?

— Правильно, — подтвердил я, — когда пить хочется...

Но думал совсем не про пустыню.

— Да, чудной народ бабы, — резонно заметил кто-то из мужиков, — у них никогда ничего не разберешь.

— Во как, батя, — ехидно заметил тот чернявый, что звал



меня на помощь, — ну ты даешь! Так, говоришь, до сих пор и не разобрался! А вот политик, гляди, совсем молодой, а быстро понял, что к чему.

Но “политик” как раз ничего не понимал. Было, конечно, одно странное совпадение фактов. Я вспомнил — в прошлый раз, когда рыжую успокаивали, что по крайней мере всех нас за ее сеанс не расстреляют, Гешка крикнул ей: “Как тебя зовут?” — и та ответила: “Люда”. Он снова спросил: “Учишься, что ли, где?” Она помолчала и как-то глухо и раздраженно бросила: “Работаю. На стройке”. Других вопросов-ответов не было — это я точно помнил.

И вот дня три назад Гешка Безымянов неожиданно появился ко мне в барак. Неожиданным его визит показался мне потому, что Гешка хотя и был “из блатных”, но держался всегда особняком, а если и общался, то только с Лехой Соловьем. То ли сильное влияние на него имел Соловей, то ли сам он был по натуре таков, но на мужиках он никогда не выезжал, а, напротив, даже лез на скандал, если уж слишком сильно издевались над ними бригадиры или активисты. В отличие от вездесущего отчаянного Егора, он был всегда молчалив и как-то даже на вид меланхоличен, но обладал твердой рукой и удивительной способностью так вставить слово в общий разговор, чтобы все обернулись, как оборачиваются на выстрел. Сроку у него было восемь лет, сидел он по приговору за аварию, но поговаривали, что авария — это только предлог, что посадили его за какие-то крупные дела, о которых он, впрочем, сам никогда не упоминал.

Гешка явился ко мне с обычной просьбой — черкнуть пару строк “заочнице”:

— Вот понимаешь, политик, привязалась какая-то дура, наверное, кто из освободившихся мой адресок ей подбросил, пошутит малость. Мне и сидеть-то еще больше трех, — как всегда сквозь зубы, равнодушно проговорил он, — но ты уж напиши, если время будет, а я потом сам через вольных отправлю. Ну а там, сам знаешь, люди свои, сочтемся.

С этим Гешка удалился, оставив меня в некотором недоумении. К тому времени я более или менее успешно вел от разных лиц кипучую переписку примерно с двумя десятками неизвестных мне дам и даже до того запутался, что собирался завести картотеку, поскольку только по очередному ответу смутно мог припомнить, что именно той или иной от лица такого-то писал. Картоте-

ку, впрочем, завести не представлялось возможным, ибо каждую неделю трясли всю зону шмоны, и не мог я рисковать сердечными тайнами друзей. Все это было так, но уж от Гешки я такой просьбы никак не ожидал, памятуя его фанатичную скрытность, а кроме того, грамотность. Ибо школу он успел закончить, правда, уже в колонии для малолеток, да и в бараке я часто заставлял его с книгой в руках. Книгу он сразу же прятал под подушку и поэтому даже я не знал, чем он интересуется.

Итак, к Гешкиной просьбе я отнесся довольно серьезно, хотя он сам, казалось, не придавал ей особого значения. Я даже зашел к нему в барак и шутливо спросил:

— Так что тебе твоя невеста-то написала?

Гешка по обыкновению невозмутимо поднялся с нар, порылся где-то, поморщился и заявил:

— Выбросил, кажется. Давай лучше чайку глотнем. Эй, шнырь, — крикнул он, обращаясь к дневальному, — быстро на шухер, чтоб менты не вошли.

Потом вытащил аккуратно завернутый в носовой платок чай. Глотнули по столовой ложке, запили теплой водой. Кровь зашевелилась в жилах и застучала, забормотала, как ручей в ущелье: “Ты жив еще, слышишь, ты жив”.

— Так погоди, Гешка, — снова спросил я, — что же я писать-то ей буду в ответ, если я ее послание не читал?

— А напиши что хочешь, — махнул он рукой, — стихи напиши. А то все друзьям-политикам норовишь на волю письма передать. Поймают — срок добавляют. Это тебе не Ленин в Шушенском. Он там на зайцев в этой ссылке охотился, а тут, того и гляди, из тебя самого зайца сделают.

Посмеялись. На прощание я спросил:

— Как хоть зовут невесту?

— Люда, — все так же безразлично ответил Гешка.

Всю ночь меня мучил проклятый синусит, и, хоть стихосложение — не лучший метод борьбы с головной болью, пришлось заняться посланием:

И опять, выбиваясь из сил,  
Я срываюсь на сдавленный крик,  
Небосвод надо мною так синь,  
Хоть совсем на него не смотри.  
И опять по ночам, как в бреду,

Я мечусь, равновесье теряя,  
 На свою уповаю звезду,  
 А звезда эта тает и тает.  
 И опять за стенами квартир,  
 Как по мне голоса патефоны,  
 Весь безумный, весь радостный мир  
 Мне объявлен запретною зоной.  
 У отчаянья на самом краю  
 Я качнусь и опять выпрямляюсь,  
 И как будто в неравном бою,  
 Не живу я, а выжить стараюсь.  
 Ты на слове меня не лови  
 Ради скуки, каприза ради,  
 Вся душа моя в липкой крови,  
 Словно губы твои в помате.  
 Я устал, как заброшенный дом,  
 Где-то люди любовь коротают.  
 Взгляд твой душу берет на излом,  
 По ночам иногда настигая...

Закончил я послание как раз к подъему и, улизнув от принудительной зарядки и пропустив завтрак, успел занести его Гешке. Над строками стихов красовалась надпись “Люде от Г. Безымянова” и дата.

— Распишись, знаток Шушенского, — весело сказал я.

— Придется расписаться, не зря же ты старался, да и не в загсе же расписываться.

Рефрижератор сильно качало. Очевидно, наши водители опять раскисли и давали зигзаги.

— Да, не хватало заплыва с пальбой, — сказал я, — так вот еще и гигантский слалом.

Гешка отозвался с усмешкой:

— Одно успокаивает, что если разобьемся, то и менты вместе с нами, с концами.

Чернявый не согласился:

— Из-за трех ментов всем нам гибнуть! Вот если б наоборот — нас трое, а их восемьдесят, тогда еще можно.

И опять начался спор и обычная околесица, за скольких ментов, чтоб их угробить, умереть можно, а за скольких не стоит. Я опять погрузился в мысли о загадочном появлении Рыжей. Кажется, все совпадает — письмо в стихах и встреча с ней сегодня.

Более того, даже имя — Люда. Но все равно это было уму непостижимо. Даже самый глупый детектив свидетельствует о том, что нельзя обращать внимание на первое бросившееся в глаза совпадение фактов. И действительно, кроме “Люда“ и “стройка“, Рыжая ничего не произносила. Да и предположить, что девица назовет свое подлинное имя во время строжайше запрещенного уличного стриптиза перед заключенными, уже почти невероятно. Должно же у этой Рыжей быть чувство элементарного самосохранения. А если бы менты захотели ее найти и отомстить? Ведь такой милосердный сеанс точно классифицируется как хулиганство в особо циничной форме сроком до пяти лет, а с виду Рыжая совсем не чокнутая. Ну допустим, что даже Люда, ну даже допустим, что и со стройки, ведь адрес-то она не говорила, и Гешка сам не назвался. То есть она его никак не могла разыскать, мог только он ее найти, но как? “Люд“ в миллионной Тюмени на стройке не счесть, рыжих тоже. В тот год рыжих было особенно много. Завсегдатаи королевских лож отметили это обстоятельство еще с месяц назад.

— Слышь, политик, — орали они, — девки-то отчего все рыжие, что это с ними?

— Ну да, ночью все кошки серы, а у вас все девки рыжи!

— Вот-вот, кошки серы, девки рыжи, — веселились блатные.

— Да, загадочно.

— То-то, политик, это тебе не философию читать. Да мы и сами не знаем, в чем дело, — голосили блатные, — мы тут уж давно от вольной жизни отвыкли, может, там теперь порядок такой завели — вместо комсомольских значков, что ли. Ты не грусти, политик, завтра у шоферов спросим у вольных.

На следующий день, как только рефрижераторы заехали в рабочую зону, блатные вызвали на разговор шоферов. И те, ввиду важности вопроса “отчего все девки рыжие?“, наплевав на запрет начальства, подошли к нашей группе.

— Да уж, почитай, с месяц как рыжие, — угрюмо сказал один из них, предлагая нам широким жестом распечатанную пачку “Беломора“, — а дело вот в чем, ребята. Завезли в нашу Тюмень какой-то краситель, хреновину какую-то, тоже на “х“ начинается.

— Хну, что ли? — спросил я.

— Вот-вот, я же и говорю хну, пропади она пропадом. Хну,

значит, и завезли. Хорошо, кто неженатый, а нам с Петькой как быть? Бабы с нас деньги, на водку причитающиеся, на эту хну выкрадывают.

Петька возразил, желая показать из себя джентльмена:

— Да нет, не в водке дело, мне для своей бабы денег не жалко, я всегда подкалымлю. Только как ни приду домой, она за этой хной то в очереди стоит, то с подружками оттенками меряются — у кого красивше. Вот что обидно. А главное, все тем усугубляется, что какой-то фильм прошел западный, и там рыжая в главной роли. Говорят, сейчас во Франции — высший шик, пропади они пропадом.

— Подожди, подожди, — заволновались блатные, — какой такой французский фильм?

Петька нехотя и путано начал излагать содержание. Я что-то припомнил и стал его поправлять.

— Постой, — хмуро оборвал Петька, — ты-то откуда можешь знать, у вас такого в зоне не показывали, вам только про Ленина фильмы возят.

— Ты что, сквозь стены видишь, политик? — удивились блатные.

— Да нет, — отмахнулся я, — этот фильм еще лет шесть назад в Москве в Доме кино показывали, ну а в Москву он попал тоже лет через шесть после того, как во Франции вышел. Сами знаете — проверка на предмет буржуазной пропаганды, так что, считайте, фильму этому и моде на рыжих дам уже лет двенадцать.

Сообщение мое произвело неожиданный эффект. Блатные ликовали:

— Ну что, вольняшки, думали новость сообщить! Вон у нас политик есть, он все знает. А то там девки думают, что без нас проживут, а без нас-то дурью маются!

Шоферы не обижались, а наоборот, жали мне руку и говорили:

— Ну ты, политик, даешь! Не зря о тебе слава идет, во аргумент выставил, никуда не денешься. Я ей так и скажу, дуре своей нечесаной, туда же кинулася, за краской! А мода-то, вот она, уже двенадцать лет как прошла, опоздала, милая, скорый поезд ушел! А ежели принесет хну эту, то сам и выпью. Ничего, и не такое пили. На спирту она, политик, или нет?

— Да нет, — смеялся я, — была бы на спирте, ее бы до Тюмени не довезли, в Москве бы всю выпили.

Расходились весело. Петька даже согласился взять от меня письмо, чтобы опустить на воле, хотя знал, что если поймают, то за связь с блатными простят, а за связь со мной — нет. В обед кто-то передал мне плитку чая со словами “от шоферов“. Так я стал противником “феминистического движения“.

В общем, рыжих было не счесть. И нашу благотельницу могла бы разыскать только вездесущая милиция вкупе с прочими органами всеобщего порядка. Но милиция наша прекрасную леди явно не искала, иначе бы она во второй раз никак уж не смогла бы появиться перед нами. Гешка же пуститься на розыски не мог, ибо от такой возможности его отделяло еще три с половиной года за колючей проволокой. И так, получалось, что появление Рыжей и моя переписка с некоей Людой — пустое совпадение фактов, ни о чем не говорящих. И все же мне было как-то не по себе. Ведь существовал же хоть крохотный, но шанс, что это не случайность. Почему именно стихи, прочитанные мною, возымели на нее такое действие? Что если второй раз, сегодня, она устроила сеанс исключительно для меня, то есть не для меня, а для Гешки, от лица которого я писал и который даже и сеанс этот смотреть отказался? Тут я вконец запутался и никак не мог отбиться от внезапно возникшего где-то в глубине чувства тревожной щемящей неловкости — не то перед этой Рыжей, не то перед Гешкой, не то перед самим собой. Можно было бы, конечно, спросить у Гешки, но я заведомо знал, что от него ни заклинаниями, ни каленым железом никаких ответов не добьешься.



# ЖАЧ ТЕ...

ЛЕОНИД ГУБАНОВ

Книга стихов



*Леонид Губанов (1946—1983 гг.) один из лидеров и организаторов СМОГа (Самое молодое общество генцев), как теперь говорят “неформального” объединения поэтов, прозаиков и художников середины 60-х годов; человек, без которого невозможно представить поэтическую Москву тех лет. При жизни на родине напечатался лишь раз — с последующим скандалом в советской прессе. До сегодняшнего дня прочитать его стихи практически нигде — есть лишь несколько куцых публикаций в периодических изданиях да остались, к счастью, самодельные, самиздатские сборники, которые собирал еще сам Губанов. В представленную подборку вошли его стихотворения разных лет, перепечатанные из сборника “Иконостас”, составленного автором в начале 70-х годов. В ряде случаев мы сохраняем пунктуацию и орфографию самого автора.*

*Владимир Бережков*



## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕЛЮДИЯ ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ .....	4
ИЗ ПЕРЕВОДНЫХ КАРТИНОК .....	4
РУССКАЯ КЕРАМИКА .....	5
СКРОМНЫЙ РИСУНОК ПОД БАРАБАННЫЙ БОЙ .....	6
“Моя свеча, ну как тебе горится?” .....	7
ЧЕРНАЯ БАБОЧКА .....	7
ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН .....	7
ОТРЕЗВЛЕНЬЕ .....	8
“Я остался на всю жизнь красивым“ .....	9
СТИХОТВОРЕНИЕ О БРОШЕННОЙ ПОЭМЕ .....	10
“Я пью озябшее вино за проституток и погосты“ .....	11
“И Вечности изменчивый поклон“ .....	12
ОСЕНЬ .....	13
ТЕЛЕГРАММА А.С.ПУШКИНУ .....	13
ТЕЛЕГРАММА О.Э.МАНДЕЛЬШТАМУ .....	13
“Россия — оскандаленная в веках, где погремушки“ ....	14
СЕМЬ ПАСХАЛЬНЫХ ОТКРЫТОК .....	15
“я положу сердце под голову“ .....	17
“В каморке сердца грустно и светло“ .....	18
МОНОЛОГ АРЛЕКИНА ИЗ ПОЭМЫ “КОСТЬ“ .....	19
“Там, где ветер дипломат“ .....	20
ОФОРТ НА СЕРЕБРЕ .....	20
“я появился, удивился“ .....	21
ОБИЖЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР .....	22
ЭКСПРОМТ НА ПОДНОЖКЕ СОБСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ .....	22
ПАСТЕЛЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СЫНА .....	23
ЖДИТЕ .....	26



## РУССКАЯ КЕРАМИКА

...есть где-то земля и я не боюсь ее имени,  
есть где-то тюльпаны с моей головой и фамилией...  
есть где-то земля пропитанная одышкой  
сестра киселя, а душа голубеющей лдышкой.  
Есть где-то земля прочитанная слезами  
где избы горят, где черные мысли слезают  
напиться воды, а им подают лишь печали  
есть где-то земля пропитанная молчаньем.  
Есть где-то земля которую любят удары  
и ржавые оспы и грустные песни — удавы...  
есть где-то земля, которую любят пожары  
и старые ритмы и новые пьяные шмары.  
Есть где-то земля пропахшая игом и потом  
всегда в синяках, царапинах и анекдотах.  
На пьяную юбку она нашивает обиды  
и только на юге ее украшенья разбиты.  
Есть где-то земля как швея... как голодная прачка,  
день каждый ее — это камень во рту, или взбучка.  
Над нею смеются когда поднимается качка  
цари не целуют ее потемневшую ручку.  
Есть где-то земля, как Цветаева ранняя, в мочках  
горят пастухи и разводят костер кавалеры  
Есть где-то земля... как вино в замерзающих бочках  
стучится вино головою, оно заболело!  
Есть где-то земля, что любые предательства сносит  
любые грехи в самом сердце бездумно прощает  
...любые обиды и боли она переносит,  
и смерти великих ее навещают,  
как лес навещают — просеки.  
Есть где-то земля и она одичала, привыкла  
чтоб лучших сынов застрелили как-будто бы в игры  
играли... уволил лишь жалость, плохую актрису...  
и передушили поклонников всех за кулисами.  
Есть где-то земля, что ушла в кулачок даже кашлем,  
и плачет она и смеется в кустах можжевельника,  
есть где-то земля, с такую печалью, нет краше  
Нельзя так сказать, помилуйте, может не верите?  
Есть где-то земля, и я не боюсь ее имени,  
есть где-то земля, и я не боюсь ее знамени,  
последней любовницей в жизни моей, без фамилии  
она проскользнет, и кому-то настанет так завидно.  
Есть где-то земля, и я не боюсь ее грусти

от соли и перца бывает однако и сладко  
есть где-то земля где меня рекламируют гуси  
летающие к Богу на бледно-любую лампадку.

И я сохраню ее почерк волшебного-хрустящий  
и я сохраню ее руки молочно-печальные  
на всех языках с угольком, посекундно гостящий  
я знаю, я знаю... одна ты меня напечатаешь.  
Ах, все-таки люблю я церковный рисунок на ситце  
ах, все-таки люблю я грачей за седым кабаком,  
приказано мне без тебя куковать и носиться  
и лишь для тебя притворяться слепым дураком.  
Ах, все-таки люблю я уют твой и вечные драки  
и вирши погладить давно бы пора бы, пора...  
и с прелестью злой, и всю нелюбимой собаки  
лизнуть твои руки, как будто лицо топора!!!

## СКРОМНЫЙ РИСУНОК ПОД БАРАБАННЫЙ БОЙ

Гуси летят  
пробирается злоба и Несторх  
Гусли звенят  
придается Лобное место.  
Свечи поют  
поднимается малый и старый...  
плечи Малют  
разбиваются в матовы ставни.  
Кровь с молоком  
придается Лобное место  
казнь под замком  
поднимается розовым тестом.  
Ржут тесаки  
рвутся бусы у сизых слезинок  
и рысаки... на коленях стоят за бензином.  
Гуси летят  
только выше и выше барьеры  
Русью пылят  
заклейменный грустью поэмы.  
Старенький конь  
одинокие сны тишины...  
дай же огонь —

поглядеть, кто остался в живых?!



Моя свеча, ну как тебе горится?  
Вязанье пса на исповедь костей  
пусть кровь покажет где моя граница  
пусть кровь подскажет, где моя постель!  
Моя свеча, ну как тебе теряется?  
не слезы это, — это вишни карии  
и я словоохотлив как терасса —  
в цветные стекла жду цветные камни  
В саду прохладно, как в библиотеке  
в библиотеке сладко как в саду...  
и кодеин расплатится в аптеке  
как Троцкий в восемнадцатом году.

## ЧЕРНАЯ БАБОЧКА

Ну что еще подарит нам вино?  
дешевые страдания Маргаритки...?!  
Две сплетни что горят на маргарине  
...сирень  
    что повернулась к нам спиной?  
Кляню любовь на книжке записной —  
ковчеге проституток из пивной

Глаза мои не подрастут в слезах...  
и горло голубой ремень не стянет

Ну что еще подарят небеса  
когда под небесами нас не станет.

## ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН

Я — чернослив переворота  
и тишина перед народом  
и трусы древние субботы  
и губы ангела в глуши

и может быть на чек природы —  
прощальный взгляд простой души  
В покаях ласкового слова  
от буквы Л до буквы Ю  
измерю ниткою суровой  
Печаль воскресшую свою

Лежит в гробу мое молчанье  
и тот кто дорог

догорел  
Зачем же делать замечанья  
когда выводят на расстрел?!

## ОТРЕЗВЛЕНЬЕ

Имен тенистых не забуду  
и слез искристых не пролью  
я поцелую сам Иуду  
и сам Евангелье пропью

За деревянной той скамейкой  
где падает Сентябрь плашмя  
с логарифмической линейкой  
вы долго ищите меня

А я в загуле  
я в Кусково  
где рабский дух и графский блуд  
где клены

как стихи Гланскова  
невинным детям щеки трут  
не видно правды...

Славы кроме  
той

что скандалами сыта  
и грусть моя — голландский домик  
краснеет с богом от стыда  
Карета подана! Прощай!  
моя неслыханная юность  
мой королевский черный чай  
и рюмок ливнезвонных лютость



рукопись как распятие,  
это гуляют русские, если и кровь спятила.  
Господи! Сохрани мне шерсть, чтоб уйти в леса  
пальцы у Паганини, длинные как глаза!!!

## СТИХОТВОРЕНИЕ О БРОШЕННОЙ ПОЭМЕ

Эта женщина не дописана  
эта женщина не долатана  
этой женщине не до бисера  
а до губ моих — ада адова...

этой женщине только месяцы  
да и то совсем непорочные  
пусть слова ее не ременятся  
не скрипят зубами молочными

вот сидит она непричастная  
непричесанная, ей без надобности  
и рука ее не при часиках  
и лицо ее не при радости

как ей хмуриться, как ей горбиться...  
непрочитанной обездоленной  
вся душа ее в белой горнице  
ну а горница недостроена

вот и все дела, мама-вишенка!  
вот такие вот, непригожие  
почему она — просто лишенка,  
не гостиная, не прихожая?

что мне делать с ней, отлюбившему,  
отходившему к бабам легкого?..  
подарить на грудь бусы лишние,  
навести румян неба летнего?!

ничего то в ней не раскается  
ничего то в ней не разбудится  
...отвернет лицо, сгонит пальцы  
незнакомо-страшно напудрится



я приеду к ней как-то пьяненьким  
завалюсь во двор, стану окна бить  
а в моем пальто кулек пряников  
а потом еще что жевать и пить

выходи, скажу, девка подлая  
говорить хочу все, что на сердце...  
а она в ответ — “ты не подлинный,  
а вали к другой, а то хватится!”

И опять закат свитра черного  
и опять рассвет мира нового  
синий снег да снег

только в чем-то мы  
виноваты все невиновные.

Я иду домой словно в озере  
...карасем иду из мошны  
Сколько женщин мы к черту бросили —  
скольким сами мы не нужны!

Эта женщина с кожей тоненькой  
этой женщине из изгнания  
будет гроб стоять в пятом томике  
неизвестного мне издания.

Я иду домой... не юли  
пять лягавых я наколол

Мир обидели как юлу —  
завели... забыв — на кого?

\* \* \*

Я пью озябшее вино за проституток и погосты  
я открываюсь как окно, я ухожу к малине в гости  
прости меня на этот раз, а на второй понять  
попробуй  
я вас прошу на черный вальс смертельно-бледный  
как Акрополь.  
о злые ногти Бытия припомнят вам улыбку ножниц

как все на свете матеря седели волосы заложниц.  
как шел последний монастырь, опаздывая и  
краснея  
угрюмо разжигать костры на коих буду я осмеян!  
Я взят в острог как арестант кровавым жителем  
кумира  
на одиночество листа и злое творчество камина  
ах, мне уже который год шумит в кафтанчике  
пастушьем  
и хрипнет флейта от забот и Мандельштамом я  
простужен.  
Но нет ни ближнего ни отчего... сам Магомет  
и сам цирюльник  
и рукопись лежит как вотчина, которую рабы  
целуют!

\* \* \*

И Вечности

изменчивый поклон.

И вежливая ложь, не пить ни грамма.

И сорок тысяч сгорбленных икон

что в очереди по подвалам храма

волнуясь встали в трещинах, в пыли

перебирая ризы как платочек,

ах, чтобы написать вам смысл земли

мне не хватает лишь двенадцать точек.

Тех звезд блаженных, где душа моя

студит виски и с неподдельной грустью

к последней церкви шлет боготворя

слез неземных земное захоlustье.

Цепочкою юродивых мой почерк,

в железах буквы и в крови колена,

а на губах фиалковых пророчеств

надменно угрожающая пена.

И вечности изменчивый поклон.

И то ли крыша, то ли просто фляжка

через плечо... и колокольный звон

что одевает в белую рубашку!

## ОСЕНЬ

Здравствуй, осень — нотный гроб,  
желтый дом моей печали,  
умер я — иди свечами.  
Здравствуй, осень — новый грот!  
Если гвозди есть у баб —  
пусть забьют, авось, осият.  
Вот и кончен день забав,  
ноги душу относили!  
Этот вечер мне не брат,  
если больше в дом не принял,  
этот вечер мне не брать  
за узду седого ливня...  
За крутую гору дня  
переваливает горе —  
дайте синего коня  
на оранжевое поле!  
Дайте неба и травы,  
чтобы мне бы наглядеться...  
Дайте капельку повить  
молодой осине сердца!

### ТЕЛЕГРАММА А.С.ПУШКИНУ

Гарнизон — гарнизон баб,  
беспризорник — похоть принцессы  
но когда ты войдешь в АД  
тебе скажут  
— плохо прицелился!

### ТЕЛЕГРАММА О.Э.МАНДЕЛЬШТАМУ

не хвались передо мной  
ни добром и ни женой,  
а хвались передо мной  
тишиной, тишиной!!!

Россия — оскандаленная в веках, где погремушки  
черной кошки — равны костям богатыря,  
где ненависть  
как пруд зеленый, Поленовский, в цвету и злости  
и долго жабам пресмыкаться и оправдание просить,  
богатыря, и конь мой белый, и Кремль свихнувшийся  
от страха где наждаком любое слово, а место  
Лобное —  
словарь. Несу коньяк для двух принцесс я, цыган  
прицелился по целисию на губ разбитых киноварь.  
Она опять в одной сорочке... ах, что ей семечки  
и дочери  
скользнув уходит горевать, где мексиканка  
обалдела  
над белым мясом нашей Веры и спотыкается  
кровать.  
оравою застольных чувств спешу в любви вам  
объясниться, на велосипеде мчусь, и спицы  
думают — не спиться б. какой орел угробил прозу  
ягнят на фрески богомаза... я думаю что будет  
польза  
вас полюбить, но вы — зараза. И госпиталь и  
листья  
лживы... две медсестры как две березы все  
шелестят  
на ухо — живы? А то обид не оберешься. —  
И тот же старенький букварь, когда разучивает  
лужи  
мой ученик, вздохнет поглуше на губ разбитых  
киноварь. Она опять в одной сорочке и лоб горяч  
но ледяные над сердцем возникают точки —  
что, милый мой еще забыли?!  
Она опять... шумят ресницы и темен лес  
и тянет  
тянет, как окровавленные птицы — мне на  
колени опус-  
титься и в зеркало увидеть тайны. Коричневым  
спрошусь биноклем, но ноги мраморны и жалко  
для вас оставить винный погреб, где розы вдов  
в моих пижамах. Я на скамейке, на скамейке,  
вы не посмеете

уехать, оставив душу без греха, вы не посмеете в Америке на наши медные копейки купить другого пастуха. Он опять... уже не ярмарка, обыкновенная продажа (без денег) золотом горит... и как надкушенное яблоко взбивает мне подушки яркие и ничего не говорит!!!

## СЕМЬ ПАСХАЛЬНЫХ ОТКРЫТОК

1

Пусть пропадом земля провалится  
а это небо проворуется,  
пока разлука наша мается  
на знаменитых этих улицах.  
Но пусть душа ее невестится  
забыв про буйство и питье...  
пока я падаю по лестницам  
на сердце наступив свое.

2

И ничего не надо мне  
...ни лесь ни злость  
лишь бы в субботу рада мне  
да винограда гроздь.  
Пусть спотыкаюсь  
падаю  
к тебе вьюсь как лоза  
...с веселенькими матами  
с меня летит слеза.  
И на асфальте мордюю  
благословясь... лежу  
и на сапожки модные  
Забыв тебя... гляжу.

3

Хороши... да не они  
молодые ваши кони

ах, попробуй догони  
на спине моей ладони.

Деревянных лодок блуд,  
оловянных ложек бред,  
все цыганки нынче врут —  
там где тьма лукавит свет.

В кольцах пальцы подлеца  
у жены лицо фарфоровое  
пудриться нам от свинца  
ты — моя царица голая.

Грех спешить нам умирать  
И за водкою давиться...  
если белая кровать  
манит черные ресницы.

Непонятная тоска  
слезы черные тасует  
от плеча и до виска  
кудри полечку тасуют

Неужели трудно так  
в небесах увидеть толк...  
и малиновый верстак  
где строгают душу Бог?!

4

Устал я хвастаться победами:  
пойду-ка лучше пообедаю  
свою судьбу проволоку  
лишь по парному молоку.  
Но ошибается рука  
потом спивается слуга...  
и я люблю тебя слегка  
как лодку — бурная река.  
Остановиться мне на ком?  
Певцы и бабы под замком...  
мне не хватает двух икон

с одною я давно знаком.

5

Окровавленные крали  
для меня поклоны клали  
клекот шел из дальних стран  
свирепел аэроплан.

От свирели до жены  
от жены и до свирели...  
были все поражены  
и повесился свидетель.

Горный лед божился лечь  
горный смех бежал вприпрыжку  
и из ножен вынув меч  
я открыл грозы сберкнижку.

6

А другие все делали деньги...  
по подвалам милые мерзли  
а я думал — “все же вы дети,  
а я думал — все же вы мертвы!”  
Я ж останусь таинственным мотом  
и клянусь тебе черною лаской —  
в кровь разбив на асфальте морду  
200 грамм отлить вам на Пасху!

7

Какое красивое слово — бунт  
какое красивое слово — бинт

Но если одет и если обут  
какое прекрасное слово — Бал.

\* \* \*

я положу сердце под голову  
на рассвете кувшинки споют об угаре  
черноглазые тучи шатаются голыми

женихов между делом темнея угадывают.  
А мосты от гулянок веселых поскрипывают  
бочки в погребе с белым винищем потрескивают.  
Ты стоишь на крыльце голубым постскриптумом  
за тобой на веревочке юбок несколько.  
То ли ангел плачет по тонкой талии  
несмышленной девочки но порочной,  
опьянели все мы... и так далее  
на губах был крестик мой, и прочее и прочее...  
...ну а ты с ума сошла, ты с ума сошла  
ты кричала в крик и тому подобное  
ну а после к озеру ты босиком пошла,  
как та знаменитая Сикстинская мадонна.  
я увидел, вздрогнул,

что я увидел?!

Что же натворил я — экая бестолочь(!)  
мимо табуны печальных событий,  
до крови избитые все мои невесты.  
Ты смущаясь плавала — шумная, шалая  
и грозила пальчиком —  
будешь как шелковый.  
Скоро я покроюсь жуткою славой,  
ты волной покроешься, траурным шепотом.  
Пусть обнимет меня полотенце худое,  
на красивых ногтях я поставлю две даты  
до свидания сердце мое золотое,  
до свидания ангел мой, вечно крылатый!

\* \* \*

В каморке сердца грустно и светло  
и теплятся два срочных увлечения.  
и девочка воздушная в метро  
спешит к альбому или на вечерню.  
Я почерк ее бисерный клян  
и мраморные виллы обещаю  
и нищую привязанность к вину  
на тротуарах узеньких встречаю.  
Целую в лоб веселую шпану  
в сырых подвалах жду седьмого неба,  
я почерк бисерный клян



и паутину радужного крепа.  
по коридорам злобы и тоски  
давно не слышно шага фаталиста  
в камерке сердца вянут образки,  
дымятся сплетни, харкают горнисты.  
А мне и губы больно приложить  
к святой доске, что с ликом Божьей матери,  
все время лгать и на алтарь спешить,  
пока тебя цыганки не вздохматили.  
посторонитесь, липкие уста,  
поторопитесь бабки повивальные  
связать два слова за спиной Христа  
и угадать — какое погребальное?!  
Потом святых пророков помянуть,  
крестить поэму не в реке, а в Вече,  
и злomu веку морду повернуть,  
туда, где жгут малиновые свечи.  
В камерке сердца грустно и светло  
перед глазами черный всадник едет  
пусть девочка возьмет меня в метро  
и чтоб качались за спиной ели.  
Светает земляничкой на столе,  
какой-то дух меня в плечо целует.  
Для вдохновенья я не постарел,  
перо царит, мое перо пирует!  
И подарив для свежести ремень,  
и пригласив для нежности камин  
нагая муза со святых колен  
поднимет слово гордое — Аминь!!!

## МОНОЛОГ АРЛЕКИНА ИЗ ПОЭМЫ “КОСТЬ”

Ах, какая пустая голова у грома  
ах, какая мудрая голова у грима  
но самая теплая у моего грога  
а самая жаркая у сигареты “Прима”  
Ах, хорошо бы грянул гром  
навела бы марафет моя последняя баба  
Я бы выпил теплую... закурил другую потом  
...а свою безумную завернул в бархат  
а потом бы выгнал прилив и бабу

положил бы голову на топор...  
у него, у топора, самая рябая  
самая холодная голова, потом —  
опьянели бы вместе с этим шербатым  
я бы хлопал его по деревянному сердцу  
...Животом на солнце плавала баба  
и соски торчали алым перцем.  
Была она мертвая и синяя  
море было черное и теплое  
в этой прекрасной... в этой веселой России  
хорошо живетя нищим и вздернутым!

\* \* \*

Там, где ветер дипломат  
там, где дождик ювелир,  
там, где сотни лет подряд  
мысли на расстрел вели.  
Там, где утро льет кумыс  
а служанки льют вино  
где в лакеях пьяный свист  
сеет диких драк зерно.  
Там, где церковь ворожит,  
там, где целки гоношат...  
там, где нечем дорожить  
кроме ржавого ножа.  
Это родина тоски  
плодородной лжи участок,  
где горячие виски  
в ледяной наган стучатся.  
Пусть поймет меня страна  
с манифестами резни —  
как спивались имена  
бронзой капая с ресниц!

## ОФОРТ НА СЕРЕБРЕ

Поломанные вилки и шведские полки  
Полтавы полбутылки, картавы сапоги.  
И бубенцы недели и тихий ужас спальни,  
куда века глядели, Екатерину спаивая.

Пса — ледяная скука, псалом псарям дощатый,  
считай секунды, сука... как лепестки для счастья.  
За голенищем друга нож золотой не точен  
Не верь печальным слухам, не верь плечам молочным,  
а верь в слепые вилки и в шведские полки  
и щупай на затылке рисунок от ноги.  
Нагая свадьба чахнет в наивности и блюде,  
и если нет вам счастья, пойми, хоть утро будет.

\* \* \*

я появился, удивился —  
пришло поветрие молчать...  
веселых королев качать  
пока за рюмкой яд укрылся.

А мне спешить и торопиться  
а мне влюбляться — тормозить  
с бубновой яблоней мириться  
а с черной вишней вместе жить.  
На мой ремень ложатся сплетни —  
кого до боли затянул?!  
как будто в омут заглянул  
двойник моей красивой смерти.  
Но я из той седьмой породы  
которая поверх замков —  
Звонарь отпущен на свободу  
и проклиная непогоду  
гудят все сорок сороков.  
Я — подмосковный сизый день  
я открываю ваши церкви  
я разрываю ваши цепи  
и целоваться мне не лень.  
Целую облако и лес  
цветок в бокале, потаскуху  
шепни жене — Христос Воскрес,  
а тучам — ни пера, ни пуха.

## ОБИЖЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

Собаки лают к просьбам  
волчицы воют к хлебу

а у меня и просек  
до тех загадок не было.

Пожарник пляшет к чуду  
любovníк плачет к чаду...

а я с тобой не буду  
а мне с тобой не надо.

Рожь колосится к бабам  
ложь говорится к делу

нож не выносит шпалы —  
...кровь

двойником к их телу  
Ах, это только новость  
спать! чтоб в зрачках не гнулось...

да сохранит мой голос  
странную нотку  
...“Ну вас“.

## ЭКСПРОМТ НА ПОДНОЖКЕ СОБСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ

Бог велел — был Верлен  
Бог велел — был Бодлер  
Бах настал... бух любой  
Я в кострах как Рембо.  
Я с тобой день и ночь  
я с тобой ночь и день  
(как синяк, как ретушь)  
получилась тень...  
прочь прочь прочь  
выматывайтесь да бодрей  
сперва потресканный Бодлер

в губной помаде и с колен  
встает напудренный Верлен.  
пошатываясь, как прибой,  
обиженно уйдет Рембо.  
Все выпил, выпер и орган  
исчез как сахар Иоганн  
...его наверно все простят —  
иди по стенке Себастьян!  
нет Верлена, нет Бодлера... вздох  
нет Рембо и нету даже Баха  
только есть

БОГ БОГ БОГ  
да моя белая рубаха!

## ПАСТЕЛЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО СЫНА

*Смерть! Где твое жало?*

*Ад! Где твоя победа?!*

*Новый Завет*

Сын — моя прелесть  
жаль что не встретились.  
Сын — моя жалость  
что помешалось?!  
сын — мое тело, сплю  
видеть бы тень твою.  
тын лихорадится  
сын — л и х а разница  
мама не ранится  
...незачем раниться.  
Переглянулись? Нет!  
в петли согнули след  
сын сплюнь арест лицу  
наперерез отцу  
или назло рукам  
будь поставщик — лугам.  
в мире ни груш ни крыш  
там, где лежишь и спишь  
в мире ни стук ни град  
там где земле не рад  
В мире ни плед ни плит

там, где совсем зарыт  
но не забыт а на  
оборот окна.

В мире ни рук ни мак  
там где перу — кулак  
к а ж е ш ь...

В мире где мимо бед  
в мире, где мира — нет!!!

\_\_\_\_\_ а вдруг \_\_\_\_\_

...если сын, то каток да смех  
если сын, то потом до всех  
если сын, покупай щенка  
проскулит нам его щека.  
если сын, то будите в шесть  
и гоните из дома в семь  
если сын, значит ждите мести  
если сын — раздавайте в с е м.  
если сын — значит в полночь стук  
если сын — значит помощь Сук  
если сын — значит ровно в пять  
белый белый склероз ремня  
значит в школе с ним мел молчит  
все карманы без мелочи...  
если сын — значит проще бал —  
если сын — значит в рошу баб.  
первой женщиной для сына — улица  
второй женщиной для сына — лестница  
третья женщина для сына — пудрится  
а четвертая молчит да крестится.  
Если улица не любит лестницы  
дура-лестница не любит улицы  
...их царапает обеих та, что крестится  
а смеется надо всеми та, что пудрится.  
(Господи, зачем ты послал сыну таких  
женщин?!)

Будет первая любовь у сына вольности.  
а вторая — чтоб его одного слушали  
и при первой поцелуй — поправить волосы,  
а при второй — поговорить ногами с лужею.  
А при третьей запросить о смерти бабушки  
чтобы можно завалить и дернуть кольца  
а четвертая, конечно, — баю-баюшки  
успокойся успокойся успокойся...  
(Господи! Зачем ты послал сыну такую  
любовь?!)

Он оставит свое лицо на лестнице  
и с безукоризненно красивой шеей  
поднимется на четвертый этаж. Она откроет ему дверь  
и скажет

— ну что тебе надо еще от меня?! —

дай мне мелочь на кружку пива

— но ведь ничего еще не открыто —

ах, не все ли равно... скажет он  
она пойдет по коридору в белых чулках  
белой кофте... еще в чем-то белом  
...да нет... это я я я потерял белила  
на улице Горького...

Цепи цепи а что потом  
будет он ненавидеть гром  
признавать лишь чуму да снег  
выбирать по плечу ночлег  
в мире астр он и сам остряк  
первый аз, он всегда в гостях  
ни швея ни шут ни шах  
но всегда на правах — ножа.

Будет он ненавидеть мать  
педагог его будет мять  
семь копеек до тех калош...

будет он как сентябрь хорош.  
если небо подсохнет он  
Состоянье в подсолнух — звон.

Мама шарфик надейся сшить  
будет он как на рельсах жить  
но не вянуть, поигрывать  
над царями... поминками  
кто-то встретит за лесом стон  
и заплатит за Беса в нем!

К тому времени демонстрация волка  
пес ждет лица и конца света  
но спокойно... как на телефонный звонок  
графини

всегда всегда всегда  
выбегали семечки Замятина  
и кричали — мы знаем знаем  
...они были детьми, потому что  
у них даже были морщины.  
Некому! Смоется подпись провидца  
— — — в зеркало смотрится самоубийство!!!  
Как по ягоды — весы

как по ягоды — весы

.....КАК ПО ЯГОДЫ — ВЕСЫ  
на том свете ехал сын  
на том свете ехал сын  
.....НА ТОМ СВЕТЕ ЕХАЛ СЫН.....  
ЭХ ЭХ ЭХ

ох

ох

ох

ох

...не смех а грех — дал Бог взял Бог.

## ЖДИТЕ

Ждите палых колен  
ждите копоть солдат  
и крахмальных карет  
и опять баррикад  
ждите скорых цепей  
по острогам шута  
ждите новых Царей  
словно мясо со льда  
возвращение вспять  
ждите свой — Аллилуй  
ждите желтую знать  
и задумчивых пуль  
ждите струн или стыд  
на похмельном пиру  
потому что просты  
и охаять придут.  
Потому что налив  
в ваши глотки вина,  
я — стеклянный нарыв  
на ливрее лгуна  
и меня не возьмет  
ни серебряный рубль  
ни нашествие нот  
на развалины рук.  
Я и сам музыкант  
ждите просто меня,  
так, как ждет мужика  
лоск и ржанье коня.



Не с мошною, так — раб  
не с женою, так ладь...  
ждите троицу баб,  
смех... березы ломать  
никуда не сбежать,  
если губы кричат  
ты навеки свежа,  
как колдунья — свеча  
О, откуда мне знать  
чудо, чарочка рек,  
если волосы взять, то светло на дворе!!!



*К читателям альманаха “Конец века“!*

В № 5 нашего альманаха вы прочтете нашумевший на Западе роман русской парижанки

**НАТАЛЬИ МЕДВЕДЕВОЙ**

*“МАМА, Я ЖУЛИКА ЛЮБЛЮ!“*,

любезно переданный нам автором

\*

В № 6 читайте новую повесть

**ВИКТОРА СУВОРОВА**

*“РАССКАЗЫ ОСВОБОДИТЕЛЯ“*

*о пражских событиях 1968 года,*

право на первую публикацию которой в бывшем СССР автор передает редакции альманаха

Компьютерная верстка *Векслер М.Я., Григорьева О.И., Карпова М.Д.*  
Корректоры *Гальперина Н.Б., Звездочетова Н.В., Красильникова С.В.*  
Техническое обеспечение *Маркелов Ю.О., Ножнова Н.Ф.*

Подписано в печать 11.03.92. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2001.

Издательство «Конец века». 103055, Москва, К-55, а/я 95.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

## *К уважаемым читателям!*

В приложении к альманаху “Конец века“ в 1992 году предполагается выпустить следующие книги и брошюры:

- “Это я — Эдичка“ Эдуарда ЛИМОНОВА,
- “Москва—ОГПУ—Париж“ Леонида МЛЕЧИНА,
- “Рабинович и Иванов, или Ай гоу ту Хайфа!“ Владимира КУНИНА, автора сценария к нашумевшей “Интердевочке“,
- “Повести и рассказы“ Анатолия ГЛАДИЛИНА,
- “Мама, я жулика люблю!“ роман парижанки Натальи МЕДВЕДЕВОЙ,
- “Пир на берегу фиолетовой реки“ Олега ЕРМАКОВА,
- “В поисках грустного беби“ и “Круглые сутки нон-стоп“ Василия АКСЕНОВА,
- “Аквариум“ Виктора СУВОРОВА,
- “Поп и работник“, “Смирненное кладбище“, “Стройбат“ Сергея КАЛЕДИНА,
- “В доме на набережной“ племянницы И.Сталина Киры АЛЛИЛУЕВОЙ,
- “Лаз“ Владимира МАКАНИНА,
- “Смешная жизнь“ сатирические романы Виктора КОК-ЛЮШКИНА.

Книги Э.Лимонова “Это я — Эдичка“, Л.Млечина “Москва—ОГПУ—Париж“, В.Маканина “Лаз“ уже отпечатаны. Чтобы получить их, необходимо перечислить на расчетный счет 609871 в коммерческом банке “Бизнес“ Дзержинского района г.Москвы, МФО 201638 60 рублей (стоимость этих трех книг плюс расходы по доставке), а квитанцию с адресом выслать в редакцию по адресу: 103055, Москва, К-55, а/я 95 с пометкой “Книжное приложение к альманаху “Конец века“.

Напоминаем: альманах выходит раз в два месяца, после выхода в свет №6 мы объявим подписку на №№7—12. Следите за рекламой!

Редакция благодарит подписчиков за добрые отзывы об альманахе, а также приносит извинение читателям за досадные накладки, которые пока, к сожалению, случаются в нашей работе!

*К подписчикам-москвичам!*

Редакция нуждается в новом помещении для офиса. Просим Вас информировать редакцию о возможных вариантах!

Редакция альманаха “КОНЕЦ ВЕКА“

